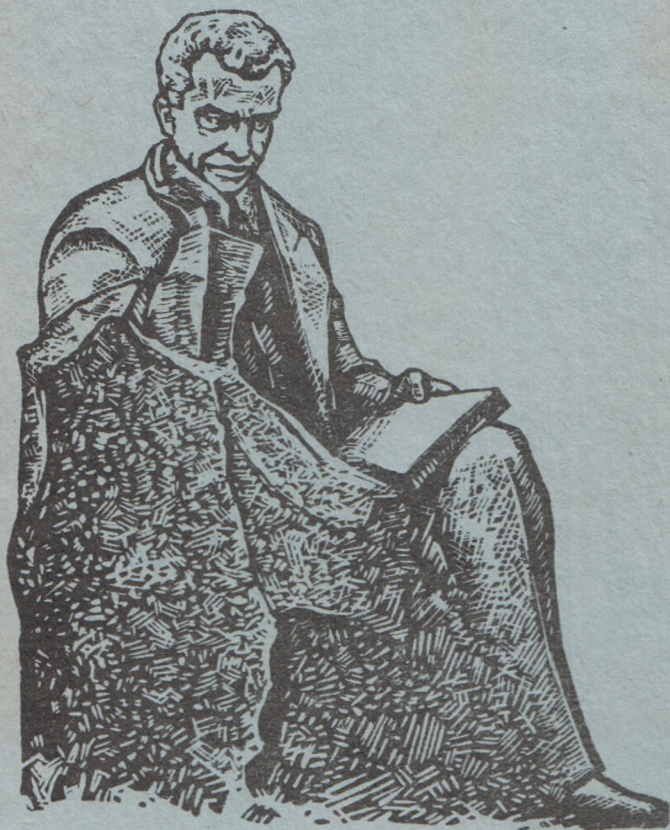


АЛЕКСАНДР
ПАНФЕРОВ

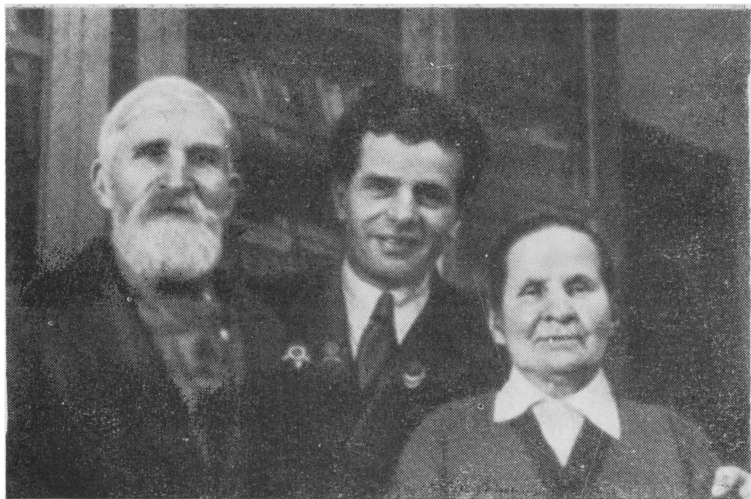
МОЙ старший брат



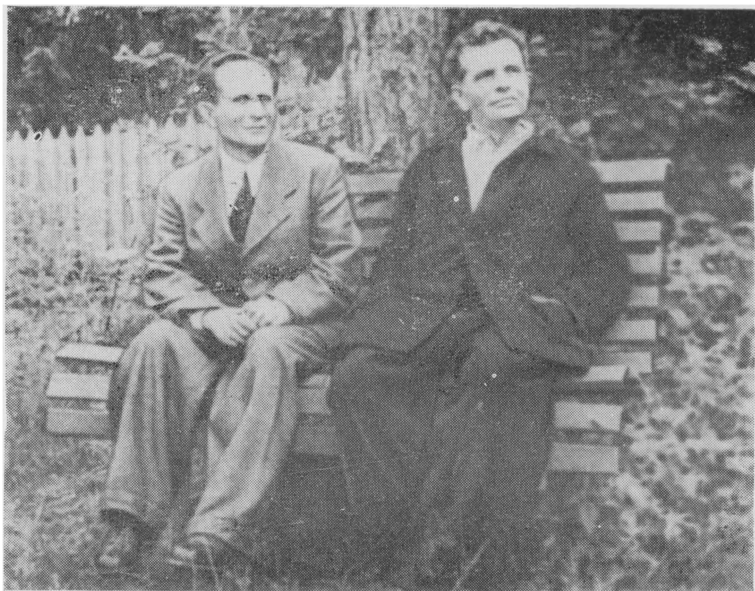


АЛЕКСАНДР
ПАНФЕРОВ

Мой
старший
брат



Ф. И. Панферов с родителями.



Ф. И. Панферов с младшим братом А. И. Панферовым.



Федор Панферов и Антонина Коптяева.



Ф. И. Панферов.
Фото 1946 года.



Ф. И. Панферов.
Фото 1918 года.



Ф. И. Панферов.
Фото 1925 года.



Ф. И. Панферов — редактор журнала «Октябрь». Фото 1958 года.



Ф. И. Панферов среди участников I Всесоюзного съезда писателей. (Слева направо: Е. Поповкин, М. Шолохов, Л. Соболев, Ф. Панферов.)



Ф. И. Панферов на Орловско-Курской дуге среди высшего командного состава 3-й армии. Фото 1943 года.



Федор Панферов и Леонид
Столяров. Фото 1920 года.



Федор Панферов и Василий
Дубровкин. Фото 1933 года.



Ф. И. Панферов и В. П. Чкалов. Фото 1937 года.



Ф. И. Панферов выступает на заседании РАППа. Фото 1928 года.



Федор Панферов и Аркадий Первенцев.



Ф. И. Панферов (шестой слева во втором ряду) среди делегатов
I съезда комсомола Саратовской губернии. Сентябрь 1919 года.



Ф. И. Панферов в Харькове. Фото 1930 года.



Ф. И. Панферов в Безымянской МТС. Фото 1933 года.



Ф. И. Панферов среди учащихся. Село Павловка, 1937 год.



Улица имени Ф. Панферова в селе Павловка — на родине писателя.



Районная детская библиотека имени Ф. И. Панферова в селе Павловка.



Вольское педучилище, где учился Ф. И. Панферов.



АЛЕКСАНДР
ПАНФЕРОВ

Мой старший брат

Саратов
Приволжское
книжное издательство
1986

Панферов А. И.

- П16 **Мой старший брат:** [Док. повесть о Ф. И. Панферове]. — Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1986. — 264 с.

Книга рассказывает о крупнейшем советском прозаике Ф. И. Панферове. Автор — родной брат писателя — вспоминает о детских и юношеских годах Федора Ивановича, проведенных им на волжской земле, о том, как складывалась творческая судьба писателя в зрелые годы.

Переиздание книги приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.

П 4603000000
153(54) — 86

83.3Р7

**ЖИЗНЬ ДАНА
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА.**

Народная поговорка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жарким летом 1893 года к пристани Вольск пришвартовался старенький, весь в мазуте, груженный бочками и мешками, колесный пароход «Меркурий». С него сошло десятка два пассажиров. Среди них выделялся солдат. Среднего роста, плечистый, он не обгонял людей, шагал спокойно, уверенно, не торопясь, поглядывая по сторонам.

— Служивый! — окликнул его девичий голос.

Солдат, глазевший на возы с яблоками, обернулся:

— Что, красавица?

— Гляжу, вроде твое лицо знакомо. Чей будешь?

— Нездешний я... — Солдат вздохнул. — Страсть как по яблокам соскучился.

— Купи.

— В долг дашь? Заработаю, немедля рассчитаюсь.

— Знаю я вас... — Девушка укоризненно поджала губы.

— Истинный бог, не обману. — Солдат прижал руку к широкой груди. — Провалиться на этом месте, уплачу, только срок дай. Случится ежели в Павловке быть, заглядывай к нам.

— А приметы какие?

— Спроси Панферова Ивана Федоровича, клещовника. А я сын его, тоже Иван. Нас все знают.

— Хвастаешь, служивый... — Девушка улыбнулась, выбрала самое крупное яблоко, протянула его солдату: — Ешь на здоровье.

— Благодарствую. Век не забуду.

Солдат подхватил свой поцарапанный деревянный сундучок и зашагал по пыльной улице, рассматривая

вывески лавок и лабазов. Миновав центр города, вышел на извилистую каменистую дорогу, поднялся на меловую гору и остановился: внизу, похожий на гнездо в зарослях садов, лежал Вольск. Отсюда, с горы, далеко было видно Волгу.

Постояв немного, солдат пошел дальше по избитой колесами телег, размытой дождями дороге. Отшагав верст тридцать, очутился на берегу речки Избалык. Зимой вода в ней не замерзает: на улице мороз тридцать градусов, а от нее пар идет, словно от загнанной лошади. Холодна вода, и летом купаться в речке охотников нет. Берет начало Избалык из глубинного родника. Кажется, вода в том месте кипит. Гиря, привязанная к веревке, дна не доставала.

Ополоснув студеной водой лицо, солдат зашагал дальше. Серая лента дороги, петляя, то взбегала на пригорок, то ныряла в ложину, но вот вдруг круто повернула вправо, огибая гору Копейка. Солдат улыбнулся — дед рассказывал ему не то быль, не то сказку про эту гору: поздней осенью ехал из Вольска в Павловку купец, был он под хмельком, и тут, возле этой горы, напали на него разбойники, но нашли у купца только одну копейку. Разозлились разбойники, убили купца. С того времени и стали гору звать «Копейка».

Хотя солдат и знал, что давно уже нет в этих местах разбойников, но на всякий случай на секунду задержался на повороте дороги, огляделся по сторонам, нет ли кого, и расхохотался: денег у него, как у того купца, не было.

Миновав небольшое село Кадишовка, служивый вышел на сланцевую дорогу, черную, словно политую мазутом. Сердце его заколотилось чаще: всего две версты осталось до дома. Надо бы шагу прибавить, а ноги словно свинцом налились. Но вот на взгорье показалась тонкая березка. Поравнялся с ней солдат, поклонился, по узкой извилистой тропочке сбежал в овраг, откуда дорога вывела его к похожей на каравай ржаного хлеба Шихан-горе.

— Здравствуй, моя земля!

Внизу, точно на блюдечке, лежала родная Павловка, кругом горы, и на них до черноты зеленые густые леса. Любил солдат свое село. Да и как не любить! Весной тут буйно цветут сады, летом воздух пропитан медовым запахом, осень балует ядреным яблоком, грибами...

Солдат спустился с Шихан-горы и вскоре очутился в своем селе.

— Кажись, Иванов сын! — признал его кто-то из односельчан.

— Он самый, — подтвердил солдат.

Широким, размашистым шагом подошел к отцовскому дому. Привычно ухватился за щеколду калитки, повернул кольцо, слегка толкнул. Тихо скрипнув старыми петлями, калитка отворилась, и солдат увидел двор, с детских лет знакомый до ямочки, до колышка. Тут он вырос, отсюда провожали его в солдатчину. С того дня минуло пять лет, и вот он снова дома. Так же дремлют на припеке куры. Так же деловито разгребает землю петух. Но что это? Кажись, нижняя ступенька крыльца осела. Солдат нагнулся было, чтобы поправить доску, как вдруг услышал:

— Ивашка, родненький!

— Маманька... — Солдат метнулся навстречу матери, и они вместе вошли в избу.

Следом вошел отец, вбежали братья и сестры — высокий рыжий и хитрый Гриша, маленький черный как жук и смирный, будто ягненок, Никита, румяная пышная Александра, чуть приотстали сестры Пелагея и Гаша. Сестры затормошили Ивашку, зашептали ему что-то на ухо...

За пять лет солдатской службы Иван возмужал, голубоватые глаза его смотрят тверже, резче обозначилась горбинка на носу, он будто стал выше ростом, шире в плечах...

— Угощай, мать, сына, — распорядился отец, — чай; с дороги проголодался.

Мать засуетилась, застучала ухватом в печке, принесла и поставила на стол глиняное блюдо с похлебкой, рядом положила деревянную ложку, нарезала ржаного хлеба.

— Садись, сынок.

— Вместе надо, — встрепенулся Ивашка. — Артелью еда спорей, я глядел, как на Волге бурлаки едят артелью, аж скулы трещат. Одному как-то негоже.

— Ты ешь, мы на тебя поглядим... — Мать ласково погладила плечо сына. — Чай, ты дома.

Ивашка размашисто перекрестился на иконы в переднем углу, сел на лавку, начал есть — жадко, словно его не кормили вечность.

В тот вечер в доме Панферовых за полночь слышались песни. Соседи заполнили избу, толпились на улице, заглядывая в окна, каждому хотелось посмотреть, каков он вернулся, Ивашка...

Месяца через два Иван Федорович сказал:

— Теперь Ивашку женить можем. Женить и отделить. Время самое подходящее.

Ивашка промолчал: разве можно перечить отцу? Решили женить — их дело, родительское. Не вечно же в парнях ходить.

Настало время идти смотреть невесту. Иван Федорович тщательно расчесал волосы, привел в порядок бороду, надел вынутую из сундука чистую рубаху и сразу помолодел. Окликнул жену — готова ли?

Крестясь на иконы, Пелагея Семеновна прошептала:

— Дай бог, чтобы была работящая, как наш Ивашка...

Выйдя на улицу, Иван Федорович закрыл за собой калитку и как бы невзначай бросил:

— Ивашку отделаю, а там и дочерям срок подойдет...

— Верно, время придет, — согласилась Пелагея Семеновна, тяжело вздохнула. — Помнишь, с чего мы-то с тобой начинали? Ой, до чего же мне неохота было сюда, на Бурдяшку, идти!

— А не хотела, зачем шла? — проворчал Иван Федорович.

— Барин выдал. Его воля.

— Оно и плохо. А Носковы не подчинились барину. За свою веру горой стояли... В леса убежали в пещерах, будто волки, жили, а не подчинились.

Так, переговариваясь, Панферовы дошли до улицы Зайка. Здесь жили сапожники, шорники. Народ работающий, артельный. Старообрядцы. Каждый ел из отдельной посуды, строго исполнял обряды, сторонился православных.

Иван Федорович знал это. Но знал и другое: вдова Груня Носкова сумела вырастить троих хороших детей.

Пригнувшись, чтобы не разбить лоб о притолоку, Иван Федорович вошел к Носковым и задохнулся: так тесно тут было. Почти половину избы занимала русская печь.

— Доброго здоровья! — сказал он.

— Милости просим! — Груня засуетилась. — Не обессудьте за бедность. — И кинулась к печи.

— Не за тем пришли, — остановил ее Иван Федорович. — Невесту нам показывай.

Груня послала сынишку кликнуть со двора Дашонку.

Вихрем вбежала в избу Дашонка, невысокая, черно-волосая, плотная, вся словно сбитая.

— Она у меня на все руки, — похвалилась Груня, любуясь дочерью. — За ней мужики не угонятся, особенно на покосе.

Иван Федорович одобрительно кивнул: невеста ему понравилась.

Вскоре все Панферовы собрались на большой семейный совет. Иван Федорович сидел в почетном переднем углу.

— Невесту мы Ивашке подобрали работающую, — рассуждал он. — Теперь гнездо им надо. Но и тут родители предусмотрели. Решили мы у бабушки Феклы купить избенку.

— Это в Репьевке?!

— Вот именно, — подтвердил Иван Федорович.

Захолодало у Ивашки сердце. Кто живет в Репьевке? Самые завалающие мужики. Разве там жизнь? Позорище...

— Другого, сынок, не могу, — словно угадывая тяжелые думы Ивашки, виновато сказал отец. — Скажи и на том спасибо, ты первый, а еще какие расходы впереди.

Панферовы пошли смотреть избенку.

— Ты, Вань, не печалься, — семенил перед ним Никита. — Мы, как муравьи, по соломинке принесем и утеплим...

— Не в том дело, брательник, — отозвался Ивашка.

— Слышал я, твою Дашонку хотел сватать купец, — зачастил Никита, — да ему от ворот поворот, тебя выбрала...

Как когда-то в детстве, мать взяла сына за мизинец правой руки, тихо сказала:

— Не сердчай на отца-то, разве он лиходей?

— Что ты, маманька, — тихо отозвался на ласку матери Ивашка и улыбнулся. Любил он мать. Была в ней и суровость и нежность. — Ты обо мне не печалься, сумею я на главную улицу выбраться. Вот чую, что сумею.

— Уверенность должна быть; — еще ласковой произнесла мать. — Мы-то тоже начинали с топора. Свекор был добрый, мастер первой руки, он все делал с песнями. Денег у него не было, а песей хоть отбавляй. Вот так с песнями и проводил нас за Волгу.

Миновали улицу Бурдяшку, повернули в Репьевку. Еще прошли немного: И остановились. Тут, как лес, стояли лопухи, а из зарослей выглядывало то, что отец назвал избенкой бабушки Феклы. Ивашка даже прикрыл глаза. «Да это же худой шалаш!» — чуть не вырвалось у него. Отец подтолкнул его в спину:

— Гляди свои хоромы, тебе тут жить, детей растить...

Ивашка обошел избушку: нижние венцы подгнили, ткнул пальцем в бревно — труха, и солома на крыше взъерошилась, торчит во все стороны, будто ежовые иглы.

— Другого нет, и это — счастье, — пробормотал Ивашка.

Свадьбу сыграли по-бедному. Дашонке пришлось принять православную веру. Всю ночь пели, шумели... Утром Дашонка приоткрыла глаза и не сразу сообразила, где это она... Рядом крепко спал молодой муж, сильные его руки лежали поверх лоскутного одеяла.

Так образовалась новая семья Панферовых, семья наших родителей. Из дома деда они перешли жить в свою избушку — на улицу Репьевку.

Долгими зимними вечерами молодые Панферовы сживали то у низкого оконца, глядя на лунную дорогу, то на лавке у печи. О чем бы ни говорили, мысли неизменно крутились вокруг заболевшего: как выбиться из нужды? Бывало, мать рассказывала о своей семье.

Многие старообрядцы бежали в леса, жили в пещерах, но подчиниться барину не пожелали. Так же поступили и Носковы. Не успела скрыться от барской облавы одна из сестер Носковых — Дарья. Ее поймали, пороли розгами, требовали, чтобы она сказала, где скрываются братья. Дарья упорно молчала. Разозлился барин, отрезал у девушки толстые черные косы, накинул ей на шею петлю из веревки, приказал привязать конец веревки к телеге. Через все село прогнали Дарью: один раз ударяли кнутом по лошадям, второй — по спине девуш-

ки. Но и после этой экзекуции Дарья не проронила ни слова... В память о ней нарекли Дарьей нашу мать...

Твердость характера, верность своим убеждениям переняла от родных моя мать и сумела передать эти качества своим детям, особенно Федору.

— Не поднимемся мы с тобой в гору, Дашонка, нужда нас здесь засосет, — сказал однажды отец. — По-едем-ка на Баку.

— Как же мы там, в Баке-то этой, — вырвалось у изумленной матери.

— Очень просто, — разъяснил отец. — Чай, руки-то вон какие! — Он вытянул большие сильные руки. — Все можем делать. Голова тоже есть. Прыгать надо; Дашонка. Видал я таких, кто прыгнул, ловко так, сразу купцом стал.

— Как же это так, сразу и купцом?

— Не обязательно сразу. Не обязательно и купцом. Сколотим деньжонок... На большой улице дом построим... А там, глядишь, и человеком меня признают.

— Верно, — обрадовалась мать. — Обязательно дом. Настоящий...

Так мечтали молодожены, не зная, с какой стороны войти в жизнь, почему одни живут лучше, а другие хуже, хотя работают больше те, кто хуже живет. Почему богатые живут посередине села, а они в Репьевке?...

Миновала зима. Родился у Панферовых сын. Нарекли первенца Алексеем. С рождением ребенка появились у молодых родителей и радости. Вот мальчонка победно произнес первое слово: «Ма-ма!»

И как-то само собой получилось, что стали Иван Иванович и Дарья Ивановна с той поры называть друг друга не иначе, как «отец» и «мать».

Не успели оглянуться — и вот уже Алешка нетвердо шагнул.

— Смотри-ка, мать, — торжествующе заулыбался отец. — Лешка зашагал!

— Он-то зашагал, — тихо отозвалась мать, — да я опять тяжела стала.

— Это хорошо! — засмеялся отец, обнимая жену. — Как сын, так и землицы из общества поболее дадут. Сын — душа, а девку до жениха корми. Сынов, сынов мне давай!

Мечта о доме не только не покидала, — занозой засела в сердце матери.

— Ваня, когда в эту самую Баку-то поедem?

— Летом. Туда можно только пароходом добраться, по Волге, потом по морю... Подкопим деньжат и поедem.

Но и летом не собрались Панферовы в Баку, не сумели набрать на дорогу денег, а 20 сентября 1896 года родился у них второй сын — Федор.

Ничего не оставалось, как отложить поездку на следующее лето. И опять ломал голову, до боли сжимал кулаки отец: где взять денег на дорогу?

— Мать, — сказал он однажды, — а если у тещи попросить, вдруг даст?

— С тобой она уважительная, — отозвалась мать. — Умеешь ты с ней ладить. Сходи, поклонись.

Трудно было отцу согнуть голову, но иного выхода не было. Пошел к теще. Возвратился веселый.

— Во! — Он показал жене деньги. — И Федярку оставляет. «Куда, говорит, вы его потащите, такое малое дитя?» Как ты, мать, смотришь на это?

От радости, что отец принес денег, у матери кумачом загорелись щеки. Теперь-то уж они смогут поехать в Баку! А вот насчет Федярки... Только на другой день решилась:

— Оставим. И Алешку оставим...

И вот наконец настал долгожданный день: ранним утром, с мешками за спиной, Панферовы покинули родное село.

Придя в Вольск, с большим трудом сели на пароход, плывший до Астрахани, там пересели на морскую шхуну и через три дня оказались в Баку.

Тоскливо стало на душе у матери, когда они попали в город, где, казалось, каждый камешек был пропитан мазутом. Не сразу отец нашел работу и жилье. Тут было полно таких, как он... И все же устроился на строительство нефтяных вышек.

— Теперь только давай, — похвалился отец, придя вечером с работы. — За мной не всякий угонится, подмать себя не дам...

— Ты, Ваня, не дюже рвись вперед, — робко посоветовала жена. — Присматривайся, где полегче.

Отец покосился:

— Еще ты меня начнешь учить... Сам знаю, не лыком шит...

Однако же отец, по натуре человек добрый, физически сильный, работал на совесть, а хозяева промысла,

преследуя свою выгоду, платили таким, как он, сущие гроши.

Немного удавалось отложить родителям, хотя они во всем и урезывали себя. Томительно тянулись дни в чужом городе, среди чужих людей, и по весне мать так сильно затосковала, что даже есть не могла.

— Не могу больше, Ваня, к ребятам хочу.

— А дом?

— Как-нибудь потом.

Нужда, что называется, ходила за Панферовыми по пятам. Не успеют в своем домишке одну дыру залатать, глядят — другая образовалась.

— Надоело... — не выдержал отец. — Сплю!

— Сразу ты, Ваня, страх наводишь, — испуганно закрилась мать. — Легко сказать — «сплю». А ребят куда денешь? Мой совет такой: давай всей семьей катнем в Баку.

Не любил отец женских советов, а на этот раз согласился. Теперь в Баку поехали всей семьей. К этому времени у Панферовых родилась дочь Мария.

Отец работал на нефтяных промыслах Нобеля, а мать с ребятами собирала на берегу моря мазут, продавала его по копейке за ведро. Какая-никакая, а все же подмога.

Так работали три года. Как и в первую поездку в Баку, во многом отказывали себе, копили деньги, и вернулись в Павловку с сияющими глазами.

Уже на второй день мать, не в силах побороть нетерпение, спросила:

— Вань, а ты приглядел, где можно дом поставить?

Это была большая забота. Есть деньги, хотя их не так и много, но вот где начать строиться? Выйдет, бывало, отец на главную улицу и тихонько прошагает по северному порядку, а сам смотрит на южный. В уме прикидывает — ничего не получается: плотно стоят дома, ближе к базару железом крытые, купеческие, сюда не воткнешься. И вдруг однажды мать будто невзначай обронила:

— Отец, сбегай-ка к бабушке Глафире, калякают, она избенку свою продает.

— Не может быть? — Отец встрепенулся. — Давай-ка деньги на задаток!

— Сразу и задаток? — возразила мать.

— Перехватят, — пояснил отец, надевая картуз. — Ныне народ такой, норовит ободрать друг друга.

— Тогда пойдемте все, — доставая деньги, решила мать.

Жители Павловки видели, как Панферовы со своим выводком направились на ближнюю улицу Ермоловку. Впереди бежали два пацаненка — Алексей и Федярка, за ними тянулась четырехлетняя Маша.

— Глафира Митревна, добра желаем, — поздоровался с хозяйкой избы отец. — Слыхали, продаешь ты свой дворец?

— Продаю, касатик, — подтвердила старуха. — Изба что надо. Мы ее с Филиппом строили, когда поженились. Маленько она постарела, нижние бревна подгнили, а так еще вполне ничего.

Каждый товар, каждую вещь, перед тем как купить, отец любил тщательно осмотреть, узнать, какова она, а тут, не глядя, рубанул с ходу:

— Куплю...

Тут даже бабушка Глафира изумленно глянула на отца:

— Так сразу и купишь... А может, я дорого за прошу?

Но тот уже вошел в азарт:

— А может, я и устою...

Глафира Митревна рассмеялась.

— Ох, хитер!.. Видно, уступить придется.

Перекинувшись шутками, перешли к делу, и вот так, неожиданно для себя, за подходящую цену сторговали избенку. В тот же день оформили купчую.

К вечеру во дворе у Панферовых появились шабры, как в ту пору называли соседей.

Мать, возбужденная, счастливая, захлопотала, заусетилась:

— За хорошее и бог велел... Ваня, давай неси две четверти.

— Смотри, как они... — перешептывались соседки. — Мы полбутылками, а они сразу четвертями.

Обмыв покупку, Панферовы начали строить дом. Избенку бабушки Глафиры свалили, поставили на это место новый сруб, подняли крышу, настелили пол.

В один из дней, вбив гвоздь, отец вздохнул:

— Последний... А еще купить не на что.

— Ты чего, отец? — не поняла мать.

— Говорю, гвоздей больше нету, лесу на рамы тоже нет, одного у меня стало много — времени, девать его некуда. — И, помолчав, воскликнул: — Айда все на Каспий! Слышь, мать? Там все работу найдем. Где Алексей, где Федярка?

— Мы тут, — отозвался меньшей.

— Подь-ка сюда.

Посадил старшего сына на одно колено, младшего — на другое:

— Мужики вы у меня?

— А почему ты тогда топор не даешь? — спросил Федярка. — Ежели мужики, то топор свой давай.

— Это ты молодец! — Отец засмеялся. — Топор?.. Вон чего захотел. Вырастешь — дам, непременно дам. Топор наш кормилец-поилец. У крестьянина — лошадь; а у нас, мастеровых, — топор. Возьми вон Бешана али Гусевых, отними у них лошадей — пропадут. Так и у нас. Ежели дам я тебе топор, а ты на нем наделаешь зазубрин, чем я клещи тесать буду? Топор пока не дам!

— Тогда и мы не мужики, — выпалил Федярка.

И опять Панферовых принял прокопченный, пропахший нефтью Баку.

Отец надрывался на промысле, а мать с ребятишками собирала мазут. Берегла, выгадывала каждую копейку — копили на дом, основу жизни на селе. Разве одни только Панферовы хотели иметь хороший дом с резными наличниками, с тесовыми воротами, с тяжелой калиткой, со звонкой щеколдой! Многие об этом мечтали, с завистью поглядывая на чужое счастье. Мечтали!..

Каждую неделю мать, не торопясь, пересчитывала деньги.

— Скоро накопим, отец... Накопим — и сразу в Павловку. Что ни ночь, снится Шумкин родник али Шихангора. А дубочки помнишь?

Отцу было не до воспоминаний. С работы он приходил измотанный. Бревна приходилось таскать тяжеленные. Ведь в те времена нефтяники вышки строили из дерева, без помощи техники; везде и всюду применялась только сила, сила русского мужика, которому платили сущие гроши.

Как-то Федярка, внимательно следивший за тем, как мать, аккуратно положив деньги в платок, завязывает его крепким узлом, спросил:

— И на ворота деньги тоже есть?

— На какие ворота? — не поняла мать.

— Все говорят: «Дом... Дом...» А ворота поставим? Отец погладил сына по голове:

— Непременно поставим: на дубовых столбах, с зубчиками, и петуха вырежем по всем правилам.

— Лучше, чем у Гусевых?

— У Гусевых-то кто делал? Чужие плотники! А мы с тобой сами во какого петуха смастерим! — Отец развел руки, показывая какого. — Вот накопим деньжонок на лес, а остальное — руки свои, только давай. Теперь нам надо немного. Вот видишь, дверные петли валяются? Да ты не перешагивай, нагнись, посмотри: может, нам пригодятся. Тут можно много чего полезного подобрать...

— А крючки тоже брать?

— Неси, неси!

И Федярка ринулся на поиски крючков и гвоздей.

В те дни Федор впервые увидел, как человек читал книгу: потом выяснилось, что это был студент. Конечно, маленький Федор не понимал, что значит «студент», а вот о том, что это такое — «читать», он стал настойчиво допытываться у матери, но толком объяснить ему она не сумела. Сама она читала по складам и решила выучить сына. Как-то на толкучке купила подержанный букварь.

— Садись за стол, учи! — скомандовала мать. — Это «а», это «бы», это вот «вы»... Ноне задолби, а потом пойдем дальше...

Когда азбука была постигнута, Федор стал читать по слогам отдельные слова и быстро сообразил, как они складываются в простые фразы.

Первое, что он прочитал, была принесенная кем-то книжечка «Ермак Тимофеевич».

Зиме той, казалось Панферовым, не будет конца: считали не то что дни — часы, когда можно будет двинуться в дорогу, домой.

Возвращались довольные: сыты были бакинским житьем-бытьем по горло. Легко ли на чужбине с тремя малыми ребятишками!

Едва Панферовы вернулись в Павловку, в первое же воскресенье отец прикупил доски, стекло: теперь-то уж они дом достроят!

Вместе с отцом работал и Федярка. Без него ничего не делалось: то он подавал инструмент, то убирал стружку.

— Нонче стеклить рамы начнем, — сказал однажды отец. — Сходи-ка к матери, возьми у нее алмаз.

— Маленький такой? — обрадовался Федярка.

— Он самый.

Помнил Федярка, как отец купил этот алмаз на бакинском базаре: долго держал в руках, любовался им, а потом отдал матери, наказав, чтоб хранила его пуще глаза своего. Тогда отец, как Федярка ни просил, не дал ему алмаз, а теперь велит принести. Федярку так и распирало от радости: он стремглав помчался к матери.

Ну и ловко же отец режет стекло! Федярке казалось, будто алмаз тоненько поет. Первую застекленную раму вставляли всей семьей. Отец стал на лавку, мать подава ему раму, а Федярка держал наготове гвозди и молоток. Не торопясь, осторожно, чтобы не побить стекла, отец установил раму, закрепил ее. Потом вставил еще одну.

— Дом-то оживает! — обрадовалась мать.

И действительно, дом ожил: по стеклам весело забабрабанили золотые лучи солнца.

Закончив с окнами, натаскали из оврага глины, песку — класть печь. Отец командовал:

— Ногами, ногами меси, да хорошенько!

Федярка старался: глина чавкала, фонтанчиком выбивалась снизу, делалась мягкой. А когда раствор был готов, мать положила его в ведро и понесла в избу. Отец работал весело, споро: наконец-то у семьи свой дом! Вот уж и до печи черед дошел...

Через неделю посередине избы стояла русская печь.

Федярка бегал по избе из угла в угол, складывал ладошки трубочкой возле губ и победно кричал:

— О-го-го!

— Кричи, Федярка, кричи! — подбадривал его отец. — Все тут наше. Кричи!

Мать затопила печку, подцепила ухватом чугунок с картошкой — первый ужин Панферовых в своем доме.

В ту ночь, на новом месте, не спалось детям: то и дело шушукались, уговариваясь спозаранку бежать к Самойлову роднику по орехи: только пораньше, а то другие оборвут. Не спалось и отцу с матерью.

— Ваня... — позвала мать.

— Что тебе?

— Теперь бы коровку купить.

— Верно... И лошадку не мешало бы, — мечтательно отозвался отец.

Хотя Панферовы и дом построили, и выбрались с Репьевки на главную улицу, Ермоловку, а счастье к ним не привалило. Только вроде бы все стало налаживаться, а тут — неурожай. Народ уходил с Волги в поисках сытного места. Сорвались с места и Панферовы — опять в Баку, на нефтяной промысел. Вернувшись через год, не застали в живых стариков Панферовых: родители моего отца, Иван Федорович и Пелагея Семеновна, умерли от голода.

Вот тогда и пришлось Федярке пойти подпаском к Ивану Петровичу Дубову. Крупный, широкоплечий, с тяжелой походкой, огромной бородой, он походил на былинного богатыря. На просьбу Федярки ответил:

— Коров пасти, милый, это тебе не семечки грызть — наука. Что ж, валяй, попробуй. Только платить тебе нечем. За куски разве...

Так Федярка стал подпаском. Много поучительно-го узнал он от Дубова, любил слушать, как тот рассуждал о жизни, о людях. А поразмыслив, понял, что все слова Дубова относились к павловским мужикам. Федор стал понимать, кто такой богач, а кто бедняк, и почему у одних есть все, а у других — ничего.

Но вот как-то к Гремучему роднику, где отдыхало стадо коров, подкатил урядник и арестовал Дубова.

За что?

Федярка слышал, что Дубов был революционером и скрывался от преследований царской охраны. Но что значит — революционер, не понимал. Видел, знал только, что Дубов — справедливый человек, желал беднякам добра.

Затосковал Федярка. Вот уж и осень на дворе. В школу бы надо, да не во что ни обуться, ни одеться.

«Леша счастливее меня», — думал Федор о брате. И впрямь, тот был более везучим: бабушка Груня, у которой он жил, научила его читать по-славянски. Когда у нее собирались старушки, Алексей читал им «святые» книги. Бабушка Груня определила Алексея в начальную школу. А вот Федярка оказался не у дел.

Пришел он однажды на базар. Долго ходил по рядам, где продавали глиняную посуду, потолкался у купеческих лавок и засмотрелся на одного купца, который во весь голос нахваливал свой товар и зазывал покупателей: «А ну налетай!..» «Что, ежели перекричать купчину?» — подумал Федярка, и перекричал, созывая народ к лавке Крашенинникова — так звали того купца.

Он и думать забыл о своей проделке, а на второй день пришел к отцу посыльный от купца:

— Просьба такая: ты и сын твой явитесь к Андрею Ивановичу. Желают вас видеть.

В тот день Федор был отдан в мальчишки к купцу второй гильдии Крашенинникову. Условия были такие: четыре года работать в магазине, убирать двор, ходить за коровой. Хлеб и одежда — хозяйские. А в конце — отцу на руки двадцать целковых.

Суровая это была школа жизни. Хозяин Андрей Иванович Крашенинников был строг и требователен, спуску никому не давал. Хозяйка Екатерина Каллистратовна, не в пример мужу, характер имела мягкий. Заметив, что Федярка — парнишка смысленный, тянется к грамоте, позволила ему читать книги, которые у нее были. Исполдволь стала обучать его русскому языку, арифметике, географии.

— Да как же это ты, Федя? — заметила она однажды. — Ребята в школе месяцами заучивают, а ты — в одно утро. В школу бы тебе надо.

А Федя только о школе и думал. Вскоре он сдал, как теперь говорят, экстерном экзамены за три класса сельской школы.

В то время Алексей уже учился в Вольской учительской семинарии. Закончив второй класс, пришел на каникулы домой и застал Федора в черном костюме приказчика. Обняв брата, сказал:

— Э-э, жидковат ты!

Федор откинул густые волосы, нахмурился:

— Не той дорогой пошел я, братишка, не той... Ошибся! Неужели всю жизнь буду железками торговать, ухваты, сковородки бабам предлагать? Не то! Попался, как птица в силочку. Кроме всего прочего, про дочь свою намекают: вот, мол, освоишь дело, кому передать? Конечно, зятю.

Алексей расхохотался:

— Жених!.. Вот что, братишка. Начнем готовиться в учительскую...

Мать не одобрила этих планов:

— Ты, Алексей, отцу помогай, а то, видать, заучился.

— Что ты, маманька, — успокаивал ее Алексей. — Смотри, я папаньку мигом обгоню.

Мать радовалась. Еще бы! Один сын у купца в услужении, другой с отцом работает. По сердцу ей было, когда шорники говорили:

— Ты, Иваныч, богатеть стал. Помощники вона какие! Глядь, и второй дом поставишь.

— Нам теперь что? Гора отложе стала, воз легче, — гордился отец. — Нам что? Завалим вас клещами, а брать не станете, махнем возок-другой за Волгу...

Но у братьев на уме было другое. Алексей составил твердое расписание и по нему учил Федора, задавал уроки, строго требовал и даже «резал», как это делают на экзаменах.

— Все, все надо знать назубок, — говорил Алексей. — А ежели чуешь слабость, пеняй на себя.

Бывало, и ночью растолкает брата:

— А ну скажи, какие озера в Африке?

Федор выпаливал и тут же погружался в сон. Но Алексей не унимался:

— А теорему Пифагора как докажешь?

Изо дня в день Алексей «натаскивал» Федора. Иной раз дело доходило и до ругани, после чего Федор занимался еще усерднее.

В конце июля 1914 года Федор распрощался с купцом Крашенинниковым. Матери сказал твердо:

— Ну что же, маманька, я решил податься за братом.

Как же это? Мать уже привыкла, что Федярка приносил жалованье, торжественно клал деньги на стол, она крестила сына, шептала: «Слава богу, дождались». И вдруг — удар. Да еще какой: Федор уходит учиться!

— Нас-то с отцом пожалейте! — взмолилась она. —

Все дети как дети, возле родителей вьются, а наши норовят на сторону сбежать...

Федор уже перерос мать на целую голову. Как время-то бежит! Вроде бы еще совсем недавно таскала она его на руках, качала в зыбке, бывало, давала шлепка, а сейчас не дашь — вон какой детина!

— Ну чего ты? Не сердись на нас, — миролюбиво сказал Федор. — Так мы решили. Так будет лучше.

Когда Алексей ушел провожать Федора, мать запечалилась.

— Растили детей, растили, а вот как обернулось у нас с тобой.

— Непонятливая ты, — укоризненно промолвил отец. — Помнишь, как у Нобеля на промыслах было? Мы спину гнем, пот течет, а мужичонка — да его ногтем можно придавить! — ходит около нас, распоряжается, записывает: вот что такое грамотность. Пусть ребята учатся, один тянуть стану, мне не привыкать.

Мать промолчала. Видела она в Баку мужичонку, о котором говорил отец. Верно, плюгавенький, а какую силу имел — людьми управлял...

— Твоя воля, отец, — согласилась она. — Дай бог им счастья!

А братья в это время стояли у Шумкина родника. Прозрачная вода сочилась из каменистого обрыва. Зачерпнув ладонью студеную воду, Федор ополоснул лицо и обернулся к брату:

— «Жизнь — штука сложная, — говорил мне Дубов. — Хорошо ее прожить — не поле перейти».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В лаптях, в стареньком не по росту пиджачке, жарким летним днем Федор Панферов пришел в Вольск.

В те годы Вольск считался одним из крупных уездных городов Среднего Поволжья. В нем насчитывалось более пятидесяти тысяч жителей. Главным занятием населения было садоводство, бахчеводство и огородничество, а также работа на пристани. Местные купцы торговали хлебом, лесными строительными материалами. Для проведения крупных торговых операций в городе имелись городской общественный банк, а также отделение Российского торгово-промышленного коммерческого банка,

«Ссудно-сберегательное товарищество». Здесь было более трех десятков заводов — кирпичные, кожевенные, пивоваренные, маслобойные, судостроительный и четыре завода по производству цемента высшего качества. Сюда подходила железная дорога. Тут имелись духовное училище, женская и мужская гимназии, реальное училище, учительская семинария и кадетский корпус.

Федор знал о Вольске не только от брата, но и по рассказам отца и пришел сюда, чтобы осуществить свою мечту — стать человеком на голову выше Крашенинникова, у которого был на побегушках.

Разыскав Московскую улицу, Федор подошел к зданию учительской семинарии и в нерешительности остановился у тяжелой резной двери.

— Силенки нет? — Худощавый, невысокий паренек с любопытством окинул взглядом Федора.

— У меня-то? — Федор повернулся. — Хватит на двоих.

— Тогда за чем же дело стало? — подзадоривал паренек.

— Это же храм науки, — серьезно ответил Федор.

— Перекрестись!

— Перекреститься мало, надо встать на колени.

В здание семинарии Федор вошел торжественно. Средоточенно оглядывая стены, пол, чугунную лестницу, поднялся на второй этаж — там была приемная директора — и обратился к сидевшему за письменным столом лысому старику:

— Здесь подают прошения о зачислении в семинарию?

Старичок взял прошение, прочитал, вскинул глаза на Федора:

— Трудно, очень трудно вам будет, молодой человек.

— Попробуем.

— Не забывайте: на одно место претендуют пять человек.

Через несколько дней Федор сдал экзамены по русскому языку, по русской истории, по математике. Остался один экзамен — по закону божьему.

— Землю тебе надо пахать, — строго сказал священник.

— Батюшка, учиться хочу! — вырвалось у Федора.

— Вон вас сколько налетело, и все учиться хотят,

а кто землю пахать будет? — и пошел гонять Федора, а тот еле успевал отвечать на вопросы один другого каверзнее.

Наконец наступил решающий день: на двери учительской вывесили списки зачисленных в семинарию. Усиленно работая плечами, Федор протиснулся к двери, ища глазами в списке свою фамилию, а когда нашел, облегченно вздохнул:

— Ух, жарко...

— Тебя приняли, вижу, приняли! — К Федору подскочил тот худощавый, невысокий паренек, с которым он встретился возле дверей семинарии. — Теперь айда на Козий загон, так положено, — заявил он.

— Ишь ты, Козий загон.. — Федор усмехнулся. — Диковина какая?

— Ты же семинарист, должен знать. Там, на берегу Волги, — парень ткнул рукой в сторону реки, — есть бульварчик, семинаристы называют его Козьим загонном. И мы туда часто ходим.

— Тогда пойдем, — согласился Федор. — Как тебя звать-то?

— Вообще, Василием, Василием Чернавским. А бабушка моя, та зовет Васильком. Она у меня певунья. Каждое воскресенье просит: «Сыграй, Василек, а я спою». В молодости она в церковном хоре пела. Брали в вольский собор, не пошла.

— А ты на чем играешь, на балалайке?

— И на ней могу, но лучше на гармонии.

— Такого друга у меня еще не было.

— Теперь будет, — с достоинством произнес Василий.

Не успели они пройти и двух кварталов, как Федор уже знал о Василии почти все: отец его работает лесником, и дом Чернавских стоит в десяти верстах от Вольска, в стороне от большой дороги, на отшибе, летом там хорошо, а вот зимой, когда снег, добраться до них можно только на лыжах.

— Как завьюжит, света вольного не видно, по ночам волки воют, страх берет, — закончил свой рассказ Василий и в свою очередь поинтересовался: — А ты издалека?

— Из Павловки. Знаешь?

Василий смущенно пожал плечами:

— Не знаю.

— Я знаю, — вмешался в их разговор другой паренек.

— Во, — Федор повернулся к нему. — Он знает. Но позволь, я тебя не знаю.

— Вася Тюрин.

— Дела! — Федор рассмеялся. — Сразу два друга, и оба — Василии. Как же я вас различать буду?

— Очень просто, — быстро нашелся Василий Чернавский. — Я — Вася-гармонист, а он Вася Белый.

Федор с одобрением взглянул на новых друзей и похлопал их по плечам, словно проверяя на крепость.

— Если дружить, то и верить! — веско сказал он.

Увлечшись разговором, они между тем вышли на площадь и вскоре очутились на берегу Волги.

— Вот он, Козий загон! — воскликнул Вася-гармонист.

Маленький бульвар с узким входом, узкими дорожками и железной изгородью действительно напоминал козий загон.

— Изменим старым обычаям, — предложил Федор, уводя ребят с бульвара. — Пошли лучше к воде. Хороша жизнь на воде, а не в этом загоне! — И, широко шагая, он направился к Волге.

А Волга, согретая нежными лучами солнца, была, как никогда, величава, спокойна.

Вглядываясь, впитывая в себя эту красоту, Федор сказал задумчиво:

— Где-то я читал: в давние времена Волга звалась именем бога солнца Ра. И это правда! Смотрите, как сияет река, как солнце!

— Но я слышал и другое, — живо отозвался Вася-гармонист. — Верно, Волгу звали Ра. Но была еще одна река. И вот встретились, и одна спросила другую: «Как тебя звать?» Та ответила: «Зови просто Ра». Возмутилась первая речка, крикнула: «Какая ты Ра, когда я сама Ра?» И разгорелся у них спор.

Вася Белый удивился:

— Так вот откуда образовалась Самара?

— Это еще не все, — разошелся Вася-гармонист. — А вы знаете, что по этой земле гулял Емельян Пугачев?

Вася Белый заморгал глазами, испуганно оглянулся.

— А не врешь?

— Истинный крест! — И Вася-гармонист пересказал услышанную от бабушки историю Пугачева.

Федор и Вася Белый слушали, раскрыв рот, как потопили в крови восстание, поднятое Пугачевым, а самого его в железной клетке увезли в Москву.

— Там Пугачева казнили, но досталось и тем, кто пошел за ним, в том числе и малыковцам. Вольск-то тогда Малыковкой был, — пояснил Вася-гармонист. — Зачинщиков повесили, а остальных, человек двести, пороли розгами.

— И все это тебе бабушка сказала, не врешь? — спросил Федор Васю-гармониста.

— Бабушка! — запальчиво подтвердил тот. — Она все знает, да и сам я читал «Историю Пугачевского бунта» Пушкина.

— Да это же здорово, ребята! — воскликнул Федор. — Мы станем учиться в городе, где бывал Пугачев...

И они размечтались о том времени, когда станут учителями, понесут свои знания в народ.

Казалось, разговорам не будет конца, как вдруг Вася Белый заявил:

— Чего-то я притомился, подамся-ка домой. Мне до Лопуховки дойти пустяк. Не успеют коров пригнать, и я уже там.

— И я к обеду успею, — похвалился Вася Чернавский.

— Ну а я остаюсь, — сердито буркнул Федор. — Вы думаете, мне некуда? Тоже есть. У меня в Вольске тетка живет. Вон там, — он кивнул в сторону гор, где, как гнезда ласточек, притулились избушки рабочих цементного завода. — Она лавку держит. Конфет у нее во, — он провел рукой по горлу. — Ешь — не хочу. Я не пропаду. В сентябре встретимся...

Только что обретенные товарищи ушли, и Федору стало грустно. Как было хорошо, и вдруг такой конец... Никакой тетки у Федора не было, сказал он это так просто, похвастал, а зачем — и сам не знал. Возвращаясь в Павловку не хотелось, да если и возвратиться, утешения там не найдешь... Что же делать? Федор распрямил плечи, направился в город: «Авось найду работу».

Более десяти мест обошел Федор, и нигде его не брали. Уставший, еле передвигая ноги, доплелся до постоянного двора в надежде похлебать с мужиками щей из общего котла, а уж наутро пойти на цементный за-

вёд: говорят, там можно устроиться грузчиком. Работа, правда, тяжелая, но платят сносно.

На цементном заводе Федор проработал весь август. Правду говорили люди — работать было тяжело. На заработанные деньги Федор купил форму семинариста, без которой не допускали к занятиям.

В 1914 году Вольская учительская семинария — единственная на всю Саратовскую губернию — отмечала свое тридцатилетие. За эти годы она выпустила почти триста учителей.

Учащиеся Вольской семинарии считались революционно настроенными. Еще в 1905 году они устроили демонстрацию, о которой большевистская газета «Новая жизнь» писала: «Город Вольск. Утром 20 октября семинаристы и реалисты пошли закрывать женскую гимназию. Затем все двинулись по Московской улице, где к демонстрантам примкнули и учащиеся других школ. С красными флагами и пением революционных песен толпа медленно двигалась по главной улице, закрывая по дороге мелкие мастерские и лавчонки. Большие магазины были закрыты с полудня.

Учащиеся шли по мостовой. Вдали, около земской управы, виднелась толпа. Манифестанты думали, что это рабочие с заводов хотят присоединиться к шествию, и спокойно продвигались вперед. Как вдруг раздался крик: «Бей их!» Толпа черносотенцев набросилась на манифестантов. Часть, которая не успела убежать, подверглась самому беспощадному и зверскому избиению. «Черная сотня» орудовала здесь не менее трех часов».

После этой демонстрации был уволен со службы директор семинарии Василий Григорьевич Земницкий — ученик и друг семьи Ильи Николаевича Ульянова. На его место был назначен ярый монархист богослов В. М. Гавриловский.

Однако новый директор не смог погасить революционных настроений учащихся.

Семинаристы, побывавшие летом в родных селах, на перебой делились своими впечатлениями.

— Ты бы, Федя, только послушал, какой стон идет по деревне, — горячо говорил Вася Тюрин. — Хлеб еще

не весь с полей убрали, а тут — давай солдат на войну. Как быть? На кого хозяйство оставить? А детей?..

Что мог ответить Федор на вопросы Васи Тюрина? Правда, на цементном заводе он слышал: война выгодна буржуазии, а рабочим и крестьянам она несет только горе, но как толком это объяснить — не знал.

— Мы, Вася, это обязательно поймем, надо нам иметь побольше знаний, — после долгого раздумья сказал Федор. — Давай нажимай на уроки.

И они стали «нажимать».

Семинария общежития не имела. Федор вместе с Васей Тюриным сняли комнату. Жили скудно. По воскресеньям ходили на железнодорожную станцию, грузили дрова в вагоны. Заработанные деньги рассчитывали до копеечки на всю неделю: сами покупали продукты, сами готовили, большей частью картошку и пшенную кашу с постным маслом.

Изредка Федору помогал Алексей, подрабатывавший частными уроками.

— Ну, брательник, хватит на чужой шее сидеть, — шутиливо сказал брату Алексей в конце зимы. — Я тебе ученика крепкого подыскал. Его родитель говорит, что если не будет слушаться, то можешь бить его по рылу.

— Так и сказал? — ахнул Федор.

...Богач, сердито поздоровавшись с братьями, позвал сына, буркнул:

— Учить сатану следует, а коли ерепениться станет, пороть как сидорову козу.

Придя на первый урок, Федор, памятуя о наказе родителя, пригрозил Витечке — так звали ученика: показал кулак и даже велел пощупать мускулы на своей руке.

— С тобой я связываться не буду, — смиренно пообещал Витечка.

— Имей в виду, деньги я люблю зарабатывать честно.

— Ладно уж, — согласился Витечка.

Федор стал бывать в этом доме каждый день с шести до восьми вечера. Перед началом урока Витечка приносил ему бутерброд и стакан чаю.

Занятия шли успешно. Несколько раз Витечку проверял сам папаша, да и в гимназии ставились неплохие

отметки. Но как-то раз Витечка неожиданно швырнул на пол учебник по географии.

— А ты знаешь, — сказал он Федору, — у моего папы миллион, сам вчера слышал.

— Ну и что?

— Как что? Надо, чтобы папаша поскорее на тот свет ушел, а миллион тогда перейдет ко мне.

— Зачем он тебе?

— Эх ты, садовая голова, деревня темная! Да на миллион я куплю пароход и один поеду по Волге, до самой Астрахани и обратно. Зачем мне тогда все науки?

Федор преспокойно выслушал Витечку и, чтобы не потерять выгодный заработок, дал ему здоровенную оплеуху.

— Ишь какой миллионщик... Подними учебник. Зубри географию!

Весной 1916 года Алексей окончил семинарию и тут же был призван в армию.

С тяжелым сердцем простился Федор с братом.

Быстро пролетело лето. В дни страды Федор вместе с Васей Тюриным и Васей Чернавским, чтобы немного заработать, ездил в Заволжье на уборку хлеба. А когда осенью вернулись в Вольск, Федор познакомился с Борисом Токиным.

Борис Токин вырос в бедной семье. Отец его работал стрелочником на железной дороге. В семье кусок хлеба каждый добывал сам. Только старший сын благодаря огромным способностям сумел стать учителем. Два других работали в типографии. Борис подросток, и его взяли в наборный цех.

Может быть, так и прошла бы жизнь Бориса в типографии. Но ему повезло. На летние каникулы приехал брат Василий. Он-то и сыграл решающую роль в судьбе Бориса. Василий сумел приблизить к себе Бориса, рассказывал о жизни растительного мира, учил различать травы, деревья, вслушиваться в пение птиц, а также учил рисовать. Он начал готовить хрестоматию, дав ей название «Родная природа в родной художественной литературе». К этой работе Василий привлек и младшего брата Бориса, давая задание — рисовать заставки и виньетки.

Благодаря помощи Василия Борис начал учиться.

Отец был против, пришлось выкрасть метрики. После начальной школы Борис Токин поступает в четвертый класс высшего начального училища, которое заканчивает весной 1914 года и сдает экзамен в пятый класс Вольского реального училища.

Сколько было радости у подростка Бориса! Он стал реалистом. Но эта радость пропала в первый день занятий — хорошее настроение испортил инспектор. Тыча в грудь Бориса пальцем, инспектор сквозь зубы процедил:

— А это еще что?

Борис растерялся, не понимая вопроса инспектора.

— Я тебе говорю, почему не в форме? — продолжал цедить инспектор.

— Господин инспектор, нет денег, — вырвалось у Бориса.

— Нет денег на форму? — скривил губы инспектор. — А как же думаете жить?

— Вечерами работать, — бойко ответил Борис.

Словно не слыша ответа Бориса, инспектор заключил:

— Вот что, любезнейший, пока у вас не будет формы реалиста, я запрещаю вам посещать занятия.

Что мог придумать четырнадцатилетний паренек? Тогда Борис пошел за советом к Василию. Тот его встретил немного сурово, но выслушал внимательно и заключил:

— Надо — помогу...

Форма реалиста была куплена. Борис Токин стал полноправным воспитанником Вольского реального училища.

Однако трудности оказались впереди. Через год на фронте погиб брат Василий. Борису не к кому стало обращаться за советом. Семья Токиных рассыпалась. Борис ушел на частную квартиру, взяв с собой младшего брата. Деньги на пропитание стал зарабатывать — речетировал сынков богачей.

Но Борис не хныкал, упорно работал, отлично учился, группировал вокруг себя реалистов. Во всем он хотел быть похожим на брата Василия.

Сошлись они с Федором Панферовым с первых слов, один из семьи рабочих, второй — из крестьян.

Им было интересно друг с другом. Как-то, гуляя по аллеям городского сада, остановились под кроной огром-

ного дуба. Стояли молча, и каждый знал: под этим дубом когда-то сиживал Емельян Пугачев. И эти минуты молчания сблизили их, породили доверие друг к другу.

— Ты слышал, вчера толпа народа напала на полицейский участок? — вполголоса спросил Федор.

— Не только напала, но и избила городского, — уточнил Борис. — А еще выбила стекла в магазине.

— Это война, — задумчиво произнес Федор. — А знаешь ли ты, что на цементных заводах увольняют рабочих?

— Знаю, — лаконично ответил Борис. — И это тоже война.

Их встречи участились. Федор начал приводить своих товарищей, Борис — своих. С наступлением зимы стали собираться на одной из квартир: читали стихи, обменивались мнениями о книгах. Федор рассказывал мне впоследствии, что в то время он и его товарищи, замкнувшись в кружки, не общались с передовыми рабочими, не были еще знакомы с трудами Маркса, Энгельса, Ленина. «Мы много читали. Но читали больше все такие модные книги: Фореля «Половой вопрос», Отто Вейнингера «Пол и характер», Ницше «По ту сторону добра и зла», Шопенгауэра, Спенсера, Ренана. Любили мы Уитмена, Тагора, Верхарна, увлекались Эдгаром По, даже Бодлером; а перед Гейне преклонялись, как преклонялись перед Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Горьким...»

Жажда активных действий, внутренний протест против несправедливости жизни, горя и нищеты привели Федора и Бориса к решению выпускать рукописный журнал «Голос юности». В нем стали появляться революционные песни, воспоминания о революции 1905 года. Федора особенно потрясло стихотворение, в котором выражался яркий протест самодержавию.

Прогнили основы. И рушиться зданье
Сегодня иль завтра должно.
Бессильны его поддерживать все старанья,
Свой век отслужило оно.
Преданье осталось: строители зданья
В работе своей вековой
Цементом скрепили его основание,
Пропитанным кровью людской.
Но время тяжелой своею рукою
Весь дом расшатало почти.
Приходят рабочие дружной толпою;
Чтоб ветхое зданье снести.
И громом и стоном в ушах раздается

Удар по стене вековой.
Обломок летит — и кровь алая льется:
Рабочий упал молодой.
И дрогнуло все; на мгновенье работа
Как будто совсем замерла...
Но время не ждет, не терпит забота,
Живому — живые дела.
Падет и еще не один под ударом
Обломков стены вековой...
Да, видно, тот дом был построен не даром
На крови горячей людской.

«Голос юности» — первый журнал, который он редактировал и в котором впервые он публиковался под псевдонимом Марк Солнцев, — еще не один, вместе с Борисом Токиным.

Набат свершившейся в Питере Февральской революции, скинувшей с престола царя, докатился и до Вольска. Федор впоследствии так вспоминал об этом в автобиографической повести «Родное прошлое»:

«Вот и долгожданный день.

Весь город высыпал на улицу, захватил площади, и полились речи, радостные слезы. Мы, семинаристы-кружковцы, декламируя Уитмена:

Бей! Бей, барабан!
Труби, труба, труби:
Идет революция! —

тоже влились в ряды демонстрантов.

Казалось, наступил какой-то общенародный праздник. Все газеты, особенно кадетские, воспевали революцию. Наши местные адвокаты кричали, захлебываясь: «Теперь все расцветет!» Вслед за ними и за газетами повторяли как попугаи эти речи и мы, семинаристы, вместе со всеми демонстрантами ходили «на поклон» к пустовавшему дому Керенского».

Захваченные общим течением событий, Федор и его друзья вбежали в актовый зал семинарии и уничтожили портреты царя и царицы.

Семинаристам многое было неясно. Одни недоумевали: почему местная буржуазия за революцию? Такие семинаристы, как Александр Беляков, считали: «Для порядка и царь не мешает».

Все чаще собирался теперь кружок, в который входили Федор и его товарищи: хотелось разобраться в об-

становке, найти свое место в революции. В конце концов Федор и его друзья решили пойти в народ, в села с лозунгом «Земля и воля», не только не понимая его ошибочности и вредности, но и ратуя за Учредительное собрание. О тех днях Федор пишет:

«Я, конечно, тоже ратовал за Учредительное собрание, за то, чтобы «на законном» Учредительном собрании был обсужден вопрос, кому и как передать землю. Мне, тогда еще наивному юноше, казалось, что Учредительное собрание — то святое место, где все народные нужды будут полностью удовлетворены. С этими мыслями я отправился по деревням и селам Вольского и Хвалынского уездов, вполне уверенный, что теперь-то я несу крестьянам доподлинную правду...

Выступал я обычно на базарах, на ярмарках. Взыбрусь на крышу какой-нибудь лавчонки, криком: «Граждане, сюда!» — приостановлю торг и начинаю произносить страстные речи. На первом плане, конечно, разоблачение семьи Николая Кровавого. Затем призыв ждать Учредительного собрания, не допускать беспорядка, не отбирать самовольно землю у помещиков.

Люди слушали меня, но вскоре я подметил, что большинство со вниманием слушало меня, когда я доказывал, что Николай Второй по крови больше немец, чем русский, и весьма мрачно, когда убеждал, что до Учредительного собрания крестьянам не следует захватывать землю у помещиков.

Через пять или шесть таких митингов я увидел, что в конце речи мне аплодировали только прилично одетые, то есть купцы, помещики, их детки, приказчики, лесоводы, техники, а крестьяне провожали меня молча.

Задумался.

Почему же так?

Темны еще? Не просвещены? Не понимают того, что я на их стороне и горой стою за их благо. Конечно, землю у помещиков и кулаков надо отобрать и передать крестьянам. Но порядок должен быть. Порядок! Вот соберется Учредительное собрание, и тогда... А пока малость надо пообождать, этого требует порядок — вот чего не хотят понять крестьяне. Стало быть, мне положено их просветить...

Однажды в селе Безобразовка с парадного крыльца огромной больницы я снова выступил перед собравшимися крестьянами. Кончив речь, увидел, как несколько

человек, переглянувшись, выделились из толпы и подходят ко мне. Они в поношенном военном обмундировании, у одного нет руки. Значит, они побывали на фронте и испытали ужасы войны.

«Вот они поддержат меня!» — уверенно подумал я.

Один подошел ко мне вплотную и в упор сказал:

— Вот что, голубь сизокрылый. Говоришь: «Жди Учредительного собрания?» Помещик Безобразов у нас тут был — это же сказал. А мы землю у него забрали да засеяли. Выходит, ты говоришь: «Хлеб убирать подожди». Учредительное, дескать, собрание рассудит? Кому в рот, а кому по шее, — так?

От крестьян понеслось в мой адрес:

— Да он сам помещик!

Я покраснел и выкрикнул:

— Нет! Я сын крестьянина-бедняка из села Павловка. Рядом с вами, семь верст!..

Фронтвик, который вступил со мной в разговор, сказал:

— Значит, выродок!

Наступила такая тишина, что было слышно, как на крыше больницы воркует голуби.

Я растерянно молчал, думая:

«Значит, они уже просвещены. Вот эти люди, побывавшие на фронте, просветили их. А я тяну вместе с помещиками...»

Краска стыда залила мое лицо, и я, как бывает в юные годы, резко изменил курс:

— Взяли землю у помещика?

— Взяли! — хором ответили крестьяне.

— И очень даже хорошо! Берите не только землю, берите леса, забирайте барские хоромы — и в шею всех этих объедал!

С этого момента во мне совершился крутой перелом, и я, выступая на митингах, уже говорил то, что главным образом нужно было народу:

— Берите землю и сбрасывайте со своей шеи помещиков, как дохлых осенних мух!»

В Вольск Федор возвратился в конце лета, уставший, измученный и вместе с тем обновленный.

Начало сентября 1917 года. Общее собрание семинаристов. На повестке дня один вопрос: организация уче-

нического комитета. За включение в повестку дня этого вопроса выступили Вася Тюрин и Вася Чернавский.

— Не понимаю, зачем нам этот комитет? — возразил Александр Беляков. — Есть у нас глубокоуважаемый директор, он знает, как вести дела.

— Вот и иди к нему в холуи! — донеслось с задних рядов.

Александр Беляков умолк. Все присутствующие дружно проголосовали за создание комитета, а председателем избрали Федора. Его же на этом собрании избрали делегатом на общедемократический ученический съезд в Воронеже. В архиве сохранилось прошение Федора Панферова:

«В педагогический совет Вольской учительской семинарии от воспитанника III класса Федора Панферова. 18 сентября сего года я был избран воспитанниками семинарии на Всероссийский съезд в г. Воронеж.

Имею честь покорнейше просить педагогический совет дать разрешение на поездку.

Съезд состоится от 10 до 15 октября.

Воспитанник III класса Федор Панферов».

Педагогическому совету не оставалось ничего иного, как дать разрешение. Эта поездка была для Федора большим событием. Встречи в Воронеже, выступления делегатов, рассказавших о первых шагах по демократизации своих учебных заведений, дали богатую пищу его пылливому уму. Он возвращался в Вольск, полный планов. Как лучше наладить работу комитета? Ему не терпелось поскорее обсудить все с друзьями, но при первой же встрече Вася Чернавский огорошил его:

— А знаешь, у Васи Тюрина куриная слепота! Вышли мы с ним вчера из городской библиотеки, а он и говорит: «Ни зги не вижу. Как только солнце за горы, тут мне и конец...»

— Вот беда! — опечалился Федор. — Видно, у него с голодухи такое приключилось. Айда к нему!

Вася Тюрин лежал на жесткой кровати, закрыв лицо руками.

— Эй, Вася, а ну-ка быстро приготовь чаек, — как ни в чем не бывало попросил Федор. — У меня калач саратовский есть, да и сахарок принес.

— А, Федя... — вяло откликнулся Вася Тюрин. — Беда у меня.

Федор сел на край кровати, затормошил друга:

— Никакой беды! Надо каждый день есть коровье масло, и через неделю как рукой снимет: будешь видеть... А я тебе привез новость: в Питере произошла пролетарская революция. Знаешь, кто такой Владимир Ленин? Нет?.. Он — руководитель социал-демократической партии большевиков. — И Федор с жаром пересказал друзьям все, что слышал в Воронеже о Ленине, о питерских рабочих. Потом перевел дух и улыбнулся: — А где чай?

Вася повеселел, щеки его зарумянились, видно, ему стало стыдно, что расхандрился.

Друзья, подшучивая друг над другом, расставили на столе чашки, Федор принес хозяйский самовар — с каким же удовольствием принялись они чаевничать!

— А у нас в Вольске, как думаешь, большевики есть? — налегая на хлеб, спросил Вася Тюрин.

Федор отставил блюдо с недопитым чаем.

— Непременно... Мне советовали искать их среди рабочих цементного завода. Мы туда обязательно пойдем, а для первого раза у меня возникла идея — помочь голодающим семинаристам.

— А как?

— Кинематограф.

— Хватанул, брат!

— Ничуть, — убежденно сказал Федор. — Один сеанс объявим в пользу голодающих семинаристов, билеты станем распространять сами.

Это предложение было обсуждено на заседании комитета, и тут же Федор сочинил текст для билета: «Дорогой друг грамоты и просвещения! Голодные ученики семинарии, которые завтра будут учить детей и давать им свет революции, нуждаются в твоей помощи. Опустить деньги в кружку и приходи в кинематограф...»

Комитетчики одобрили текст, а когда восторг утих, Федор сказал веско:

— С владельцами кинематографа говорить буду я сам.

Осуществить эту благородную идею оказалось не так-то просто: хозяева кинематографа наотрез отказались дать бесплатный сеанс. В качестве контрмеры семинаристы расставили своих пикетчиков, и ни один человек не мог пройти в кино. Попав в безвыходное положение, владельцы кинематографа были вынуждены согласиться с предложением комитета.

Так была оказана материальная помощь голодающим семинаристам.

И снова друзья сели за парты, чтобы наверстать упущенное.

И снова собирались под кроной пугачевского дуба, чтобы обсудить тот или иной экстренный вопрос.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Революция уверенно шагала по России. Едва на места доходила весть о восстании в Петрограде, как рабочие бросали работу, выходили на демонстрации, братались с солдатами, разоружали полицию, освобождали из тюрем политических заключенных, смещали представителей царской власти, выбирали депутатов в Советы. В Вольске, несмотря на существование Советов, по-прежнему всем заправляли городская дума и земская управа, в соборе под малиновый звон колоколов служили молебны во здравие царя-батюшки. Если кто и говорил о том, что в Москве и Питере у власти стоят рабочие, крестьяне и солдаты, на это иронически отвечали:

— Судьба России решается не там, а вот здесь, в таких дальних уголках, как Вольск. Что нам Москва или Питер! Сила в нас, купцах.

И тем не менее Вольск тоже бурлил. Каждый день то тут, то там проводились митинги. Каждый оратор, бия себя в грудь, доказывал свое: вот, мол, в чем суть революции... Ходил на эти митинги и Федор. Он уже хорошо понимал, что те, кто ратует за власть Учредительного собрания, — враги народа. Он еще не знал, что большевистская организация города была малочисленна и не имела достаточного влияния среди рабочих. Воспользовавшись этим, меньшевики и эсеры сумели перетянуть на свою сторону делегатов общего собрания фабрично-заводских комитетов Вольска и протащили свою резолюцию — отказаться признать Советское правительство до созыва Учредительного собрания.

Обстановка в городе осложнилась. Но в народе росли, зрели революционные силы — и за счет прибывших с фронта солдат, и за счет агитационно-разъяснительной работы большевиков.

В начале января 1918 года красногвардейские отряды нанесли поражение силам реакции. Под Новый

год вольская буржуазия устроила в честь офицерства бал-маскарад. На балу офицеры выступили с контрреволюционными речами, призывая к борьбе с большевиками. Революционно настроенные матросы разогнали сборище и разоружили офицеров.

Федор поспешил собрать ученический комитет, но не успел открыть рот, как в класс вошел директор Гавриловский.

— Нас не касается то, что происходит в городе, — заявил он. — Лучше займитесь теми, кто плохо учится. Кроме того, некоторые из вас часто пропускают уроки, как, например, воспитанник Федор Панферов. Если это будет повторяться, пеняйте на себя: исключу из семинарии.

Но никому не было дано повернуть вспять колесо истории. «Некоторые», кто часто пропускал уроки, и в их числе Федор, не испугались директорских угроз. Революция всколыхнула сонное, тягуче-мещанское бытие Вольска, и молодежь, взбудораженная происходившими в стране событиями, искала выход своей энергии, пыталась осознать: за кем идти, что отстаивать?..

Вольская газета «Известия», обращаясь к рабочим, призывала их к борьбе против врагов народа: «Эту борьбу помогают вести наши «Известия», помогайте и вы нам своей поддержкой...»

Еще недавно не искушенным в политике семинаристам казалось, что все обстоит как нельзя лучше: крестьяне получили землю, хозяева цементных заводов сбегали — теперь начнется хорошая жизнь. На самом деле все было куда сложнее. В Советах шла упорная борьба. Здесь верховодили получившие большинство голосов левые эсеры, которые сумели быстро активизировать свою организацию.

Заборы и газета пестрели объявлениями: «Производится запись в члены соц. революционеров интернационалистов. Членские взносы 25 копеек».

Не забывали левые эсеры и молодежь. Как-то Вася Чернавский прочитал в «Известиях»:

«Инициативная группа приглашает учащихся средних учебных заведений, разделяющих программу и тактику соц. рев. интернационалистов, на собрание в здании учительской семинарии».

— Федор, ты как на это смотришь? — прочитав объявление, спросил Вася Чернавский.

— Пойдемте все, послушаем,— предложил Федор.— Всех мы с тобой слушали: меньшевиков, монархистов... Теперь послушаем этих, как они себя именуют, социал-революционеров и даже интернационалистов. Надо, Вася, слушать да на ус наматывать.

— А большевики, о которых ты мне говорил? Где сторонники Ленина?

— Ты ничего не слышал о Зелимханове?

— Нет, — Чернавский пожал плечами.

— Это настоящий большевик, — внушительно произнес Федор.— Вообще-то, он Свечников, а так зовут Зелимхановым.

— Подпольная кличка?

— Возможно... Кстати, — заметил Федор, — он учился в нашей семинарии.

— Молодец какой, стал большевиком, — позавидовал Чернавский. — А его можно увидеть?

— Конечно. Сегодня же и пойдем туда, — Федор махнул рукой в сторону цементных заводов. — Обязательно увидим там Зелимханова. А теперь, Вася, готовься принять бой тут.

И друзья направились на собрание инициативной группы. Поднялись по чугунной лестнице семинарии на второй этаж, в актовый зал.

— Жидковато, — заметил Вася Чернавский.

— Для начала ничего, — зачастил юркий Александр Беляков. — Как известно, дело не в количестве, Вася, а в качестве. Вот-вот обещали подойти реалисты.

— А кадетов не ждете? — Чернавский иронически улыбнулся.

Беляков вспыхнул, раздраженно отрезал:

— Здесь тебе, Чернавский, не балаган, и паясничать не позволим!

— Смотрите, какие строгости! — Чернавский пожал плечами. — Так вот сразу и слова лишают.

А Беляков между тем лисой — к Федору:

— Ты вроде бы разделяешь нашу программу...

— А кто это тебе сказал?

— Земля слухом полна. На сельских сходах выступал?

— Был грешок, — признал Федор. — Тогда не совсем разбирался, теперь понял... — И рубанул решительно: — Без диктатуры пролетариата погибнем!

Беляков вздрогнул, процедил заносчиво:

— При чем тут пролетариат, когда Россия — страна аграрная... Найди мне рабочих в деревне. Нет их... О диктатуре пролетариата не может быть и речи.

Федор рукой отстранил Белякова, прошел к столу, обратился к собравшимся:

— Я не признаю никакой инициативной группы, да и зачем она? Одно хочу вам сказать — идите за большевиками, за Лениным. Идите к рабочим цементных заводов, там все поймете. Левых, правых и прочих эсеров не слушайте!

— Кто тебе дал право срывать наше собрание? — к столу подлетел рыжий парень.

— Да понимаешь ли, я сам себе дал право, — Федор постучал пальцами по своей груди, как бы подтверждая, что так оно и есть. — Зачем затевать дело, когда оно не стоит выеденного яйца? Ты-то тут что за птица?

— Мы — инициативная группа.

— Знаю, все знаю... Ты из Черкаска, и отец твой имеет отруб земли, который получил от Столыпина. Верно?

Паренек заморгал глазами.

— Ну и что тут такого?

— А вот то! Вася Тюрин, у твоих родителей есть отруб земли?

— Не имели, — отозвался Тюрин.

— Посмотри, у Василия даже фамилия бедняцкая. Что такое тюря? Не знаешь? Не приходилось кушать? Хлеб и вода. А живет Вася в Лопуховке. Может ли он пойти в партию, в которой состоят сынки богатеев? Уверен — не пойдет!

Поднялся шум. Собравшиеся разделились на две группы, большая примкнула к Федору, меньшая — к Белякову.

Так фактически было сорвано собрание левых эсеров, которые рассчитывали привлечь на свою сторону молодежь Вольска.

— Ну как, Вася? — Федор обнял за плечи Чернавского, когда они покинули актовый зал семинарии.

— Не пойму... — неуверенно произнес Чернавский. — Вроде все правильно: земля — крестьянам. А частная собственность остается? Тут какая-то закавыка, верно, Федя?

— Вот именно! — Федор потер ладони, словно готовясь к драке. — Именно закавыка. Теперь нам обяза-

тельно нужен Зелимханов, только он разрешит наши сомнения. Только он.

Хотя в Вольске власть перешла к Советам, педагоги семинарии во главе с директором Гавриловским придерживались старых, монархических порядков и покровительствовали одной лишь группе Белякова.

От имени ученического комитета Федор Панферов потребовал — это было 19 января 1918 года — созыва педагогического совета.

Войдя в кабинет Гавриловского, Федор сказал:

— Учитывая создавшееся положение, мы желаем ускорить обучение в семинарии с тем расчетом, чтобы этой весной сдать экзамены за третий класс и одновременно на аттестат зрелости.

— Я вас не понимаю, господин Панферов. — Гавриловский холодно взглянул на Федора.

— Во-первых, я не господин, а гражданин, — поправил Федор.

— Да, да, забыл... гражданин Панферов, — Гавриловский усмехнулся. — И все-таки, что предлагает ваш комитет?

— Просим пересмотреть учебный план. Мы готовы заниматься в две смены.

Директор пожевал губами, подумал.

— Посоветуюсь, посоветуюсь с коллегами учителями.

У дверей директорского кабинета Федора встретили нетерпеливые товарищи:

— Ну как?

— По его физиономии видно: не согласится.

Федор как в воду смотрел: ничего из этого дела так и не получилось.

— Нет, нет, это невозможно, в такой короткий срок пройти двухгодичную программу — безумие, — разъяснил Гавриловский. — Это бессмысленно.

Ученический комитет обратился за помощью в исполком Вольского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Семинаристов доброжелательно выслушали.

— Это же здорово — спрессовать два года учебы в один, — сказали им. — Однако есть дела поважнее. Посмотрите, не найдется ли у вас добровольцев.

— Куда? — глаза у Федора загорелись.

— В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Только что поступила телеграмма наркома просвещения Луна-

чарского. Вот она. — И Федору поручили ознакомить учащихся с директивой наркома.

Комитет незамедлительно созвал общее собрание.

— Из Петрограда от товарища Луначарского получена телеграмма, которая во многом затрагивает наши интересы, — волнуясь, объявил Федор. — Разрешите ее зачитать: «Опасность растет грознее. Рабочая молодежь густыми рядами идет встать под знамена священной обороны социализма. Мы, Комиссариат просвещения, знаем, что есть много горячих сердец, бьющихся светлой любовью к делу трудящихся, и среди учащейся молодежи, учеников старших классов средних учебных заведений, студентов университета и других высших школ, и мы призываем их идти рядом с рабочей молодежью, стать оплотом против империалистического зверья. Женская учащаяся молодежь может пополнить ряды армии врачебно-санитарной. Место есть всякому. Желаящие должны явиться в районные совдепы. В связи с этой общей ситуацией Комиссариат просвещения считает необходимым объявить занятия данного учебного года для всех высших и средних учебных заведений законченными. Нарком Луначарский».

Едва Федор умолк, к столу президиума подошел Гавриловский:

— Мне кажется, эта телеграмма к нам не относится, она приемлема только для Петрограда.

Федор обернулся к Васе Чернавскому, и тот, бросив выразительный взгляд на Гавриловского, чеканя каждое слово, огласил постановление Вольского Совета рабочих и крестьянских депутатов, предписывавшее педсовету учительской семинарии без промедления привести в исполнение указание Луначарского.

Члены ученического комитета предъявили педсовету резолюцию: «Немедленно распустить все классы Вольской учительской семинарии для того, чтобы ученики могли свободно поступить в Красную Армию добровольцами.

Все переводятся в следующие классы без всяких перекламеновок и дополнительных работ, по текущим положительным отметкам, с выдачей удостоверений».

Резолюция была передана Гавриловскому, а вместе с ней — список добровольцев. Гавриловский, пробежав глазами текст резолюции, взглянул на список — первым стояло имя и подпись Федора Панферова.

— Мне неясно, — спросил он, — учащиеся приглашаются или обязываются идти в эту, как ее по цвету, армию?

— Нарком Луначарский призывает нас исполнить долг перед Родиной! — гневно ответил на издевку Гавриловского Федор. — Необходимо быстрее идти на защиту Родины, а не чинить нам препятствия. Враг не ждет!

Гавриловский взглянул на Федора с нескрываемой ненавистью, но, почувствовав свое бессилие, сник.

Весь день семинария бурлила. Большинство учащихся, вопреки стараниям Гавриловского отговорить их записываться в Красную Армию, приняло сторону ученического комитета.

К вечеру члены комитета пришли в совдеп и положили на стол список добровольцев. Список этот принял рабочий цементного завода Павел Сивашев.

— Молодцы! — одобрил он. — Завтра все приходите сюда.

...3 марта 1918 года Вольск облетела весть о подписании в Брест-Литовске мирного договора. Тем самым Советское правительство вырвало страну из империалистической войны, завоевало мирную передышку, необходимую для упрочения Советской власти, создания Красной Армии, ликвидации хозяйственной разрухи и перехода к социалистическому строительству.

Нужда в добровольцах-учениках отпала.

Федора не покидало желание увидеть Зелимханова. И в один из дней он вместе с Васей Чернавским отправился на цементный завод.

Со стороны Заволжья дул колющий степной ветер. Мороз щипал уши, но Федор с Васей, ускоряя шаг, словно не замечали холода. Полчаса ходьбы — и они на цементном заводе. Здесь шло бурное собрание рабочих. Выступал меньшевик доктор Шоур. Тыча себе в грудь длинным пальцем, он визгливо кричал:

— Не напрасно я сидел при царе на каторге! Теперь настало наше торжество, мы поведем вас к новым свершениям!

— Каким? — выкрикнули из зала.

— Война до победного конца!

— Нам нужен хлеб, а не война! — крикнул тот же голос.

— Именно хлеб, — силой отстранив Шоура, заговорил молодой рабочий. — Нам нужен хлеб. Вольская дума до того дохозяйничалась, что в зиму оставила город без хлеба, тогда как в селах за Волгой от изобилия хлеба трещат амбары. Без хлеба мы погибнем. Мы, большевики, предлагаем срочно организовать продотряд и направить его в села. И мы должны сделать это, пока не тронулась Волга. Верно я говорю?

— Молодой, а башковитый, — одобрительно произнес стоявший рядом с Федором бородатый человек. — Кто же это, не знаете?

— Большевик Зелимханов, — ответил кто-то.

— Так вот он какой... — прошептал Чернавский.

Собрание затянулось. После Зелимханова один за другим начали говорить рабочие, все были за продотряд. Тут же началась запись добровольцев. Зелимханов едва успевал отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы.

— Нет, не будет теперь земля принадлежать барину, станет на ней хозяином крестьянин. Фабрики, заводы перешли к рабочим. Нет больше эксплуататоров, — объяснял он.

Федор не сумел пробиться к Зелимханову, а как хотелось пожать ему руку, высказать свои сомнения, получить совет!

— Вот это да! — восхищался Чернавский, когда они возвращались в город. — Как он твердо сказал: фабрики — рабочим, земля — крестьянам. Теперь я окончательно за большевиков.

Занятый своими мыслями, Федор шел молча. На углу одной из улиц он, ни слова не говоря, сунул Чернавскому руку и круто повернул домой.

К тому времени Федор вот уже год, как жил не один — привез из Павловки младшую сестру, Марию. Они сняли недорогую комнатуху у домовладельца Титова. Цена была невысокой из-за того, что окно было застеклено цветными толстыми стеклами, которые едва пропускали свет. Это было сделано в угоду богатею-соседу, который не желал, чтобы из дома Титовых смотрели на его двор. Федору комнатуха нравилась. Возле стенки — железная кровать с соломенным матрацем и жиденькой подушкой, покрытая серым солдатским одеялом, купленным на толкучке. Зимой, когда топили голландку, здесь было даже уютно: весело потрескивали

дрова, пляшущие блики огня причудливо отражались цветными стеклами, по стенам бежали тени.

Едва Федор переступил порог дома, как услышал взрыв девичьего смеха, различил голоса сестры и хозяйской дочери, гимназистки Шурочки, а еще один женский голос был ему незнаком.

— А мы тебя ждем! — сказала Мария, когда он вошел.

— Зачем я вам понадобился?

— Ужинать.

— Это хорошо. У меня с утра во рту и крошки не было. — И встретился глазами со стоявшей у окна незнакомой ему девушкой, чей смех оборвался, как только он открыл дверь.

— Моя подруга, — представила ее Шура. — Валя.

Федор подал руку девушке.

— Спокойное имя — Валя. А я — Федор. По-гречески — божий дар.

Девчата расхохотались, затормошили Федора, усадили за стол. Он с аппетитом поел картошку, запил кружкой молока.

— Спасибо за угощение.

— А мы в фанты хотели поиграть, — нежно улыбнулась Шура, желая угодить Федору.

— Увы, у меня нет времени. — Федор поднялся из-за стола и ушел за перегородку.

Вот наконец он и один. Зажег керосиновую лампу, стал ходить из угла в угол — в голове его рождались стихи... Наверно, он бы просидел всю ночь, но, как на грех, фитиль стал коптить — в лампе кончился керосин. Федор с досадой потушил ее и лег на жесткую кровать, продолжая бормотать строчки стихов.

Утром он пошел в редакцию газеты.

— Так, так... Значит, семинарист? — спросил редактор газеты Богомолов, оглядывая потертую шинель Федора. — Что вас сюда привело?

— Ваше дурацкое объявление о собрании в учительской семинарии.

Брови Богомолова поползли вверх, и Федор уточнил:

— О собрании левых эсеров интернационалистов.

— И что же?

— Пришел выразить протест.

— И только?

— Кроме того, принес стихи.

— Нашей газете нужны и стихи. Читайте.

Федор смутился. До этого он читал стихи только близким своим друзьям, а тут — самому Богомолу, настоящему революционеру. Высокий, стройный, с умными глазами, с большой копной вьющихся волос, Богомол, как показалось ему, был похож на Чернышевского. Федор старался не смотреть на искалеченные руки Богомолова.

...Он лишился кистей рук в 1905 году, когда учился в Казани. Была намечена демонстрация рабочих, и, чтобы защитить демонстрантов от казаков, студенты решили смастерить бомбу. Это было поручено Богомолу. Рабочие двинулись в центр города. Вдруг кто-то крикнул: «Казаки!» Богомол побегал навстречу казакам, хотел было бросить в них бомбу, но не успел: она разорвалась у него в руках.

Друзья помогли Богомолу закончить университет, он стал математиком, получил назначение в Вольск. Вместе с ним поехала и Вера, давнишняя его подруга. Жил Богомол под надзором местной полиции. Себя особенно не проявлял, а когда произошла Февральская революция, организовал и возглавил редакцию газеты «Известия».

— Что ж, молодой человек, — Богомол улыbnулся, — взялся за гуж, не говори, что не дюж. Читайте, я слушаю...

Федор смущенно произнес:

— Боюсь, плохие... Лучше посмотрите сами.

— Тогда кладите сюда, — Богомол показал на желтую папку. — Что еще напишете, несите. — И повторил: — Нам нужны и стихи. Теперь отвечу на ваш протест. Да, гнать бы нам надо эсеров в шею, да силенок пока нет. В Вольске большевиков раз, два — и обчелся. Трудно нам. Что такое эсеры? Партия кулаков. А кто такие левые эсеры? Пока понять трудно. Одно скажу, в Советах их большинство. Но придет время, победят большевики и народ пойдет за нами. Такие собрания, какое было в семинарии, дело временное. Остается одно — или с нами, или против нас, так учит Ленин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Семинаристов выпустили досрочно. Часть из них добровольно ушла в Красную Армию, часть разъехалась

по селам; уехал и Вася Тюрин. Прощаясь с Федором, он сказал:

— Мечту свою пойду осуществлять, Федя. Я должен быть учителем! Теперь все новое, и фамилию я свою сменю. Какая-то Тюря. Будешь в наших местах — ищи Василия Дубровина.

— Желаю тебе, Вася, добра и счастья, — обнимая друга, сказал Федор. — А фамилию менять не советую. Она звучная, чисто русская.

Первые минуты расставания не только с Василием Тюриным, но и со всеми семинаристами удручающе подействовали на Федора. Почти четыре года жили вместе, были и радости и печали, а в общем, было хорошо.

Друзья обошли все классы семинарии, медленно спустились по чугунной лестнице на первый этаж, на мгновение задержались у выхода, вышли на улицу, торжественно закрыли за собой входную дверь.

Прощай, семинария!

Начиналась новая, трудовая жизнь!

Федор стал работать в газете: писал боевые статьи и стихи, активно помогал Богомолу. Работа захватила его.

Однажды его вызвал Зелимханов.

— Фракция коммунистов исполкома решила рекомендовать тебя на советскую работу, — сказал он. — Будешь заместителем комиссара внутренних дел города Вольска и всего уезда.

— Мое призвание — газета, — смутился Федор. — Какой же из меня заместитель комиссара?

— Газету не бросай, — посоветовал Зелимханов. — Будешь заниматься и тем и другим. Иного предложить не могу.

19 апреля 1918 года исполком вынес решение: «Избрать временным комиссаром внутренних дел Королева, помощником его — Ф. Панферова, казначеем — Жилина».

— Я выступал на этом собрании, — заговорил было Федор, но Богомол переребил его:

— Знаю, что выступал, причем неплохо, только излишне горячился и не совсем точно. Зелимханова знаешь?

— Лично нет, но на его митингах был.

— Он настоящий большевик-ленинец, держись к нему ближе.

Некоторое время спустя Федор снова пошел на цементный завод и отыскал там Зелимханова.

— Я пришел к тебе, — сказал Федор.

— Очень приятно, — ответил Зелимханов. — По совести сказать, я о тебе слышал и ждал тебя.

И тут Федор откровенно сказал, что не все понимает в происходящих событиях. Революция победила, а здесь, в Вольске, что изменилось?

— Ты — сын крестьянина, а что крестьянину надо? Землю, — начал объяснять Зелимханов. — Это и обещают эсеры. Какая же разница между большевиками и эсерами по этому вопросу? Внешне вроде бы никакой: «Долой царя, земля крестьянину». Верно? — Зелимханов дотронулся до руки Федора. — Ну а где рабочий класс? Его роли эсеры признавать не хотят. Вот тут и кроются наши коренные разногласия. Мы — за Ленина, а Ленин — ученик Карла Маркса, значит, за диктатуру пролетариата. Пока в Вольске у власти наши противники, их большинство. Надо смотреть правде в глаза: нас еще мало, но наша сила вот тут, на цементных заводах, и сила эта непобедима. Давай, Федя, дерзай вместе с нами. Нас было семеро, ты, считаю, восьмой большевик в Вольске. На сегодняшний день это сила. Как-никак, а нет Вольской думы, есть Советы. Конечно, было бы значительно лучше, если бы председателем исполкома был большевик Чернышов или Иван Акимов... Ничего, Федя, было хуже. В декабре прошлого года большевики ставили вопрос о переходе власти к Советам, а местные меньшевики и эсеры сорвали нам это дело... Но все равно мы, большевики, победим!

Федор ушел от Зелимханова, твердо зная, за что теперь ему надо бороться.

Надел Федор длиннополую шинель, затянулся ремнем, переместил поудобнее кобуру с пистолетом, прикрепил на кожаную фуражку звездочку — и словно стал на голову выше, вроде бы даже возмужал.

— Задача тебе ясна? — спросил его при первой встрече комиссар Королев. — Придется бороться с контрой, спекулянтами и прочей тварью, что посягает на власть Советов. Начнем работать, а там, гляди, и управлять государством научимся. Цель одна — порвать с эксплуа-

таторами, не допускать к управлению белую сволочь, зубами грызть ей глотку.

Королев был невысокого роста, с выпирающим вперед подбородком, значительно старше Федора.

— Лиха беда взяться, — ответил на его решительную тираду Федор.

— Вот именно, — оживился Королев. — Кто в кони пошел, тот и воз вези.

Так в Вольске, в дополнение к комиссариатам продовольствия, финансов и юстиции, образовался еще один комиссариат. И в каждом две фракции — большевиков и левых эсеров, причем последние делали все от них зависящее, чтобы не допустить большевиков на руководящие посты в Советы, хотя при выборах почти все газеты лицемерно призывали: «Голосуйте за левых эсеров и большевиков!» — создавая видимость единства политической линии. Борьба разгоралась с каждым днем, обыватели не знали, кого слушать, кто прав, за кем идти — за левыми или правыми эсерами, а может, за меньшевиками?.. Объявился и союз фронтовиков, тоже заявлявший свои политические претензии. Как ни дрались между собой представители всех этих партий, одно их объединяло — стремление расколоть большевиков, и тут все средства были хороши. Лишь рабочие цементных заводов стояли за большевиков и поддерживали их.

Комиссариат внутренних дел разместился в доме одного из сбежавших богачей. Бывшую гостиную превратили в кабинет комиссара, в других комнатах расположился отряд, состоявший из пятнадцати молодых бойцов.

Не выдавалось ни одной ночи, когда отряд под командованием Федора не поднимался бы по боевой тревоге. Дежурный кричал в телефонную трубку:

— Что, что? Алло! Говори ясней. Что? Где? На пристани? Пожар? Не пожар! Бандюги! Ах, сволочи! Мо-гем! Мо-гем!..

Охрипший дежурный будил Королева, докладывал:

— Товарищ комиссар, треба отряд на подмогу. На пристани убили охранника и воруют хлеб.

Нарушая сонную тишину города, отряд скакал на место происшествия, до рассвета гонялся за бандитами, а утром — новое сообщение: в Чернавке кулаки разогнали Совет. И отряд направлялся туда.

Так было и в этот раз, с той только разницей, что ночь прошла спокойно. Но под утро Королев растолкал спавшего мертвым сном Федора:

— Э-э-эй! И камень, лежа, мохом обрастает. Пока ты, Федя, баклуши тут бил, опять сигнал поступил. Нонче неподалеку от женского монастыря стреляли в проезжего милиционера. В него не попали, а лошадь под ним убили. Пожалуй, надо бы пошарить по садам и оврагам. Видно, завелись бандюги. В тот раз я ездил — не обнаружил, а теперь давай махни ты. Хорошенько, как положено, пошарь...

Не прошло и получаса, как отряд направился к женскому монастырю. Разбив отряд на группы, Федор приказал тщательно проверить каждый куст вокруг монастыря, каждую могилу на кладбище, а сам с пятью бойцами ускакал в другой конец садов, намереваясь, если кто-либо из бандитов попытается бежать, отрезать им пути отхода. Задуманная операция была проведена на совесть, но безрезультатно. Когда отряд собрался, Федор молча оглядел своих бойцов и, помедлив, сказал уверенно:

— А все-таки бандиты здесь! Обводят они нас вокруг пальца, обводят. Хитры, каналы!

— А ежели нам в монастырь заглянуть? — предложил один из бойцов.

— Может, и так, — согласился Федор.

Они потоптались возле убитой лошади, прикидывая на глаз, откуда мог быть произведен выстрел, пришли к выводу: стреляли из монастыря. И тут Федор совершил непоправимую ошибку. Он дал команду окружить монастырь, а сам вместе с пятью бойцами сперва вошел в ограду монастыря, а потом и в церковь: там шла служба. На вопрос монашенок, зачем они прибыли, ответил:

— Ищем оружие.

Обойдя церковь и осмотрев казавшиеся ему подозрительными места, Федор поднялся на колокольню, где обнаружил мешки с мукой и сундучок с серебром. Бойцы реквизировали все это добро, но не успели сойти с колокольни, как забил набат. Мгновенно сбежались монашенки. Разнесся слух: коммунисты грабят монастырь. Во все колокола зазвонили церкви Вольска.

...Федор пришел в себя — и ничего не мог понять. В чем дело? Как он очутился в исполкоме? Хотел расстегнуть ворот — в руки впилась веревка. Поднял голову: исполком в полном составе.

Председатель собрания Сергей Чугунов дает слово Михаилу Струину.

— От имени красноармейцев я должен сделать следующее заявление, — сказал тот. — Служащий комиссариата внутренних дел Федор Панферов сделал в женском монастыре обыск без разрешения Чрезвычайного революционного Совета. Ввиду этого считаем необходимым неотложно наказать его проведением по улицам для снятия позорного пятна, брошенного им на Совет. Чрезвычайный революционный Совет предлагает этот вопрос на рассмотрение настоящего собрания. Я лично настаиваю вот на чем: предать Панферова суду революционного трибунала.

Федор пытался возразить — ему не давали слова.

— Кто за то, — спросил председатель, — чтобы предать Панферова суду революционного трибунала и вместе с тем провести его по улицам города, прошу поднять руки.

Федор исподлобья глянул на людей, от которых зависела его судьба, и сердце тревожно заныло. Но что можно сделать? Его не только связали, но и лишили слова. Да, что ни говори, сегодня его подвела излишняя горячность, торопливость, непродуманность принятого решения — и вот результат: недоброжелатели преподнесли ревкому «дело» по-своему. Трибунал Федору не страшен: там он докажет свою невиновность, страшно другое — вольская толпа. Он знал: ему все припомнят, и как он порастряс местных лавочников-мещан, как находил припрятанный хлеб, краденое золото, как ловил спекулянтов, накрывал заговорщиков... И теперь пройти мимо этих негодяев со связанными руками?.. Да они начнут плевать ему в лицо. Мерзко и страшно...

— Вопрос ясен, — тихо произнес Михаил Струин и хотел было закрыть заседание, как вдруг заговорил коммунист Иван Акимов.

— Тут что-то не то, товарищи. Я решительно протестую против предания Панферова суду революционного трибунала! Не вижу для этого веских фактов. Надо разобраться. Надо вызвать свидетелей. И совсем будет нелепо водить его по улицам города. Кто возьмет на

себя его кровь, если толпа его растерзает, в чем я уверен? Кто?!

Зал застыл в ожидании. Федор вздохнул с облегчением. Испарина выступила на его лбу, а Акимов между тем веско бросал в притихший зал:

— Я уверен, прислужники царского строя совершат преступный акт против молодого коммуниста, молодого человека, нашего товарища. Я категорически протестую против вынесенного решения и требую немедленно пересмотреть дело Панферова!

Исполкомовцы, оглядываясь друг на друга, смущенно пожимали плечами, да и сам председатель, видимо, удивился, как это он столь легко поставил на голосование, по сути дела, вопрос жизни и смерти Панферова.

— Не дадим! — вдруг выкрикнул кто-то. — Будем судить сами!

Федору развязали руки, освободили из-под стражи. Он грузно сел на стул, с трудом скрутил онемевшими пальцами сигарку, закурил и, восстанавливая в памяти шаг за шагом события этого рокового дня, думал о том, какие подобрать слова, чтобы убедить своих товарищей, что у него и в мыслях не было нанести своими действиями вред Советской власти.

Заседание возобновилось через два часа, когда собрали свидетелей. Первым слово взял Федор и подробно объяснил, как проходила операция, подчеркнув при этом, что действительно отряд реквизирует ценности и что во время обыска сопротивления со стороны монахинь не было.

— Деньги мы себе не брали, никто! Вызвали понятых и все хотели передать Совету. При обыске присутствовало пятнадцать человек — весь отряд. В церкви же со мной находилось пятеро бойцов.

Федор спокойно отвечал на вопросы, так же спокойно комментировал показания свидетелей. Когда же комиссар внутренних дел Королев заявил, что он будто бы предупреждал Панферова о том, что обыски и аресты могут производиться только по ордеру Чрезвычайного революционного Совета, Федор ответил:

— До сих пор я всегда производил обыски без ордеров как помощник комиссара. Я понял слова товарища Королева в том смысле, что после каждого обыска мы

должны сообщать о нем Чрезвычайному революционному Совету. Я не считал, что делаю самостоятельный обыск.

Один из свидетелей сказал, что не думает, что в монастыре было спрятано оружие.

— Полторы недели назад вы говорили совсем другое, — возразил ему Федор. — Вы говорили о том, что там засели бандиты и что там спрятано оружие. Вот причина обыска.

На Федора стали нападать со всех сторон, не хотели слушать его доводы. Тогда еще раз на выручку ему пришел Иван Акимов:

— Прошлый раз во время обыска в монастыре по городу также распространялись нелепые слухи о грабежах, хотя все было проделано с соблюдением всех формальностей. А как же быть, если в человека стреляют из монастыря, что же, сперва надо ехать в Чрезвычайный революционный Совет, а обыска не производить?

— Итак, — снова заговорил Михаил Струн, — вина Панферова в следующем: он сделал обыск без ордера Чрезвычайного революционного Совета. Обсуждение вопроса, нужен был обыск или нет, неуместно. Если там стреляли в красноармейцев, этого достаточно. Не думаю, что, если бы мы дали и сорок ордеров, набата не было бы, а будь контрреволюционеров больше, чем красноармейцев, мы получили бы кровавые ордера. Вчера один священник говорил мне, что у них при всякой тревоге условный знак — звон по всем церквам. Вот так!

Заседали допоздна. Искурили столько махорки, что зал словно подернуло туманом. Наконец осипший Михаил Струн подвел итог:

— Теперь все ясно: злого умысла у Панферова при обыске не было. А раз так, то за нарушение приказа ревкома о порядке производства обыска вынесем решение освободить Панферова от должности заместителя комиссара внутренних дел.

Акимов подошел к Федору, крепко пожал ему руку, вполголоса сказал:

— Тебе следует на недельку покинуть город: провокаторы могут тебя убить.

— Ясно, — кивнул в ответ Федор. — А тебе спасибо за все.

— Не мне, а нашей партии, в которой мы с тобой состоим.

— Но ты же...

— Знай, Федя, — перебил Акимов, — жизнь прожить — не поле перейти. Ведь это была первая твоя должность при Советской власти. Малость промахнулся, не рассчитал. Но это хороший урок. Наперед знай: семь раз примерь, один — отрежь. Ну валяй, — и ободряюще пожал локоть Федора.

...В моем архиве есть фотокопия номера вольской газеты, в котором помещен на двух полосах подробный отчет об этом заседании исполкома.

Поздним вечером Федор разыскал своего друга Ивана из Девичьих Горок. Тот понял Федора с полуслова. — Вопрос решен. Сейчас же подадимся к нам.

Бедному собраться что голому подпоясаться. Федор сложил свои рукописи и вещички в мешок, сбежал по крутой лестнице во двор, где его ждал Иван, держа под уздцы лошадей, и вот они уже миновали цементные заводы, поднялись в гору, затем дорога спустилась в темноту, круто повернула вправо — здесь и раскинулось село Девичьи Горки, где Федор нашел приют в доме близкого родственника Ивана, дяди Максима.

Дядя Максим радушно принял их, жена его принесла из погреба кринку молока, нарезала хлеба, пригласила нежданных гостей к столу:

— Чем богаты, тем и рады.

А когда Иван с Федором насытились, дядя Максим отвел их на сеновал, и они, рухнув на сено, уснули как убитые.

Проснувшись на рассвете, собрались с дядей Максимом на рыбалку. Взяли сети, весла и спустились на берег Волги. Светало. Где-то вдалеке вспыхнула заря. По земле поплыли длинные тени.

— Рыба, она такая, — шептал дядя Максим, когда отчалили от берега, — не любит, ежели нарушать ее покой, становится бояливой, мечется в заросли, лезет в глубину... Она такая... — повторил он, жестом показывая Ивану, куда следует направлять лодку.

Федору было интересно все: и то, как дядя Максим говорит про рыбу, и то, как Иван по его указанию послушно направляет лодку, и то, как медленно и сильно разгорается заря. Сколько было здесь торжественности! А ведь рыбная ловля — самое простое, обычное явление тут, на Волге.

Когда закинули сети, а затем начали их тянуть, лицо дяди Максима то освещалось радостью, то вдруг становилось злым, прокопченная кострами жиденькая бородака топорщилась, и весь он становился пружинистым, глаза блестели от гнева.

— Шайтан ты, Иван, самый что ни на есть шайтан! — ругался дядя Максим, когда ташили сеть. — Разве так стерль ловят?! Гони лодку на место!

Иван понял, что значит гнать лодку на место: на полуострове есть облюбованное дядей Максимом давнишнее местечко. Сколько лет он сюда приезжает! Построил тут шалаш — от непогоды. В нем хорошо отдыхать: лежишь и видишь Волгу. Рядом в землю вбиты две рогатины, на них положена перекладина: место для костра.

Федору понравилось это местечко. Тишина. Покой. Будто ничего на белом свете и не происходит. Пережитое в Вольске здесь казалось чем-то нереальным.

Он походил вокруг, пощупал погасшие угли, слезил в шалаш. А дядя Максим тем временем достал котел, вывалил в него часть стерляди, пристроился возле воды, начал чистить рыбу, приказав Ивану разжигать костер.

Трещали дрова в костре, красное пламя лизало чугунный котелок. Длинной деревянной ложкой дядя Максим помешивал варево, морщился от дыма.

— Она, ушица, штука такая, норовит губы обжечь, язык обжечь. Берегись, кричит, потому я с пылу с жару...

И действительно, уха получилась на славу. Дядя Максим бросил в нее по шепотке разной приправы, каждый раз пробуя на вкус, почмокивал губами, стряхивая с усов капельки юшки. Наконец вымолвил:

— С богом, ребятки, начнем...

Так и пошло день за днем: каждое утро ловили рыбу, варили уху, переплывали Волгу, жарились под горячими лучами солнца на золотом песке. Казалось бы, ничего лучше человеку и не надо: не жизнь — малина. Но однажды Федор вдруг взъерошился, заскрипел зубами:

— Нет, Иван, больше не могу. Сидеть и выжидать невесть чего — не желаю. Там революция, а мы?..

Иван понимал состояние Федора, однако тревога за друга заставила пробурчать сердито:

— Иди спеши, там тебя ждут не дождутся, небось вольские мещане уже приготовили тебе петлю... Иди...

Федор тряхнул головой, широким шагом ушел на берег Волги, искупался, а возвратившись, сказал:

— Махну я, Иван, в Саратов... Дела у меня там есть.

1 июля 1918 года контрреволюционные элементы Вольска — бывшее офицерье и кулаки — под малиновый звон соборного колокола подняли восстание.

Началась расправа над коммунистами.

Несколько часов отбивались от белобандитов работники исполкома во главе с Михаилом Струиным, но силы были неравные. В этом бою погиб смертью храбрых Михаил Струин.

Штаб контрреволюции находился в женском монастыре.

Федор узнал обо всем, лишь когда добрался до Саратова.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Еще весной 1918 года Федор познакомился с поэтом Леонтием Котомкой. И вот они снова встретились в Саратове, долго ходили по улицам, расспрашивая друг друга о боевых делах, о работе в газете, а когда вошли в городской сад и сели на старенькую скамейку, Котомка бросил внимательный взгляд на Федора:

— У меня есть к тебе предложение.

— Какое?

— Пора нам издавать свой, пролетарский, журнал. Для кого мы пишем стихи, рассказы? Для кого, скажи на милость?

— Мечтатель ты, Леонтий. Право слово, мечтатель...

— Всякую мечту, если очень захотеть, можно превратить в реальность.

— Твоими бы устами да мед пить, — иронически заметил Федор. — Нужны деньги, нужна бумага, нужна типография. Ничего у нас нет.

— Но зато есть Советская власть, — веско возразил Котомка.

Три дня они ходили по различным учреждениям, доказывали, что Саратову пора начинать издавать свой журнал, но везде старались от них отделаться: время-де еще не созрело, да и откуда взять бумагу, нет и типогра-

фин. Котомка тихим голосом настойчиво повторял свои доводы:

— Как это нет бумаги? Левые эсеры издают газету, печатают там разную чепуху. Для них есть и бумага и типография. А для нас — нет. Так не пойдет!

Были дни, когда казалось: и впрямь все их хождения бесполезны, не лучше ли оставить эти бесплодные хлопоты, но Котомка проявил твердость характера, дошел до председателя исполкома, сел в кресло в его кабинете:

— Отсюда можешь только вынести меня, а сам никак не пойду.

— Что это ты так распетушился? — Председатель улыбнулся, видимо полагая, что Котомка шутит, и угрозил пальцем. — Называешься пролетарским поэтом, а такие номера откалываешь! В момент рога обломаю. Что у тебя? Докладывай.

Остыв, Котомка подробно рассказал о задуманном. Председатель ни разу не прервал его, внимательно выслушал. Это был добрый знак. Очевидно, идея создания журнала заинтересовала его, ведь он и сам немного писал.

— Валяйте, бес с вами, — махнул он рукой. — Если надо, то надо, а редактором я вам рекомендую Дмитрия Бассолюго.

— Да это же клад! — воскликнул Котомка.

— В нашей областной газете редактор Антонов, очень добрый человек, тоже балуется стихами, — добавил председатель. — Он вам поможет.

Антонов охотно дал помощника для нового журнала, согласился быть редактором Дмитрий Бассолюго. И все-таки рождался журнал в муках. Много времени потратили, чтобы придумать название. Сколько было вариантов — не счесть! Оно и понятно, ведь это был первый советский литературный журнал в Саратове. И конечно же, его основателям хотелось придумать название оригинальное, несущее в себе приметы революционной нови, которая поставила у власти рабочих и крестьян. Котомка бегал по комнате, бормоча вслух различные названия:

— «Шмель», «Оса», «Буря»...

А сам в это время походил на муху, которая беспрерывно, надоедливо жужжала. Зато Дмитрий Бассолюго гудел басовито, шагал размашисто, под его ногами скрипели доски пола. Было в Бассолюге много артистическо-

го: то он говорил просто, а то вдруг начинал играть — делал намеренно плавные жесты, манерно втягивал губы. Ростом он был с Федора, только поуже в плечах.

Махорочный дым облаками висел под потолком. Спорили, как говорят, до упаду, а название не рождалось, хоть плачь. Вовлекли в «процесс думания» еще троих молодых людей, один из них оказался художником. И как-то, в самый разгар спора, Бассолюго величественно поднялся со стула, положил большую ладонь на чистый лист бумаги, пробасил:

— Вы, юнцы! Я вас спрашиваю, что такое революция? Это пламя. А если пламя... Словом, предлагаю назвать наш журнал коротко — «Горнило». Звучит динамично. Как вы на это смотрите?

Воцарилась тишина. Словно по команде, все повернулись к Бассолюго и уставились в его серые глаза.

— Может, и неплохо, — с непривычной робостью произнес Котомка, — но...

— Что «но»? — покосился на него Бассолюго.

— А где Волга? — уже с вызовом бросил Котомка. — Где наши поля?

— Это потом! — воскликнул Бассолюго. — Сейчас происходит революция, миленькие мои, революция, и я вижу ее в горне, в плавке, в металле. Там сгорает старое, рождается новое. Пойми это, Леонтий!

Говорят, в то время мало кто из журналистов способен был переспорить Бассолюго. Тот побеждал своим упорством и, что называется, мог любого загнать своим красноречием в угол. Зная это и боясь потерять редактора, Котомка смирился:

— «Горнило» так «Горнило».

Бассолюго плотно опустил на стул, обмакнул перо в чернила, крупно вывел: «Горнило» — художественно-литературный и социально-политический журнал.

Следя за движением руки Бассолюго, Котомка спросил:

— А девиз какой?

— Девиз я предлагаю такой, — вдохновенно сказал Федор. — Выявлять, углублять, растить художественные и творческие инстинкты в самой гуще народа.

Бассолюго с любопытством оглядел Федора.

— Это же здорово! — И повторил: — «...в самой гуще народа». Ну-ка, скажи еще раз, — попросил он Федора, — я запишу.

И под диктовку Федора написал слова девиза:

— Для первого раза, может, и пойдет. Как, соколы? «Соколы» девиз одобрили.

Итак, придумали название журнала, придумали девиз, казалось, теперь начинай собирать материалы, составлять первый номер. И опять вмешался Бассольго:

— Нам надо коротко изложить программу журнала, так сказать, сочинить обращение к читателю. И не просто сказать: мол, дорогой читатель, и так далее. А со всем чувством, на какое способна душа поэта.

Искурили еще по одной закрутке. Ни до чего путного не додумались. Вышли на улицу, побродили, затем возвратились в комнату.

— Садись, — Бассольго указал Котомке стул, — и пиши: «В тяжелые, но прекрасные дни идем мы к тебе, читатель. Отдаем тебе наши мысли, чувства, страдания, радости...»

Котомка медленно выводил каждую букву, а Бассольго диктовал строку за строкой, а когда остановился, то «эстафету» подхватил Федор:

В дни, когда позади нас путь слез,
Героических усилий, неисчислимых жертв,
А впереди солнечная дорога свободного творчества,
Свободного труда, свободного человека, гордого,
Как солнце...

Котомка писал и писал, а Федор продолжал диктовать:

В дни борьбы за башню,
За башню свободы,
Мы зовем тебя.
Зовем в семью нашего «Горнила».
Мы одни, и оттого мы с тобой, читатель,
Полюбим нас черненьких,
Скоро, скоро мы будем яркими,
Словно кровь наших знамен,
И прекрасными, как лик революции,
В мире солнца.

Так рождался журнал «Горнило». Несколько раз перерисовывалась обложка. После жарких споров остановились на такой: во всю обложку изображен кузнечный горн, в нем бушует пламя, течет поток огненного металла. Журнал был большого формата.

В редакции волновались. Как читатель примет журнал, какую даст оценку? Когда отпечатали тираж и первый номер поступил в розничную продажу, у стола ре-

дактора собрались авторы. Настроение у всех приподнятое, возбужденное. И лишь один Бассолого хмурился. Ероша волосы, ворчал:

— Не то, не то, товарищи... Надо бы сделать лучше, а получилось серо, невыразительно... Знаю я вас, очень хорошо знаю, сейчас скажете — первый блин комом, можно простить... Не можем! У нас нет времени на раскачку — революция! И потому надо делать все только наверняка, только наверняка, только отлично. Только тогда нас полюбит читатель.

— Не охайвай нас, не такие уж мы плохие, — перебил его Котомка. — Слушай, что написал поэт из Вольска:

А в руках, а в глазах у меня — смерть для тех,
кто посмеет на нас посягнуть...

Бассолого насторожился, выслушал Котомку.

— Неплохо, — заметил он, — но надо писать лучше. Именно лучше. Надо, чтобы слова разили врага, как пули, и даже сильнее. Вот наша задача. Зачем нам размазня-поэзия?..

Шестеро молодых сумели сделать журнал интересным, содержательным, и очень скоро читатели, и городские и сельские, полюбили журнал, становились его подписчиками. Саратовские «Известия» печатали рекламные объявления: «Подписывайтесь на журнал «Горнило», «Читайте «Горнило».

Часто в журнале выступал со своими стихами Леонтий Котомка.

Не грусти, расцветут
Наши зори на западе людном,
Вести светлые скоро придут,
Вместе с рокотом масс радостно-бурным.
Не грусти, что бушуют вокруг
Банды хищных врагов оголтелых,
Дорогой и сердечный мой друг,
С нами правда идейных и смелых.

Прозаик Федор Безродный напечатал в «Горниле» «Каторжную повесть о пережитом». В предисловии к ней автор сообщил, что повесть написана на клочках бумаги в одной из камер симферопольской тюрьмы, куда его бросили как революционера; рукопись сохранилась благодаря товарищам, которые переправили ее на волю.

Из города Балашова в журнал стали присылать свои

стихотворения сразу два поэта — Виктор Винокуров и Антон Пришелец. В первую годовщину Великой Октябрьской революции Винокуров опубликовал такие стихи:

Сегодня год,
Как мой народ,
Великий, гордый, мятежный,
Рукой уверенной, железной,
Под грозный стали звон
Ударил в трон.

Часто в журнале выступал В. П. Антонов. Его рассказы «На Волге», «Пережитое» были написаны легко и читались с интересом. Среди авторов «Горнила» были Петр Орешин, Иван Липатов, Григорий Шапиро, Андрей Северный, Иван Шаронов и другие поэты и прозаики.

Федор Панферов вернулся в Вольск. Но он потом часто наезжал в Саратов, приходил в редакцию, приносил стихи и рассказы. Его охотно печатали.

В одном из рассказов — «Хитрая жизнь» — он описал две свадьбы — богачей и бедняков и сделал вывод, что хотя у бедноты все делается проще, зато — от мужицкого сердца, а там, в домах богачей, все построено на деньгах, сделке, и оттого — неискренность.

Несложен сюжет рассказа «Ванька и Витька».

У прачки Агаши был сын Ванька, а у богача — Витька, и было им обоим по восемь лет. Как-то ребята играли, и Ванька нечаянно в кровь разбил Витьке нос. И случился тогда в доме богача переполох. Витьку уложили в кровать, зато Ваньку выдрали. Так была совершена первая несправедливость. Выросли ребята. Ванька нанялся на завод, Витька уехал в город учиться. Не мог этого сделать Ванька — вторая несправедливость. Вернулся Витька инженером — и не стал знаться с другом детства. Но вот пришла революция. Бывшего Ваньку стали величать уважительно Иваном Васильевичем, избрали депутатом, народ доверил ему строить новую жизнь, без богачей. Пришел инженер к новому хозяину завода, рабочему депутату. Справедливость восторжествовала.

В шестом, декабрьском, номере журнала за 1918 год Федор напечатал рассказ «Перед расстрелом». Материа-

лом для рассказа послужили события, которые произошли в Вольске в сентябре 1918 года: белогвардейцам удалось прорвать фронт у Хвалынска, и, устремившись по правому берегу Волги, они захватили Широкий Буерак, Девичьи Горки, а затем вошли в Вольск.

В рассказе «Перед расстрелом» Федор пишет о той чаше страданий, которую пришлось испытать брошенным белобандитами в тюрьму большевикам.

С большой силой написана финальная сцена рассказа:

«Минуты через три наша камера почти опустела, царил тишина, слышно было: в соседних камерах не спит кто-то.

Через стену заговорил:

— Товарищи! Нас много, нас не победят!

— Мы вечность, товарищи! — отвечаю я.

Прилив сил, и в то же время чувствуешь, как что-то ползет сквозь стены чудовищное, злорадное, зверское. «И меня, и меня, — мелькает у каждого в голове, — вот сейчас вернется и возьмет».

— Ну, марш! — командует прапорщик в коридоре.

Двинулись не сразу.

Вдруг как будто один из них очнулся, осознал и крикнул:

— Товарищи! Прощайте!

Его крик подхватили другие — и сильная волна пролетарского «прости» загудела под темными сводами тюрьмы.

Забегали часовые, слышались выстрелы, крик:

— Прощайте!

— Прощайте! — отвечали мы.

В противоположной камере грянул гимн:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Присоединились другая, третья камера, и через несколько секунд новая волна, бьющаяся, рвущаяся на волю, забилась и вырвалась:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Услышали товарищи и тоже подхватили.

Вдруг в углу нашей камеры раздался женский вопль. И мигом песнь слилась с воплем души.

Залп — и все смолкло.

«Эх, разбить бы эти стены!!»

Журнал «Горнило» просуществовал недолго — вышло всего шесть номеров. Произведения молодых его авторов не отличались высоким художественным мастерством — откуда было ему взяться у вчерашних крестьянских и рабочих парней, солдат революции? — но зато в них бурлила жизнь. И пусть не на положенном им месте, вольно расставлены были знаки препинания, пусть иные слова употреблялись своеобразно, не согласуясь со строгими законами литературной речи, — журнал выявил новые, свежие писательские силы Саратовщины, таланты из самой гущи народа. Современными литературоведами журнал «Горнило» почти забыт, если он где и упоминается, то мимоходом, одной-двумя строчками. А ведь каким интересным человеком был редактор журнала Дмитрий Бассолюго, замечательный организатор, ставший впоследствии незаурядным кинорежиссером. Профессиональными поэтами стали Петр Орешин, Леонтий Котомка, Виктор Винокуров, Антон Пришелец.

В свое время мне довелось встретиться с поэтом Антоном Пришельцем.

— Журнал «Горнило» — далекое, но незабываемое прошлое, — с волнением сказал он. — Там я впервые начал печататься: Леонтий Котомка и Дмитрий Бассолюго заметили меня...

И мне стало жаль, что я не сумел отыскать всех шестерых зачинателей журнала, которые летом восемнадцатого года, окутанные махорочным облаком, коллективно сочиняли обращение к читателям:

...Полюби нас черненьких,
Скоро, скоро мы будем яркими,
Словно кровь наших знамен,
И прекрасными, как лик революции,
В мире солнца.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Революционная волна разливалась по всей России. Советская власть утверждалась на местах, преодолевая ожесточенное сопротивление сил контрреволюции — буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества. В Вольске только на очередном уездном съезде Со-

ветов 8 августа 1918 года большевики одержали долгожданную победу.

В исполком были избраны большевики во главе с Петром Рудневым.

— Ну вот, и воздух в городе стал чище! — С этими словами в приподнятом настроении Федор вошел в кабинет только что избранного председателя.

— Не совсем, — ответил Руднев. — В волостях работы еще ого сколько, дорогой Федя! С завтрашнего дня пойдем к крестьянам разъяснять политику нашей партии.

— Я готов!

— В тебе, Федя, я не сомневаюсь.

После тщательного отбора часть коммунистов была послана на места, чтобы там, в волостях, укреплять Советскую власть. Федор любил эти поездки, с радостью замечал приметы нового, писал об этом в газету, осмысливая перелом, совершавшийся в умах крестьян. Особенно поражал его остротой своего ума и находчивостью Иван Игнатьевич Сысуев — председатель сельского Совета в Сукине. Сысуев заводил разговор издалека:

— Ты вот погляди, Федор Иванович: кто мы были допрежь? Голытьба несчастная. Помещик нами туда и сюда вертел, хотел — миловал, хотел — порол. Помещик селами торговал. Возьми наше село: на суку променял, а соседнее — на кобеля. Так с той поры и зовут нас «сукинские» и «кобелевские». Сраму не оберешься. «Ты откеля?» — «Из Сукина». — «Ты чей?» — «Сукинский». Тьфу! Теперь власть наша, воля наша. И порешили мы называться Спасским. Понимай так, что Советская власть нас спасла.

Где бы Федору ни довелось бывать — всякий раз заезжал к Ивану Игнатьевичу Сысуеву. Несколько месяцев прожил он в Спасском, разъезжая отсюда по селам и деревням Вольского уезда. Выступал на митингах, организовывал сбор хлеба государству. Все время вел дневник, и в итоге написал первую небольшую свою повесть о председателе сельсовета — «Сысуевская республика».

Повесть эту Федор послал в Саратов, в общественно-политический журнал «Коммунистический путь», который издавался губернским комитетом партии большевиков. Она была опубликована под псевдонимом Марк Солнцев.

Вернувшись в Вольск из очередной поездке, Федор, по своему обыкновению, первым делом зашел к Петру Рудневу узнать новости. В исполкоме шло заседание.

— ...В Москве черные силы, враги нашего дела совершили злодейское покушение на Владимира Ильича Ленина, — услышал Федор голос Руднева. — Считаю всех коммунистов мобилизованными. Получите в горкоме партии направления на заводы, там проходят собрания...

Как агитатор и пропагандист Федор по несколько раз на день выступал на рабочих собраниях, гневно требовавших красного террора против убийц.

Казалось, сил и энергии у Федора хоть отбавляй, но стоило ему добраться поздним вечером до своей комнатухи, как он падал на жесткую кровать и засыпал мертвым сном. И так изо дня в день.

Тем временем в исполком поступили сведения, что со стороны гор к городу идут белые войска. Немного позднее выяснилось, что это белоказаки из банды Дутова.

Силы оказались неравными. Рабочие отряды с трудом сдерживали натиск белобандитов. Руднев, вызвав Федора, поручил ему эвакуацию всех документов исполкома:

— Немедленно вывези на пристань, погрузи на пароход и отправь в Саратов.

Тревожно было смотреть с палубы парохода на город. Оттуда доносилась стрельба, виднелись вспышки рвущихся орудийных снарядов. Федор не выдержал: передав свои полномочия одному из сотрудников исполкома, сошел с парохода на пристани Баранск, разыскал боевой отряд Евдокима Можарова, который героически защищал Вольск, а теперь готовил план уничтожения белоказачков.

— Возьми меня в отряд, — попросил он командира.

— Добро, возьму. Но нам пока не писанина твоя нужна, а вот это, — и Можаров протянул Федору винтовку. — С оружием в руках будем отстаивать Советскую власть. — Он помолчал, раздумывая о чем-то, а потом добавил: — В разведку тебя пошлю. Ты ведь хорошо знаешь Плетневку, Чернавку...

— Как свои пять пальцев! — поспешил заверить Федор.

— Пальцы знать хорошо, а нам нужно знать силы противника. Так вот, я выделяю тебе двенадцать чело-

век... — Можаров подробнейшим образом разъяснил Федору задачу, после чего представил его разведыводу: — Это ваш командир, его приказ — мой приказ.

Расспросив красногвардейцев, как кого зовут и откуда они, Федор выяснил, что половина из них — рабочие с цементного завода. Это его обрадовало: «С такими можно и в огонь и в воду». Правда, четверо из рабочих впервые взяли в руки винтовку и не умели стрелять.

— Да это просто, — ободрил их Федор и показал, как правильно держать винтовку, как ее заряжать, целиться. — Будьте возле меня.

На рассвете разведчики вышли на дорогу, ведущую в село Плетневка. Федор решил вести отряд самым ближним и самым безопасным, на его взгляд, путем. Ему это удалось. Вскоре разведчики обнаружили на окраине села замаскированную артиллерийскую батарею. Федор приказал разведчикам залечь, а сам пополз к батарее. Возвратившись, сообщил, что белые плохо несут караульную службу.

— Надо, чтобы их пушки заговорили. Тем самым мы дадим сигнал Можарову, а сейчас... — И он показал, кому где следует находиться. — Начнем беглым огнем обстреливать батарею. Пока пушки будут поворачивать в нашу сторону, сделаем перебежку, а потом уйдем в лес. Помните: каждый должен драться за десятерых.

Бойцы рассредоточились. Первым открыл огонь Федор, за ним — остальные. У белых поднялась паника. Расчет Федора оказался правильным: пока белые возились с пушками, чтобы ответить на обстрел, разведчики ушли с того места, откуда вели огонь. Тем временем батарея белых начала бить по «неприятелю».

Вскоре подоспел отряд Можарова. Прорвав с ходу вражескую оборону, он вышел к железнодорожной станции Привольск.

Так Федор Панферов стал разведчиком. За находчивость и сообразительность Можаров перед строем вынес ему и его группе благодарность.

Белоказики были изгнаны из Вольска. Но долго еще город не мог прийти в себя, оплакивая погибших от пыток и расстрелянных борцов за свободу, за победу ленинских идей, за власть Советов.

После разгрома остатков белогвардейщины в Вольске состоялся митинг. Собравшиеся решили послать письмо В. И. Ленину.

«...Москва, товарищу Ленину.

Собравшись на митинге 15 сентября, устроенном в праздник победы над белогвардейцами, мы, рабочие и красноармейцы Вольска, шлем горячий привет нашему дорогому вождю Владимиру Ильичу Ленину и желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы снова руководить нами в борьбе с империализмом.

Гнусная авантюра прислужников капитала не удалась. Наоборот, твоя кровь еще более спаяла нас в одну мощную великую семью. Перед твоими ранами мы клянемся, не щадя своей жизни, бороться до конца. Мы с тобой!»

В последних числах декабря 1918 года Федор сутками не уходил из редакции, вместе со своими товарищами подбирая и подготавливая материалы для праздничного, новогоднего номера газеты.

В новогоднем номере выступили Иван Акимов, поэт Сергей Заревой с большой поэмой «Манифест» и Федор Панферов со стихотворениями «Моя любовь» и «Песнь человека».

В этот период Федор работал очень интенсивно. Почти ни один номер не выходил без его стихов, рассказов, поэм. В годовщину Кровавого воскресенья газета напечатала его поэму, которая так и называлась «9 января 1905 года».

Автор вводит читателя в накаленную атмосферу тех трагических дней, дает картину немыслимо тяжкого труда рабочих при капитализме:

Вон около этого котла умер прадед,
Умер мой дед, мой отец.
Я изнемогаю,
Но хочу жить.
Моему брату оторвали руку, и он послал ее
в подарок
Мои родители в деревню.
Они ждали денег, а он прислал свою руку...

Сильное впечатление оставляет картина расправы с мирной демонстрацией, которая по приказу царя была встречена пулями. Дрогнула земля, на мостовую полилась человеческая кровь...

Погрешности художественной формы искупались экспрессией стиха, казалось, накалена каждая строчка —

гневом, страстью борца, обличителя произвола и беззакония.

Прошло всего две недели, и газета опубликовала еще одну поэму Федора — «Город-спрут».

Иду.

А город спит.

Только спрут дорогами-щупальцами опутал все,
Связал, стянул — и сосет себе...

Поэт показывает нутро города с его фабриками, где из рабочего человека выжимают последние соки. Но рабочий поднимает голову, начинает оказывать сопротивление эксплуататорам, стремится защитить свои права...

Работа в газете поглощала много времени и сил, тем не менее партия то и дело давала Федору ответственные поручения. Как и других партийцев, его посылали в качестве уполномоченного на заготовку хлеба, и, как всегда, ему приходилось выступать с докладами о текущем моменте. Большое внимание он уделял разъяснению опубликованной в центральной прессе новой Программы РКП(б).

В марте 1919 года Федор с группой товарищей-саратовцев отправился в Москву на VIII съезд партии. Ехали долго — восемнадцать дней! — то не хватало топлива для паровоза, то вдруг начинали гореть буксы. Зная, что в Москве туго с харчами, взяли с собой запас хлеба и мясо — коровью тушу.

Москва встретила их неприветливо: привокзальная площадь, не очищенная от снега, вся в ямах и кочках. В воздухе — гарь, трамваи не ходят. Изредка пронесется вагон, и то без подножек, загруженный дровами.

Вот собрались на первое заседание съезда. Молодой большевик Федор Панферов волнуется, жадно слушает, что говорят люди, приехавшие из разных губерний России. Всем хотелось увидеть Владимира Ильича. Сам Федор о том времени пишет в повести «Родное прошлое».

«И вдруг кто-то до крика шепчет:

— Ильич!

И все, кто был в зале, хлынули к окнам.

Легко накинув на плечи пальто, площадь пересекает Владимир Ильич Ленин. Он что-то говорит своему со-

седу, то и дело взмахивая рукой. Сосед слушает его, шагая в ногу, и через очки внимательно смотрит ему в лицо.

Ленин!

Какой он могучий!

Смотришь на него отсюда, из окна Колонного зала, — и кажется: больше Ильича ростом на земле человека нет. У него огромная, с большим лбом голова, широкие, могучие плечи, крупный, уверенный и твердый шаг.

Да, такой вождь сломит любого врага.

Но что ему говорит идущий рядом с ним человек? Возможно, он высказал наши тревожные мысли:

— Не фанатики ли мы, товарищ Ильич? Чем и как будем бить врага? И вот этого, внутреннего: железнодорожный транспорт почти не работает, водный закован во льдах, магазины закрыты, в Москве не достать и осьмушки хлеба, не говоря уже о масле, мясе, сахаре. Фабрики и заводы почти не работают. Жутко становится на душе, товарищ Ильич.

Возможно, это и сказал идущий рядом с Ильичем человек. И Владимир Ильич, резко взмахивая левой рукой, видимо, возражает ему.

...Зал переполнен.

На небольшой сцене видные руководители партии.

Все — и делегаты в зале, и люди на сцене — в напряженной тишине ждут Ленина.

Из-за кулис стремительно к трибуне подходит Ильич.

Да нет, он даже ниже среднего роста. У него только такая огромная голова, со светящимся, как солнце, лбом, небольшая бородка и острые всевидящие глаза. По всему видно — он очень занят государственными делами, каждая минута и даже секунда у него на счету. А мы бурей аплодисментов встретили его и не умолкаем. Он чуточку поморщился, махнул рукой в нашу сторону, как бы говоря: «Хватит, товарищи, не тратьте время попусту». И мы на какой-то миг оборвали аплодисменты. Ильич одобрительно улыбнулся, и делегаты, помимо своей воли послушавшись его, бурей аплодисментов потрясли зал.

Нет, нет!

Я не могу сидеть где-то в задних рядах. Нагнувшись, перебегая вперед, легонько толкаю в плечо делегата, сидящего с краю в первом ряду. Он любезно потеснил-

ся, и я на расстоянии пяти-шести метров вижу за трибуной Ильича.

Он опять передо мной, могучий и мощный. Светится лоб, большие глаза чуть вприщур, но они пронизывают меня и всех нас. Они родные, близкие, как будто всегда и постоянно видимые нами. Говорит он безо всяких выкрутасов, чуть картавя, глухим, басовитым голосом.

Я внимательно слушаю Владимира Ильича, и мне кажется, он высказывает мои мысли. Да, да, вот так думал и я. Но я тут же опровергаю сам себя: да нет. У меня, конечно, было что-то смутное. Но почему же мне кажется: что-то подобное я где-то говорил?

Во время перерыва я расспрашивал делегатов, какое у них впечатление от выступления Ильича.

Все в один голос утверждали: «Наши думы высказал!» — в чем и были глубоко уверены, но вскоре выяснилось, что мы, практические созидатели Советской власти, приблизительно и довольно туманно думали о том же самом, что так ясно высказал Ленин.

Так он народен, наш Владимир Ильич.

А он говорит, косо вскидывая правую руку:

— Крестьянину, который не только у нас, а во всем мире является практиком и реалистом, мы должны дать конкретные примеры в доказательство того, что «коммуния» лучше всего.

Если бы мы могли дать завтра сто тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» (то есть за коммунизм).

Мы знаем хозяйственное, политическое и военное положение нашей страны: поля почти не засеваются, рабочие выпускают зажигалки — в виде танков, пушек и так далее. Транспорт? Восемнадцать дней ехали из Саратова до Москвы — это вместо полутора суток...

Ильич, конечно, все это знает лучше нас, и, однако, он вон о чем:

— Если деревне дать сто тысяч тракторов!

Признаться, мы и не видели трактора. Что это за штука такая? Хоть бы посмотреть! А Ленин — сто тысяч. Раз они произведут такой переворот в умах крестьян, то рабочий класс, безусловно, эту «фантазию» превратит в быль. Не теперь — так завтра, не завтра — так через год-два, но тракторы поползут по крестьянским полям.

А Ильич за другое:

— Электрифицировать страну — эту старую, материально нищую Русь, где землю все еще ковыряют сохой и редко самой «крупной машиной» — двухлемешным плугом.

Временами хочется крикнуть:

«Трудно ведь, Ильич! Страна-то оголена!»

А он свое:

— Бодрость! Больше бодрости: силы народа неиссякаемы. Народ пробудился только ныне. Умейте находить эти силы и направляйте их на использование неисчерпаемых богатств природы.

Владимир Ильич говорит, временами хмурия солнечный лоб, сердится, и мы хмурим лбы, сердимся. А вот он захохотал над наивным заключением противника. И как хохочет! Громко. Раскатисто. Убийственно.

Я, содрогаясь, думаю:

«Ох! Если он так захохочет надо мной... Умру!»

Но Ленин хохочет не над нами, а над такими, как Карл Каутский. Как он его отстегал в своей книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский»!

Нам же Ильич — все свое внимание, все свои думы, мысли, мечты.

— Действуйте, товарищи: история за нас.

Владимир Ильич нас тогда так вдохновил, что мы забыли промерзшую Москву — перед нами предстала вся наша необъятная страна с ее неисчерпаемыми богатствами природы и с исполинскими народными силами».

В новой Программе Коммунистической партии, которую с горячей заинтересованностью обсуждали делегаты съезда, Федор особо отмечал для себя все, связанное с крестьянским вопросом. Среди конкретных задач партии в борьбе за социализм он в своем блокноте поместил: «Постепенное и планомерное вовлечение среднего крестьянства в социалистическое строительство». И с чувством огромного внутреннего удовлетворения проголосовал за резолюцию «Об отношении к среднему крестьянству», принятую по докладу В. И. Ленина о работе в деревне. В этой резолюции съезд предложил проводить политику прочного союза с середняком при сохранении руководящей роли пролетариата. Это означало, что партия требовала от пролетариата опираться на бедноту, крепить союз с середняком и вести борьбу

с кулаком. Линия партии по отношению к крестьянству, как известно, сыграла решающую роль в успешном исходе гражданской войны, в победе социализма в СССР.

Дни, проведенные в Москве на съезде партии, запечатлелись в сердце Федора на всю жизнь. Речь В. И. Ленина открыла ему глаза на многие неясные вопросы, вдохновила на работу во имя блага народа.

Федор возвратился домой в боевом настроении.

1 мая 1919 года была созвана первая Вольская уездная конференция большевиков и избран первый уком, секретарем которого стал Борис Токин. Федора Панферова утвердили редактором уездной газеты «Рабочий и крестьянин», дав ей название в соответствии с задачами партии на данном этапе.

Как хотелось работать! Но лютые враги топтали земли Заволжья, стремясь отрезать хлебную житницу от Москвы и Питера. Коммунисты Вольска на этой же конференции вынесли решение мобилизовать половину коммунистов и комсомольцев на разгром белогвардейских банд, не дававших трудовому населению спокойно жить и работать.

Вскоре в местной газете появилось такое сообщение:

«Рассмотрев протокол ячейки коммунистов-большевиков при Вольском уездном исполкоме о мобилизации служащих, согласно распоряжению укома партии, президиум исполкома поставил: Пименова, Кабанова, Смирнова, Панферова, Пугачева, Арбузова считать мобилизованными с 15 мая, выдав им за две недели вперед из расчета получаемого жалования».

И опять Федор и его товарищи надели солдатские шинели, взяли в руки винтовки. Боевой отряд в сто сабель покинул Вольск утром, держа путь вдоль Волги по направлению к Хвалынску. Путь был неблизкий, и потому ехали неторопливо, берегли силы лошадей.

Стояла весна. Цвели сады. Солнце такое яркое, что кажется — воздух звенел. Над Волгой кружились чайки. Искали гнездовья утки, дикие гуси.

Весна!.. Она стремительно шагала по родной земле. Радостно было смотреть на зеленые поля озимой ржи, дружно всходили и яровые.

— Вот бы теперь поработать всласть, а ты сиди в седле, трясись, — Федор вздохнул, и голубые его глаза потемнели.

Отряд давно уже миновал цементные заводы, в стороне остались Девичьи Горки. На одной из лесных опушек возле реки Избалык сделали привал, дали передохнуть лошадям, а наутро провели разведку и напали на след белобандитов...

Две недели отряд гонялся за беляками, вступал с ними в схватки, уничтожал и преследовал их, а когда наконец очистил район от бандитов, ему разрешили возвратиться в Вольск.

На последнем марше отряд остановился в селе Широкий Буерак: покормить лошадей, да и себя малость привести в порядок.

Бойцы разместились в классах церковно-приходской школы, а лошадей поставили на площади напротив церкви.

Вскоре на высоком берегу Волги зазвучали переливы гармошки:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Это Вася Чернавский. Он уже раздобыл где-то гармонь, и к нему на песню потянулся народ.

На горе-то калина,
Под горою малина...

Вместе со всеми пел и Федор.

Гармонист взял новый аккорд, и чей-то звонкий женский голос задорно вывел:

Шла девица за водой,
За студеной, ключевой...

— Хлебом не корми, а песню дай. Ух как песни любим!

Федор окинул взглядом невысокого мужичка:

— Сам-то, видно, тоже горазд?

— Было время, да сплыло.

— Куда же делось?

— Быльем поросло.

— Прибаутками говоришь.

— Чужая душа — темный лес, — мужичок улыбнулся. — А звать-то меня просто. Ежели по-уличному, то Чижик, ежели по святцам — Максим. У нас, в Широком, больше по-уличному зовут, оно и легче, кличку-то дают по поступкам. Ежели начнем избы считать, что ни изба,

то мужику прозвище. Так уж заведено. Возьмем для примеру Огневых. Горячи они очень, за то и Огневые стали. Аль возьми Барышникова: сроду лошадьми торгует, мастак этого дела, и все знают, кто такой Барышников...

Завязалась непринужденная беседа. Федор расспрашивал, как здесь, в Широком Буераке, живет, теснят ли мужиков богатеи, что делает парторганизация. Среди окруживших Федора крестьян оказался председатель волостного исполкома Иван Панов. Он недавно демобилизовался из армии по ранению и теперь возглавлял тут партийную организацию.

— А в избы-то к вам можно? — поинтересовался Федор.

— Отчего же? Все можно. Начнем с нашей, — предложил Иван Панов.

Любители песен и пляски остались на берегу Волги, а Федор с несколькими мужиками пошел посреди деревенской улицы. Миновав несколько дворов, они остановились возле старенького, но ухоженного дома. Открыв калитку, Панов пропустил Федора впереди себя.

— Отец, принимай гостя.

— Ежели гость, то милости прошу, как говорят, к нашему шалашу. — С крыльца спустился отец Ивана Панова. — А глядеть-то у нас на что? — с горечью сказал он в ответ на просьбу Федора показать, как живет семья. — У нас бедность: ни хаты нормальной, ни лошади нет, а как без нее, без лошади? Срамota, одним словом, петля.

Федор сел на ступеньку крыльца, закурил, принялся расспрашивать о Широком. Присели и мужики, разговорились, вспомнили прошлое. Еще в 1905 году широковцы восстали против царского произвола. Казаки, присланные в село на усмирение, плетками пороли крестьян, главарей арестовали, но не сломили. Когда уехали казаки, оставшиеся на воле мужики выбили окна в арестантке и освободили своих товарищей. Бунтовало село и в 1909 году. Тогда был убит стражник. Много чего повидали широковцы, ссылали их и на каторгу...

Федор с интересом слушал широковцев.

— Я непременно еще загляну к вам.

— Хорошим людям всегда рады, — откликнулся Иван Панов, прощаясь с Федором.

В предутреннюю рань отряд покинул Широкий Буграк. Отдохнувшие за ночь лошади шли бодро, словно чуя, что возвращаются домой. По твердой грунтовой дороге отряд выехал на пригорье, освещенное первыми лучами восходящего солнца.

Федор придержал лошадь, обернулся и взглянул на село, приютившееся у берега Волги. Крытые соломой дома прижались к земле, казались игрушечными.

— Интересные они! — вырвалось у молоденького бойца, ехавшего подле Федора.

— О ком это ты? — спросил его Федор.

— О широковцах. — Молодой боец улыбнулся. — Это ты меня не замечал, а я все время следил за тобой. Смотрю, уж больно смело ты пошел с широковцами. «Всякое может быть», — подумал я, и следом за тобой. На всякий случай пистолет в карман положил.

— На всякий случай? — усмехнулся Федор. — А сам-то чей? Я вроде тебя не видел?

— Зато я тебя видел. Ты к нам на цементный завод приходил. Доклад делал. Ну и здорово же ты причесывал всяких там буржуев!

Так состоялось знакомство Федора с Леонидом Столяровым — рабочим цементного завода.

Потом они часто встречались на собраниях, ходили друг к другу в гости. Бывало, что Леонид укорял Федора:

— Опять забыл про нас, такого уговора не было. Сестренка моя ждет тебя не дождется.

— Загляну непременно, — отвечал Федор.

Жили Столяровы возле цементного завода, на крутом берегу Волги.

— Дядя Федя пришел! — радовалась маленькая Зоя, прыгая на одной ноге. — Дядя Федя пришел!..

— Бог дал тебе племянницу, — приглашая в комнату Федора, шутил Леонид.

— Это добро, если племянница есть, это добро, — повторял Федор. — А я решил сегодня к вам на чаек заглянуть, и сахар не забыл захватить. Первым делом племяннице моей, — он вынимал из пакетика кусочек сахара, протягивал Зое.

Когда Федор принес сахар первый раз, мать Леонида смутилась:

— А мы и вкус его забыли. Самовар я спрятала, теперь больше холодную водицу пьем. А бывало, люби-

ли чаек. Мы, саратовские, все чаехлебы... Водочку по большим праздникам, а чаек каждодневно. — И захлопотала, засуетилась.

Вскоре на столе запел самовар, да так хорошо и приятно, словно он сам был рад, что его вынесли из чулана, тряпкой протерли бока: вот, мол, я какой, не тронь меня, тронешь — обожгу!

Хозяйка нарезала ломтями калач, пухлый и белый. Все чинно уселись вокруг стола. Пить начали торжественно.

— Вот и у нас праздник сегодня, — со значением произнесла хозяйка, откусывая кусочек сахару.

Ну и вкусен же горячий чай! Напились всласть, и песня самовара смолкла. Леонид попросил:

— Почитай нам, Федя.

— Вы у меня первые слушатели... — И Федор начал читать новую свою поэму «Бессмертная коммуна». Эта поэма вскоре была опубликована в газете «Рабочий и крестьянин» за подписью Марк Лемех.

Читал тихо, внятно, как бы и сам прислушиваясь к своему голосу, проверяя каждое произнесенное слово.

Леонид с восхищением смотрел на старшего друга.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отец не торопясь запрягал лошадь, а мать, подавая то хомут, то седелку, между делом обронила:

— Ты уж там, отец, не очень...

Отец на секунду приостановился, косо взглянул на мать, поняв, о чем она говорит, сердито проворчал:

— Рад бы за тридевять земель за ней слетать, да нету ее, нету! А самогон, сама знаешь, в рот не беру, душа не терпит.

Мать сложила руки на груди, поджала губы:

— Нет — и не надо. Лучше конфетку соси.

— «Кон-фет-ку»... — передразнил отец. — Конфетку сама соси. Все горазды указки давать... До седых волос дожил, а все указывают, как дитю малому. Что смотришь? — Он резко повернулся к матери: — Вожжи неси, кнут не забудь положить в телегу.

Когда лошадь была запряжена, отец подергал тяжи, стукнул ногой по колесу и, убедившись, что все исправно, уселся рядом со мной в телегу и кивнул матери:

— Открывай ворота. — А потом дотронулся до моего плеча: — Трогай...

Лошадь лениво шагнула, под колесами захрустели камни. Только мы выехали на улицу, как послышался голос матери:

— Кокурки-то Федярке забыли!

Мы остановились. Мать подошла, положила в телегу узелок:

— Скажете, от маманьки гостинец...

Не часто пекла мать кокурки, только по большим праздникам, иной раз по воскресеньям. Нам, ребятишкам, сдобные, сладкие, мягкие кокурки были в радость. Пеклись они из пресного теста. Свежие, только что из печи, они были для нас самым любимым лакомством. Вот такой материнский подарок мы везли Федору.

Когда отъехали уже на порядочное расстояние от околицы, я оглянулся на наше село и удивился: какое оно большое!

— Смотри, сынок, на нашу Павловку, роднее ее на свете нет, — неожиданно мягко сказал отец. — Сколько раз я уезжал отсюда, где бы ни бывал, а все равно домой тянуло. И ты ее не забывай!

Дорога до Вольска тянулась по увалам, оврагам, спускалась под уклон, а в некоторых местах лошадь еле тащила по песку пустую телегу, а мы шли сзади. Вечером, на закате, остановились у родника. Здесь росли три ветлы. Низко опустив над водой свои развесистые ветви, они словно охраняли родник.

Свернувшись калачиком, я закопался в сено и так крепко уснул, что не почувствовал, как телега снова двинулась в путь.

— Проснись, приехали...

Голос отца разбудил меня, я вскочил, испуганно огляделся. Что это?! Слово тысячи солнц устремили свой свет в котловину, где между меловыми горами приютился увитый гирляндами садов Вольск. Вдали, как лезвие ножа, блеснула вода.

— Папаны, это Волга?

— Она, матушка, — ласково ответил отец.

И вот уже колеса телеги затарахтели по булыжной мостовой. Долго плутали мы по переулкам, наконец отец остановил лошадь:

— Вот тут он живет, Федярка-то наш...

Отец медленно слез с телеги, потер замлевшую поясницу, по-хозяйски вошел в калитку, открыл ворота:

— Трогай, да смотри не задень...

Никогда я так торжественно не въезжал в ворота, как в этот раз. Я ждал, что сейчас навстречу нам выйдет Федя, и прямо отсюда, с телеги, я прыгну ему на плечи.

— Федярки, видно, дома нет, — сказал отец. — Ну ничего, без него пока...

Отец занялся лошадью, а я принялся осматривать двор, заглянул в сарай, конюшню, везде было пусто и тихо. Возле высокого забора росли старые величественные липы. Они вплотную подступали к двухэтажному дому.

После того как отец распряг лошадь и дал ей корм, мы по крутой лестнице поднялись на второй этаж и вошли в комнату, в которой стоял большой диван. Он занимал почти всю комнату, загораживая проход. А сколько тут книг! Они стопками лежали на столе, валялись на кожаном диване. Я начал перелистывать их, искать картинки.

Вечером приехал Федор. Я выбежал во двор. Федор ловко соскочил с лошади, взял меня под мышки, поднял:

— Вот ты какой стал!

Он был в серой солдатской шинели, кожаной фуражке, покрытых пылью сапогах.

— Разве другой одежки-то нет? — оглядывая сына, спросил отец. — Али мобилизовали?

— Все мы, отец, теперь мобилизованы.

— А маманька тебе гостинец прислала, кокурки, — поспешил сообщить я и, не найдя других слов, ухватился за вьющиеся Федины волосы и стал разглядывать его нос, густые брови, голубоватые глаза.

— Кокурки — это хорошо! — засмеялся он. — Веди Мальчика на место, вон в тот сарай, и давай сюда кокурки.

Я отвел лошадь в сарай, нашел в нашей подводе узелок с кокурками и принес его Феде. Кокурки Федя ел с аппетитом.

— Ну и мастерица! — нахваливал он мать. — Придется ей подарить шаль. С кистями, такую большенную, до полу, верно?..

Меня уложили спать, а утром, как ни рано я про-

снулся, Федора дома уже не оказалось. Но вскоре он вернулся и позвал:

— Айда на Волгу!

Мы вышли на главную, усаженную липами улицу Вольска. Я с любопытством разглядывал большие двухэтажные дома. Все здесь мне было в диковинку. А когда вышли на большую площадь, я от изумления раскрыл рот.

— Глянь-ка, какая высокая! — восхитился я, рассматривая церковь. — Сколько в ней наших, павловских церковей уместится?

Меня интересовало решительно все — и идущие по улицам солдаты, и лошади, привязанные к воротам, и красные полотнища с надписью «РСФСР».

— Что это? — спросил я, медленно произнося каждую букву.

Федор разъяснил, что так называется свободная наша Советская Республика, а затем, показывая на двухэтажное белое здание, добавил:

— А там работаю я.

— Клещи делаешь?

Федор расхохотался:

— Какие клещи?

— А какие строгают папанька...

— Нет, чудная твоя голова, не клещи я строгаю, а газету делаю, придешь — покажу...

Волга медленно катила волны, лениво взбегая на отлогий берег и играя мелкими камешками. Долго и очарованно смотрел я на Волгу. Много я слышал о ней. Это отсюда, с ее берегов, пускались в поисках своего счастья, куда-то в неведомый мне Баку, мои родители...

От пристани между тем отчалил пароход, из его трубы валил густой дым, а колеса хлопали по воде.

— Пойдем за пароходом, — предложил Федор.

И мы пошли. Вдруг Федор остановился:

— Вон видишь горы? Называются они Змеевые. А почему?..

И Федор поведал мне легенду:

— Много, много лет назад жил на этой горе огромный злой змей. Никакая сила не могла побороть его. Он уничтожал все живое. Попадалась корова — давай сюда. Попадалась лошадь — давай сюда. Не брезговал и человеком. Ни одной живой души тут не стало, и тогда змей повадился в соседние села. Спасу от него ни-

какого не было. Уцелевшие ушли в лес, стали жить в пещерах. И змей направился туда. Но тут его встретили по-другому, не испугались. Решили мужики соединиться и обернулись могучим богатырем. Кузнецы выковали богатырю меч пудов на десять, наточили его и дали наказ пойти войной на змея. Надел богатырь на себя доспехи и пошел на гору, где после сытной еды грелся на солнце змей. Схватились здесь богатырь со змеем, да так, что вода в реке окрасилась кровью...

Мне стало страшно, а Федор, увлекшись, продолжал живописать смертельную схватку богатыря со змеем и закончил свой рассказ так:

— Разрубил богатырь змея на части, да так и оставил. Змей окаменел сразу... Вот как дело было, братик. Один человек что? А вот когда много людей, они все могут. Так и теперь, поднялись рабочие и крестьяне и царя Николашку — долой! Помещиков, буржуев — долой! Установили свою власть, Советскую. Большое дело, когда есть сила в людях, есть единство.

Федор умолк и как замороженный смотрел и смотрел на Волгу...

На обратном пути Федор, взъерошив мои волосы, сказал весело:

— Босиком-то тебе не с руки, братишка. Надо нам покумекать... Пойдем-ка к вещевому царю, он знает, как это сделать.

Мы свернули в узкий переулочек, зашли во двор. Федор громко позвал:

— Мне Дениса Петровича!

— А, Федор... — Из дверей приземистого дома выскочил огромный детина, перепоясанный патронными лентами. — Чего к нам, по какому-такому делу?

— Братишка вот из деревни приехал, по камням ноги сбил, нет ли чего у тебя на складе подходящего?

— Поищу... Братишка-то твой такой же, как мой младший сын.

— А много ли у тебя еще детей? — поинтересовался Федор.

— Как сказать?... Шестеро... А у вас?

Федор ответил не сразу, подумал, улыбнулся:

— Как мать говорит: бог давал, бог брал, родилось

тринадцать, живых пять — три брата, две сестры... Так подберешь какую-нибудь обувку братишке?

— Поищу и принесу.

Мы ушли домой, а вечером Денис Петрович принес ботинки.

Федя посмотрел на стоптанные каблуки, проворчал:

— Хуже не нашел?

— Новых нема, но тут подметка спиртовая, за лето не износит, здоровая, первый сорт.

Потом Федор принес откуда-то серую рубашку с белыми пуговицами, штаны. И когда я все это надел на себя, повертел меня и улыбнулся:

— Совсем другой коленкор. Такого не срамно и с собой взять.

Он взял меня за руку и повел в редакцию. Прошло несколько дней, и я стал своим и в редакции газеты, и в уюме. Я любил рассматривать картинки в журналах. Но особенно интересно мне было в типографии. Человек — его называли наборщиком — быстро хватал металлические буквы-букашки, укладывал их в ряд, составлял слова. Часто сюда заходил Федор, передавал наборщику листы бумаги, исписанные четким почерком. Говорили здесь мало. Все были заняты, спешили, и только поздно вечером наступало относительное затишье: наборщики уходили, начинали печатать газету. Самый первый экземпляр брал Федор. Тут же, не отходя от машины, он прочитывал полосу за полосой, а когда заканчивал, отдавал команду:

— Давай, ребята, газету давай!

В день выпуска газеты мы с Федей домой возвращались поздно, и отец ворчал:

— Не захотел клещи тесать, так нате, ночью глаз не смыкает. На сколько при такой работе глаз хватит?

Федор клал перед отцом пахнущую свежей краской газету.

— Газета глаза не портит, а открывает. Давай прикинем, сколько человек ее завтра прочитают? Много... Узнают правду. А ты — глаза! Для них есть очки! Вот так, отец. Ты туза вольского, Минькова, знал?

— Слыхал, — тихо отозвался отец. — Мироед, одним словом, как в Павловке Мунины али Цыпленковы.

Федор откашлялся:

— Вот этот Миньков — крупная голова был, ворочал делами в Вольске... Да только себе на пользу и таким тузам денежным, как он сам... А теперь сгинул он. И для народа нам надо жизнь налаживать, а нам мешают последыши Минькова, нет-нет да хвост поднимают, норовят укусить, а при первой возможности просто удушить, в Волге утопить.

Отец засмеялся:

— А вы не поддавайтесь... Взяли власть, держите обеими руками!

— Не поддаемся, отец. Что народ нам доверил, не отдадим, — заверил Федор.

Иногда они спорили. Отец подзадоривал Федора.

— Проще простого землю мужику дать, — говорил он. — На, держи ее, а пахать чем? Засевать чем? У бедняков ни лошади, ни семян. Тебе ли говорить, чай, и сам ты клопов кормил в избах Лопуховки, Сукина, а возьми Колмантай? Слепота их мает, глаза не могут продрать. Хворь напала.

— Трахома, — уточнил Федор.

— Она самая. А то есть еще куриная слепота. Чуть стемнеет, ни крошки человек не видит, хоть в зенки ему коли. Так-то вот, сынок. Власть взяли, одним словом, сели на тарантас, а теперь им управлять надо. Сделать лучше, чем при Николашке. А пока... Базары жиденские, народишко пустой, ни вару, ни товару... На Волге мельницы замерли. Ай хлеба нет? — отец в упор посмотрел на Федора.

Федор прошелся по комнате взад-вперед, остановился у окна, затем резко повернулся, ответил:

— У нас хлеб есть. А вот в Питере и Москве рабочие голодают, дети мрут, пухнут от голода женщины. Туда хлеб спешим отправить: Волга-то стала судоходной. Всех рабочих с мельницы переключили на погрузку зерна.

Отец двумя пальцами потеревил бороду, словно в ней застряла соломка.

— Оно конечно, верно, хуже мужика живет рабочий класс. Ему помочь надо. Помнишь, как у Нобеля вышвырнули одного с промысла, мастера не уважил, а остальные, как грачи, налетели: один за всех, все за одного. Солидарность, значит. Мужик не таков. Каждый в свою печурку лезет, было бы самому тепло и сытно, а сосед пусть с голоду подыхает...

— Знаю, — перебил Федор. — Помнишь, как вы, три брата Панферовых, сад, отцово наследство, делили? Из-за одной яблони готовы были друг другу головы поразбивать. Знаю! Но вот почему такое только в деревне бывает, ты, отец, не задумывался?

— Ни к чему мне это, — уклончиво ответил отец. — Зачем ковырять нас, Панферовых? Ни к чему это.

— А я тебе скажу, к чему! — горячился Федор.

— Скажи!

— Бедность виновата. За клочок земли вы дрались. Народу много, а земли мало. Вот в этом-то и все дело. Бедность, ясно?

— Так-то оно так, — согласился отец, — а все же и теперь пока не вижу просвета.

— Не сразу, но просвет будет, непременно! — уверил Федор. — Ленин вот что сказал...

И начал рассказывать о Москве, о VIII съезде большевистской партии, о Владимире Ильиче Ленине и о его речи по крестьянскому вопросу, об отношении к середняку. Говорил горячо, убедительно, с мечтой о будущем.

— Видно, Ленин знает нас, мужиков, — в раздумье произнес отец, когда Федор закончил свой рассказ. — Только этот... как ты сказал?

— Трактор, — напомнил Федор.

— Вот-вот, — медленно произнес отец. — Нам, мужикам, трактор этот ни к чему... Крестьянину лошадь куда спорей, чем машина... Машина может все попортить. А лошадка всегда выручит.

— Лошадка! — Федор рассердился. — Не то, не то говоришь, отец. Не затем рабочие и крестьяне взяли власть, чтобы надеяться только на лошадку. Возьми опять ту же Павловку. Ты жал серпом, а Гусевы — косилкой. Почему так, ты задумывался?

— Дело ясное, — отец развел руками. — На моих загонах жнейке места нет, а у Гусевых разгон на две версты. Там, точно, машина спорей.

Федор чуть не подпрыгнул от радости, что сумел найти дорожку к сердцу отца, раскатисто засмеялся.

— Твои загончики-то мы соединим в один, тогда и машина понадобится. Ленин так сказал: если мы мужику дадим сто тысяч тракторов, то он непременно будет за коммунию. Тогда и ты поймешь, отец, что такое машина и что такое лошадь.

— Слышал, будто он наш, волжский? — спросил отец немного погодя.

— Кто?

— Ленин.

— Из Симбирска.

— Хорошо, если оттуда. Тогда он нас, мужиков, знает. А лошадка для нас все-таки спорее... — убежденно заключил отец.

Через несколько дней он стал собираться в Павловку, а меня решил оставить погостить у Федора.

Работа в редакции газеты «Рабочий и крестьянин» начиналась часов в двенадцать дня и заканчивалась в двенадцать ночи.

Коллектив газетчиков стремился идти в ногу с жизнью Вольска и уезда, и, как во всяком молодом коллективе, здесь наряду с успехами не обходилось и без промахов. О своих недостатках работники газеты знали, а главная трудность заключалась в том, что не было опытных людей, не на кого было опереться. У Федора возникла идея созвать вольских журналистов, посоветоваться с ними, как лучше делать газету. Он поделился своими мыслями с секретарем укома партии Борисом Токиным, заручился его поддержкой, и газета напечатала такое объявление:

«Вольский комитет РКП (большевиков) сегодня в 6 часов вечера в здании клуба коммунистов назначает собрание советских журналистов. На собрание приглашаются Кузнецов, Панферов, Токин Б., Карев, Сутырин Н., Глазков, Грязнов, Селявко, Доробяльский».

Федор немного волновался: а вдруг никто не придет? Но тревога была напрасной. Пришли почти все. Открыл совещание Токин.

— Есть у нас разные союзы, — сказал он, — а вот нет Союза советских журналистов, давайте организуем его, а руководить им будет редактор газеты Федор Панферов...

Так в Вольске был организован Союз советских журналистов. Члены его стали часто выступать в газете со статьями, стихами, рассказами, печатали заметки о жизни рабочих и крестьян. В газете появились рубрики «Рабочий», «Наши письма», молодежная и женская страницы.

Но и это не удовлетворяло Федора, он настойчиво искал новые формы связи с читателями, особенно с крестьянами. Как участник VIII съезда партии большевиков, Федор понимал масштабность задач, поставленных перед коммунистами, в его сердце и память врезались слова Ленина о союзе рабочего класса с крестьянством. Ведь не случайно вольская газета стала именоваться «Рабочий и крестьянин». Но как провести в жизнь идеи Ленина, решения партии, донести их до широких масс трудящихся? С какого конца взяться за дело? Не было примера, опыта, ведь они, молодые, торили новую дорогу, и никто не мог с уверенностью сказать самому себе, будет ли доволен их работой Ленин. Федор частенько ворчал:

— Тычемся, словно слепые котята. Не доходим мы до души читателей, честное слово, не доходим. Мелко плаваем.

— Зачем так? — возражала хрупкая на вид, но упорная по характеру секретарь редакции Любовь Кашева. — У нас будет свой читатель, непременно!

— Ой ли? — сомневался Федор.

— Честное слово... — И Люба, патриот своей редакции, принималась доказывать, что газета завоевывает читателя. — Давай посмотрим газету, разберем, так сказать, по косточкам, — горячилась она. — Нет, Федя, бьем мы не в бровь, а в глаз... Что у нас на первой полосе? Вести с фронта. Интересно? Безусловно! Читатель узнает, что происходит на Западном, Южном и Северном фронтах, и особенно Восточном, ведь он у нас под боком. А статья по крестьянскому вопросу? Тут же все, от первого до последнего слова, в духе решений восьмого съезда... А призыв, послушай-ка еще раз, как звучит! — И Люба звенящим от волнения голосом начала читать: — «Рабочий и крестьянин! Республике угрожает опасность. Ты должен отбить врага, пролетариат напряг все силы. Рабочие и крестьяне! Нас хотят лишить всех благ нашей победы. Все на борьбу! С винтовкой в руках, с верой в социалистическую победу... Сплотимся, чтобы победить врага!».

Федор и сам назубок знал очередной номер газеты, а Люба все читала и читала, торопясь, скороговоркой:

— «В воскресенье состоится футбольный матч между сборной командой Вольского спортивного общества и

футбольной командой цементного завода. Вход публики бесплатный».

«Комитет РКСМ Вольской организации объявляет, что в воскресенье в 7 часов вечера назначается общее собрание коммунистической молодежи. На собрании будут присутствовать члены партии большевиков...» — Люба обернулась к своему редактору: — И тебе, Федя, придется на этом собрании быть. А разве это не важно? «Отдел городского снабжения доводит до сведения, что начинается раздача сахара в следующих пунктах...» Наша газета, — победно объявила Люба, — информатор о всех событиях!

Действительно, из номера в номер газета писала о жизни города, и в это сложное время каждый день нес на ее страницы свое горячее дыхание.

Оголтелые деникинцы зверски расстреливают рабочих в Харькове и Екатеринославе. Все силы фронту!

На фабриках, железных дорогах кипит работа, партия пролетариата готовится к отпору белых банд. Рабочие и крестьяне — к борьбе.

Газета помещала много разнообразной информации.

— Товарищ редактор, прошу напечатать! — донимал Федора заведующий одним из отделов исполкома Волощенко.

— Дай почитаю, — просил Федор.

— Маленькое, но очень необходимое, важное государственное объявление, первое в истории.

— Если первое, то, наверное, интересно?

— Очень даже... Слушайте: «Отдел управления исполкома извещает все советские учреждения, а также граждан, что старая печать исполнительного комитета Вольского уезда заменена новой — с гербом РСФСР».

— Молодец, Волощенко! — воскликнул Федор. — Пусть люди почитают: «РСФСР». Молодец!

Люба была права. Раскрывая газету, люди спешили прочитать печатавшиеся в каждом номере сводки с фронтов. Прежде чем отдать их в печать, редактор изучал карту: вражеское кольцо вокруг Советской России сжималось. И он крупно писал на бумаге: «Рабочий! Будет Колчак — не будет хлеба. Что тебе нужнее? Крестьянин! Колчак отберет землю у тебя, раздаст ее помещикам, попу. Если тебе выгодно — иди за Колчаком».

Вот Люба Кашева подает очередную сводку боев. Федор читает, и выражение его лица меняется: был сосредоточен, суров, а теперь улыбается.

— Ишь, высадить хотели десант на восточный берег Чудского озера, но им дали прикурить... Где сводка с Восточного фронта?

— Не получена еще, — смущенно отвечает Люба.

— Очень жаль.

— А эту сводку будете читать? — спрашивает она.

— Какую?

— О поступлении сыпно-тифозных больных в заразные бараки города Вольска.

Федор читает про себя, брови его сдвигаются, густые волосы падают на лоб.

— Ко всему прочему эти наши несчастные «попутчики»... Как с этим злом бороться?..

— Сначала надо победить Колчака, а тогда и тиф победим, — отвечает она. — А пока в заразных бараках лежат сто девяносто три больных. Большую часть их подбирают на железнодорожных станциях и пристанях. Я интересовалась, кто они.

— И что же?

— Питерцы, москвичи...

Число больных в сыпно-тифозных бараках города с каждым днем увеличивалось. Медицинский персонал делал все от него зависящее, чтобы приглушить пожар эпидемии, но это было не так просто: не было медикаментов, не было мыла. Не покидая своих боевых постов, погибли от тифа врачи Лев Садовский, Василий Пакурин, Николай Михайлов, Валентина Куприянова, А. Богданов и санитар Андрей Ханин.

Несколько газетных строк оповестили о героической борьбе и гибели медиков.

«Красные войска наступают на всех фронтах, очистили Украину, Дон, Крым и ведут упорную борьбу с империалистами Вильсоном и Клемансо и К°, которые двинули на них войска во главе с монархистом Колчаком, чтобы затушить пожар революции, — гласило новое сообщение. — Еще несколько ударов по дубовым башкам белогвардейцев, колчаковцев и К° и прочей сволочи, и перед нами откроется светлая жизнь».

Люба положила на стол редактора очередной призыв.

«Всякий дезертир — враг революции, враг рабочих и

крестьян! Слушай, дезертир! С 26 июня по 2 июля объявлена неделя дезертира. Все дезертиры, добровольно явившиеся в течение указанных семи дней, будут отправлены в г. Саратов на общих основаниях как красноармейцы. Лица же, не явившиеся в течение этих семи дней, будут вылавливаться и наказываться по всей строгости закона военного времени».

— Тут комар носа не подточит, — одобрил этот текст Федор.

На страницах газеты систематически выступали партийные и советские руководители города. Федор сам часто выезжал на места, посылал и своих сотрудников.

— Оперативность — наша основа, — учил Федор работников редакции.

В очередном номере было напечатано:

«Ко всем коммунистическим ячейкам, всем волостным и сельским Советам.

Всем известно, что большая часть директив выходит на основании тех материалов, которые даются с мест. В настоящий момент изыскиваются пути подхода к крестьянству, и его можно найти только посылкой местного материала от вас — крестьян.

Посылайте заметки, сведения о крестьянском житье-бытье.

Редактор *Ф. Панферов*».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Центральные газеты сообщили, что Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин во главе агитационно-инструкторского поезда «Октябрьская революция», созданного по инициативе В. И. Ленина, совершает поездку по важнейшим фронтам и прифронтовым районам страны. Вагоны были оклеены лозунгами и плакатами. Здесь были вагон-кино, вагон — книжный магазин, вагон — бюро информации. Здесь же, в походных условиях, выпускалась газета «К победе». Вместе с М. И. Калинин в этой поездке участвовали представители народных комиссариатов.

На больших остановках Калинин выступал перед рабочими и крестьянами, беседовал с ними, разъяснял, что такое Советская власть, чьим интересам она слу-

жит, что защищает. Федор Панферов внимательно читал выступления Калинина, делал для себя выписки.

— Жаль, — сказал он как-то, — что наша газета мала, а надо бы все речи Калинина перепечатать. Смотрите, как Калинин ясно и доходчиво говорит: «Я являюсь Председателем Центрального Исполнительного Комитета, того органа, который управляет всей Россией. При избрании меня на этот ответственный пост руководствовались следующими мотивами. Так как власть находится в руках крестьян и рабочих, то и решили, что председателем должен быть или крестьянин, или рабочий. Я сам являюсь крестьянином Тверской губернии и хозяйство веду до сих пор и вместе с тем, как все крестьяне наших северных губерний, провожу большую часть времени на заводе или фабрике, потому что земли у нас сравнительно мало и хозяйство не вполне оправдывает нужды семьи».

А вот как здорово: «Нам говорили, что мы не умеем управлять, что надо еще учиться; на это товарищ Ленин совершенно справедливо сказал: когда же учиться? Можно было бы подождать сорок, пятьдесят лет, когда крестьяне приучились бы к власти, но ведь их бы не стали учить». И дальше: «Первое время у нас, конечно, было много ошибок — и ребенок, когда начинает ходить, он часто падает и разбивает нос».

Федор буквально зачитывался выступлениями Михаила Ивановича Калинина. Он говорил о них в редакции, в уюме, использовал в своих беседах с крестьянами и неизменно наказывал секретарю редакции Любе Кашевой:

— Вот эти выдержки из речей Калинина верстай на самом видном месте. Слов тут мало, а мысли — океан.

Кто-то уже видел Калинина на митинге в Аткарске, кто-то слышал его речь в Саратове, а теперь поступили сведения о том, что Калинин из Саратова на пароходе «Октябрьская революция» направился вверх по Волге, намереваясь посетить Вольск, Хвалынский, Балаково.

И вот 24 июля 1919 года, ярким солнечным днем, украшенный лозунгами, транспарантами, пестрыми плакатами, колесный пароход «Октябрьская революция» пришвартовался к пристани Вольск.

Только Михаил Иванович Калинин вышел из каюты, к нему подошли председатель исполкома Петр Руднев, военком Андрей Моторин, секретарь укома Борис Токин

и редактор газеты Федор Панферов. Встречая их, Михаил Иванович неторопливо снял очки, протер стекла белым платком с синей каемкой, так же медленно надел их и лишь после этого, дав собравшимся успокоиться, щуря левый глаз, оглядел каждого.

— Да вы, как я посмотрю, богатыри, — неожиданно громко произнес он. — Широкоплечие, настоящие волжане, потомки Пугачева и Разина. Завидую, честное слово, завидую...

— Ошибаетесь, Михаил Иванович, — неуверенно возразил Руднев.

Калинин потербил пальцами бородку, засмеялся:

— Как ошибаюсь? Разве не волгари? А я-то думал, земляки... Я ведь тоже волгарь, только тверской. Тогда кто же вы?

— Можно сказать, я москвич, — пояснил Петр Руднев. — С завода «Гужон». С того самого, где, говорят, живут, как Гужон, только труба пониже да дым поуже. Вот эти самые рабочие в прошлом году нас с Андреем Моториным прислали сюда за хлебом...

— Хлеб привезли? — спросил Калинин.

— Как положено. Хлеб доставили на место, эшелон, можно сказать, богатство. Но усидеть в Москве не могли, возвратились, решили помочь вольским большевикам. Ведь на весь Вольский уезд большевиков десятка полтора всего и было, а тут еще меньшевики свои собрания проводят, разговоров много, в то же время эсеровские остатки не моргают. За прошлый год два раза город брали белые офицеры. Теперь в Вольском уезде около двухсот коммунистов — сила.

— Вы очень правильно поступили. — Калинин положил руку на плечо Руднева. — Очень даже правильно. А на заводе кем работал?

— Токарем.

— Ишь ты, токарь! По глазам видно, что токарь, как и я.

Калинин засмеялся громко и заразительно, мелкие морщинки собрались возле его глаз.

Калинину подали пальто — из дешевого серого сукна, старинного покроя, черный картуз с маленьким блестящим козырьком. Когда Калинин оделся, то стал походить на крестьянина. Федору показалось, что этого человека он встречал где-то на базарах, в волостных селах или на крестьянских сходках. Весь он складный, креп-

кий на пожатие руки, а лицо покрыто загаром. «Солнце любит», — заключил Федор.

Калинин и его спутники сошли на берег. Михаилу Ивановичу, видно, нравился этот волжский город, его посаженные липами улочки.

— Наверное, пчел у вас много? — он обернулся к Рудневу.

Не поняв, что скрывается за вопросом, Руднев с недоумением взглянул на него:

— А что?

Калинин с улыбкой рукою показал на липы:

— Самый лучший взток с них бывает. Медок душистый, а вкус особый, хотя и липовый! — пошутил он.

Взяв под руку Руднева, Калинин сказал, что давно мечтал побывать в городах Саратовщины, но все как-то не получалось.

— Помню, в детстве лучшим подарком были калачи из Саратова. Ох какие вкусные! Саратовский калач славится, пшеничка тут отменная, помол хорош...

Федор шел рядом и слушал. Нет, Калинин не тот, каким в начале встречи представил его себе Федор. Калинин был прост. Ни одной громкой фразы, все ясно и доступно. «Его мудрость в простоте», — решил Федор, и вдруг до его слуха донесся разговор двух крестьян.

— Жидковат. Для нашей матушки-России нужен покрепче, — заметил один.

— Не в том дело, — возразил другой. — Не силой, а умением крепок человек. Вожжу надо правильно тянуть. Ты слышал, что он калякает? Нет?.. Оно и видно, что не слышал. А тут, — и он потряс газетой «Беднота», — тут все по полочкам разложено. Одним словом, мужик он нашенский.

На Советской площади М. И. Калинин выступил перед трудящимися с большой речью.

После отъезда М. И. Калинина исполком заседал всю ночь напролет. Обсуждали, как быстрее и без потерь убрать урожай, сколько людей послать в волости.

— От профсоюза цементников кто тут? — спросил Руднев. — Сколько сумеете дать народа?

— Примерно тысячу.

— Добро. Кожевники?

— Пятьсот.

— Тоже неплохо.

— Женотдел дает тысячу, — подала голос Лебедева-Репина.

— Ишь, женщины хотят опередить кожевников, — подчеркнув красным карандашом цифру кожевников, произнес Руднев. — А запевала РКСМ как думает?

Леонид Столяров поднялся, смущенно ответил:

— В городе осталось лишь десятка два молодых ребят. А как вам известно, за последние два месяца нами на Восточный и Южный фронты отправлено шесть добровольческих отрядов. Мы решили уездком закрыть на замок и ехать на уборку урожая.

Руднев молча кивнул: действительно, в городе не осталось комсомольцев.

Федор Панферов внимательно следил за ходом разговоров и споров, записывал отдельные реплики: готовил в номер информацию об этом совещании — боевую, призывную, с высказываниями Михаила Ивановича Калинина.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Хлеб уродился на диво. Успеть бы его убрать! Кто не умел держать в руках серп — того научили, кто не косил — стал косить, даже девушки-горожанки ловко стали запрягать лошадей — возили на гумна снопы. Две недели провел на уборке урожая Федор Панферов. Затем поехал по волостям, а возвратившись в Вольск, направился прямо в уком партии.

— Ну что, Борис, небось засиделся тут? — пошутил он, переступив порог.

— Да нет, и тут полно работы, — устало откликнулся Борис Токин. — Вот только что ходил в новую организацию.

— В какую же?

— В Вольске открыт подотдел защиты голодающих детей.

— Это хорошо, — заметил Федор. — Детям в красном Питере и красной Москве живетсЯ тяжело. Надо помочь обязательно!

— И еще новость: у одного видного работника найдена бомба, офицерские гимнастерки с погонами и деньги, — сообщил Токин. — Все было зарыто, на всякий случай.

— Мы думаем, как убраться хлеб, а этот сатана готовит нам нож в спину! — взорвался Федор.

— А ты Наркозова знаешь? — спросил Токин. — Видно, нет. И я, к сожалению, не знаю, а надо знать. И Орлова знать надо. Наркозов ставит пьесу «Соколы и ворон», а Орлов — «Сатурн». Понял, куда гнут? Где же наша революция? — Токин испытующе взглянул на Федора. — Ждем от тебя...

Федор провел ладонью по загорелому лицу.

— Есть у меня начатая пьеса «Дети земли». Два акта написаны, а на третий времени нет, — с горечью сказал он. — Всего-то и нужно несколько ночей, да как их выкроить? Нет, Борис, пока мне не до пьесы. В город приехал я всего на один день, а утром опять отправлюсь к мужикам... Наше место на селе. Каждый пуд хлеба — победа над врагами Советов. Кулак как говорит? «Лучше в поле сгною, чем дам хлеб Советам». На ура кулака не возьмешь. Хитрый он, каналья... Затаился, ждет не дождется перемены власти. В деревне сейчас самая жаркая пора. Крестьянину необходимо зерно молотить, засеять озимые, убирать просо, а рук рабочих не хватает.

— Мы же послали! — перебил Федора Токин.

— Мало, мало... Еще надо провести мобилизацию. Бывшие гимназисты гуляют на волжском бульваре, распевают романсы... А нам бы поспеть хлеб обмолотить до холодов, чтобы ни зерна не пропало. И пока Волга не скована льдом, отправить этот хлеб питерским и московским рабочим.

— В городе и уезде более десяти тысяч беженцев. Даже если предположить, что лишь одна пятая из них трудоспособна, и то это две тысячи рабочих рук. Находка! Сегодня же предложим Рудневу собрать исполком и вынести решение о дополнительной мобилизации людей на уборку урожая. А ты, Федя, строчи на эту тему большую статью.

Вернувшись к себе в редакцию, Федор увидел Любу.

— Новость, Федя!

— Какая?

— Письмо Владимира Ильича Ленина, переданное по телеграфу!

— Давай скорее! — обрадовался Федор.

Люба подала телеграмму. Федор начал читать ее вслух:

— «Товарищи! Красные войска освободили от Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири».

Федор подошел к висевшей на стене карте, окинул взглядом Урал, Сибирь, обернулся к Любе:

— Эту радость набери крупным шрифтом и заверстай на самом видном месте!

Он сел за стол, положил перед собой лист бумаги, подумал немного, и рука его быстро вывела заголовок: «Где взять силы?». Писалось легко. Слова будто сами шли: «А чтобы дело шло еще лучше, необходимо уезд разбить на несколько районов и в каждом районе поставить по ответственному работнику. Таким образом, можно сократить число бесконечных продовольственных комиссий и улучшить ход работы».

На рассвете Федор уезжал в уезд. Возчик взглянул на него, натянул вожжи и, тронув лошадей, сказал:

— Мандатов можешь мне не показывать. И так тебя насквозь знаю, чей ты и отколе... Одним словом, ты сын известного клещевника из Павловки. Первейшей руки мастер, клещи делает отменные... Слышал и о тебе. Охоч ты до мужичьих басен и прибауток, любишь погулять на свадьбах, бываешь на похоронах. Все знаю о тебе...

В Большой Чернавке Федор попросил остановить лошадь, попрощался с возчиком — и напрямик в Народный дом: там должен был состояться сход. На повестке дня один вопрос — хлеб.

— Я вас очень хорошо понимаю, хлеб для мужика — все, без хлеба мужик гол и бос, — начал свое выступление Федор. — Но вот послушайте, что пишут вам питерские рабочие: «К вам, крестьяне производящих губерний, к тебе, крестьянин Вольского уезда, вызывают защитники красного Петрограда. Ты должен напрячь все силы для того, чтобы выполнить свой долг перед голодающими рабочими».

Истинно в поте лица добываешь ты хлеб свой, каждый фунт хлеба стоит тяжелых трудов и немалых забот. И все же, крестьянин, что твои жертвы в сравнении с теми, что пережили, перестрадали и перестрадают рабочие и крестьяне северных губерний и красного Питера. Ждем и надеемся на твою братскую помощь!» — Последнюю фразу: «Ждем и надеемся на твою братскую

помощь!» — Федор выделил: произнес весомо, внушительно. — На том и речь моя кончена, — заключил он и после недолгой паузы добавил: — Революции нужен хлеб. Кто прячет излишки хлеба — тот убийца голодных рабочих, тот палач революции, тот пособник помещиков и генералов! Рабочие остались без хлеба! Не скрывайте хлеб, не отдавайте его спекулянтам. Знайте и помните — судьба рабочих и крестьян неразрывно связана, гибель одних повлечет за собой гибель других. Нужен хлеб не менее как по десять пудов с десятины!

Мужики загомонили, словно растревоженный улей, послышались резкие выкрики:

— Хватит драть с нас... Хватит!

— Откеля приехал, туда и поезжай!..

Председатель, лет сорока пяти, с густой бородой, орлиным носом, рубанул рукой воздух:

— Думаю я, мужики, десять пудов с десятины вовсе не так много... По шесть мы уже отвезли, ноне соберем еще по четыре, а завтра по холодку — на берег Волги. Не можем мы допустить, чтобы голодали дети и жены красного Питера, не можем быть мы паразитами. Не от хорошей жизни прислали нам письмо рабочие...

Более двух часов длился сход крестьян села Большая Чернавка. Несколько раз пришлось брать слово Федору, опять и опять доказывать, убеждать, разъяснять, почему нужен стране хлеб. И как же был он рад, когда упорство крестьян было сломлено доводами разума и сердца: нелегко мужику оторвать кусок от себя, однако же понял — он помогает брату-рабочему, который трудится и на него, мужика, крепко надеется на его помощь.

Вечером при свете коптилки Федор долго сидел с пером в руке: «В нашей газете уже не раз писалось о том, что необходимо напрячь все силы, дабы выкачать излишек хлеба и, пока свободен водный путь, отправить его в центр для голодающих борцов, необходимо устранить те недочеты, которые были у нас прошлый год, и никакими причинами, никакими доводами их оправдывать нельзя. Не нужно забывать, что мы — коммунисты и для нас главное — факты. Фактов так много, и все они говорят об одном, что многие из нас, сытых, совершенно

забыли о том, что там, в центре, рука голода душит детишек, женщин, рабочих, что от голода больше всего страдает рабочий, что хлеб является первой силой как на фронте, так и в красных городах. Это нужно не только помнить каждому честному республиканцу, но и положить все силы здесь у нас в хлебородной житнице на то, чтобы как можно скорее организовать, отправить излишки хлеба в красные голодающие города.

Необходимо удвоить силы в деревне, в глухих уголках пробудить в крестьянине человечность, а это сделать можно, это уж не столь невыполнимая задача, для этого следует подойти ближе к крестьянству, а не быть оторванным от него.

Дружной коммунистической семьей выполним эту задачу, снабдим наших товарищей как на фронте, так и в красных городах хлебом».

В Вольск Федор возвратился, сопровождая большой обоз с хлебом. На первой подводе развевался красный флаг.

На душе у Федора было радостно: одержана еще одна победа.

Сдав хлеб на ссыпной пункт, Федор сразу побежал в редакцию, торопливо написал текст двух объявлений:

«Отдел общей пропаганды при Вольском комитете РКП предлагает всем коммунистическим ячейкам прислать на делегатское собрание женщин, имеющее быть в здании клуба коммунистов в 6 часов вечера 31-го августа. Каждая ячейка обязана прислать двух представителей.

Зав. общим отделом пропаганды
Ф. Панферов».

«Всем коммунистическим ячейкам г. Вольска 7 сентября назначается День советской пропаганды. Общий отдел пропаганды при Вольском комитете РКП предлагает президиумам коммунистических ячеек провести учет сил, как-то:

1. Есть ли декламатор, певец, рассказчик.
2. Возможно ли устроить концертное отделение, спектакль, хор.

Об учете дать сведения в отдел общей пропаганды

не позднее 1 сентября. Принять все меры по организации Дня советской пропаганды.

Зав. общим отделом пропаганды
Ф. Панферов».

— Гляжу на тебя, Федя, сухарь сухарем!

Федор с удивлением вскинул глаза на Бориса Токина:

— Сухарь?..

— А как же?.. Вспомни, когда ты последний раз песни пел?

Федор озорно усмехнулся:

— Давай споем, коли не шутишь... — И, расправив плечи, завел:

Есть на Волге село,
На крутом берегу,
Там отец мой живет
И родная мне мать...

Борис тихонько вторил ему. Но вот отзвенели, растаяли в воздухе последние слова песни, Федор громко рассмеялся, словно дивясь этой мальчишеской выходке, и, спохватившись, заторопился: его ждали на первой женской конференции.

И вот уже Федор и Борис Токин за столом президиума. Федор внимательно слушал красных делегатов. Не тогда ли сложился у него сюжет рассказа «Слепая»?.. После конференции он почти бегом вернулся домой, на ходу сбросил шинель, кожаную фуражку и метнулся в свою комнатушку.

— Федя, а ужинать? — спросила сестра.

— Потом...

— У нас нынче картошка в мундире. Ох и вкусна!

— Потом...

— Нет, не потом, а сейчас! — Мария пошла за Федором, но тот успел накинуть на дверь крючок.

Часа через два он крикнул:

— Маруся, где твоя картошка?

— Под подушкой.

Федор вышел возбужденный, покрасневшийся. Поинтересовался:

— Зачем она там?

— Чтобы не остыла.

Федор жадно проглотил несколько картофелин.

— Слушай, сестра, я написал новый рассказ. А знаешь, как назвал?

— Если не секрет, скажи, — улыбнулась Мария.

Федор произнес нараспев:

— «Сле-па-я».

— Прочитай...

Федор отошел к двери, прислонился спиной к косяку:

— «Жила на свете Слепая. Не видела она ни солнышка, ни лунного света, ни лугов и цветов, ни неба и звезд...»

В этом коротком бесхитростном рассказе речь шла о слепой девушке, которая решила пойти в поисках чуда по городам и селам. Долог и труден был ее путь, города и селения сменились пустыней: «И жажда стала томить ее... и мучительной пыткой казалась боль, от которой ныли ноги и все тело. И кровь текла из мелких ран, и нигде было освежить тело.

И вдруг нога коснулась воды. С жадностью набросилась Слепая на воду и стала пить ее, а потом зачерпнула ладонью воду и плеснула в лицо.

И свершилось Чудо — Слепая прозрела. Ибо это был источник Революции, источник света, жизни...»

Несколько дней Федор находился под впечатлением своего рассказа. Как-то заглянул к Борису Токину, не удержался, прочитал рассказ и ему. Борис широко раскрыл глаза:

— Немедленно надо печатать.

— Печатать надо другое, — возразил Федор.

— Ты хочешь сказать — о дровах? Да, ты прав. Сегодня надо писать о дровах, о топливе. — Токин постучал пальцами по красной папке. — Тут вот все уже подготовлено. Коммунисты Вольского уезда, как ты знаешь, выполнили задание Ленина, дали хлеб рабочим Москвы и Питера, а теперь нужно топливо. Этот вопрос не должен сходить со страниц газеты. А рассказы... Рассказы тоже людям нужны. Ясно, Федор?..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Борис Токин и Федор Панферов с раннего утра занялись подготовкой ко второй уездной партийной конференции: открытие ее намечалось на 21 сентября. Им

нужно было обобщить все сделанное партийной организацией за период с 1 мая по сентябрь 1919 года.

Увлеченные работой, они не сразу заметили, что дверь отворилась: в комнату вошли председатель исполкома Петр Руднев, военком Андрей Моторин, председатель ЧК Сергей Кабольский и какой-то незнакомый человек в длинной, перетянутой ремнем шинели.

— А, Советская власть! — приветствовал вошедших Борис Токин.

— Не только, — откликнулся Руднев, — а в полном составе бывший ревком, да еще привели московского гостя.

Незнакомец между тем шагнул к столу, отчеканил:

— Ковтюх, командир красной Таманской дивизии.

— Хорошо, если к нам прибыла дивизия, — одобрительно кивнул Токин. — Вольская земля всегда рада принять своих друзей.

Ковтюх улыбнулся:

— Дивизии нет, я один.

— Тогда непонятно...

— Я вам поясню. — Ковтюх подошел к висевшей на стене карте. — Это вот здесь, — его палец уткнулся в берег Черного моря, — южнее Новороссийска. Беляки захватили город, тем самым отрезав нам выход на север. Драться мы не могли, слишком были неравны силы. И мы начали отходить в сторону Геленджика и Туапсе, ища выход. Горная дорога оказалась тяжелой, голодной как для людей, так и для лошадей. С боями мы пробились к своим. Таманская армия, выйдя из окружения, соединилась с главными силами советских войск на Северном Кавказе... Я заболел и отбыл в распоряжение Москвы. Немного отлежался в военном госпитале, и забрала меня тоска по своим товарищам, пошел в Реввоенсовет, рассказал про свою сердечную боль. Случилось повидаться с Михаилом Ивановичем Калининым. «Это что же вы от нас хотите?» — спросил Калинин. «Тамань собрать, — прямо ответил я. — А как? Прошу доверить мне, а все остальное сам знаю как». Дали мне мандат, а местом формирования дивизии я выбрал Вольск, поближе к Деникину. — Ковтюх рассмеялся. — Разве плохое место?

Федор слушал и во все глаза смотрел на красного комдива. Ковтюх был узколиц, шинель на нем сидела ловко. Он сразу завладел вниманием собравшихся, под-

чинил их себе, заставил верить в то, во что верил сам. О героическом походе Таманской армии, одну из групп которой по кромке берега Черного моря вел Ковтюх, Панферов знал: ему рассказывал об этом рабочий с цементного завода, участник этого похода, из-за ранения вернувшийся домой. Тогда Федор не придавал особого значения его рассказу, а теперь, когда сам увидел храброго командира-таманца, поразился: как же они могли совершить такой поход по горным дорогам?!

— Слышал, у вас в городе есть бывшие кадетские казармы, — продолжал между тем Ковтюх, — а это для нас главное: есть крыша, где можно ночевать.

— Есть, — подтвердил Токин. — Есть и корпуса, и столовая, и кухня, и конюшня для лошадей. Словом, все удобства.

— Правительство поручило мне сформировать новую Таманскую дивизию, для этого мной написано такое воззвание.

Ковтюх вынул из левого нагрудного кармана гимнастерки вчетверо сложенный листок бумаги, развернул его и прочел вслух:

— «Кто не забыл еще наших блестящих побед над врагом, кто помнит, на кого оставлены отцы, жены и дети, кто совершил великий 500-верстный поход по узкой тропинке скалистого берега Черного моря, у кого еще не угасла искра богатыря-таманца, тот явится на мой призыв. Всех товарищей — таманцев и северокавказцев, рассеянных в частях Красной Армии, приглашаю, получив от командования разрешение и надлежащие документы, отправиться на сборный пункт в город Вольск Саратовской губернии».

Слушая текст воззвания Ковтюха, Федор подумал: «За таким пойдут в огонь и в воду».

— Мне нужна типография, чтобы это воззвание отпечатать, — сказал Ковтюх.

— Это вот по его части, — Токин кивнул в сторону Федора Панферова. — Он редактор местной газеты.

— Тогда ясно, — проронил Ковтюх и протянул руку Федору: — Будем знакомы, зови меня Епифаном. Родом я из потомственных крестьян, и мне двадцать шесть лет. А тебе?

— Немного моложе, и тоже из крестьян.

— Тогда, значит, мы знаем толк в земле, — широко улыбнулся Ковтюх.

По улицам Вольска с железнодорожной станции, с пристани группами и в одиночку шли солдаты, загорелые, в прожженных шинелях.

— Ковтюха нам, Елифана, где найти? — спрашивали они.

И любой встречный показывал, как найти улицу и дом, где разместился штаб красной Таманской дивизии. По вечерам там играл духовой оркестр, слышалась задорная строевая песня.

Не прекращались учебная стрельба, тактические военные занятия. По улицам города лихо проезжал конный отряд. Впереди — Ковтюх, молодцеватый, подтянутый. На него равнялись все бойцы.

С каждым днем настроение у Ковтюха улучшалось. Иной раз он забегал в редакцию — просто так, посидеть, пошутить, а однажды рассказал:

— Пришел я сегодня в штаб пораньше, начал принимать народ. Один кладет на стол письменное заявление, другой словесно просит принять его в Таманскую. Конечно, каждому, как положено, по всем статьям допрос делаю, до нутра изучаю, прикидываю: что за боец из него будет. Вопросы ставлю конкретно: «Верхом на лошади можешь?» Или: «Как плаваешь — по-мужичьи или по-собачьи?» Ответы бывают разные. Зависимо от этих ответов решаю, в какую роту кого направить. Все шло как положено, а тут, представь, вдруг карты перепутались.

— Кто же это тебе карты перепутал? — поинтересовался Федор.

Ковтюх смущенно почесал в затылке:

— Девчонка. Обыкновенная девчонка. Невысокого роста, зашла ко мне и рапортует: «Сошникова Матильда». И по стойке «смирно», как заправдашний боец. Оглядел я ее и в свою очередь: «А что из того, что ты Матильда?» А она: «Решила служить в Таманской дивизии».

Федор расхохотался:

— Испугался?

Ковтюх пожал плечами:

— Не то чтобы испугался, но, по совести сказать, она меня словно кипятком ошпарила. Перед этим хлопцы шли что надо, один другого лучше, крепкие как дубки, а тут девчонка... Отказать? Нельзя. Я решил принять ее и направить в санчасть, так и сказал: «В сан-

часть пойдешь». А она как глазами сверкнет! «Ты, — говорит, — знаешь, кто я такая? Да я с белогвардейцами еще в восемнадцатом году воевала. Да я...» — и пошла писать губерния.

— Матильда, она такая, — неожиданно подтвердил Федор. — Недавно мы ей выдали партийный билет. В ней много мальчишеского, и неспроста ее зовут Митькой. В прошлом году, в сентябре, в Вольске вспыхнуло белогвардейское восстание. Нам пришлось покинуть город. В те дни Матильда спасла группу раненых коммунистов. Я разве тебе не говорил, что у нас тут живут потомки Пугачева? Они люди храбрые и надежные...

Обычно встречи Ковтюха с Федором заканчивались тем, что они шли на берег Волги, сидели там, бросали камни в воду, шутили, смеялись. В этот раз Ковтюх вдруг предложил:

— Хочу кое-что тебе показать, конечно, не для печати.

— А что?

— Моих бойцов.

— Добро, — повеселел Федор.

И они направились в казармы. У ворот Ковтюх одернул шинель, выпрямился, разгладил короткие усы. Приняв рапорт дежурного, дал команду: «Вольно!» И опять глаза его подобрели, губы тронула улыбка. В обращении с бойцами он был прост, почти каждого знал по имени. Вот он подошел к группе бойцов, которые изучали пулемет, объяснил, как его собирать, показал молоденькому бойцу, как правильно держать винтовку. «Так... — похвалил. — А теперь хорошенько прицелься». Федору это понравилось: таким и должен быть новый, советский командир. Понравилось, что мимо Ковтюха не прошла ни одна «мелочь» — ведь потом, в боях, любая недоработка могла обернуться гибелью людей.

Федор быстро сошелся с Ковтюхом. Как много общего оказалось у них! Ковтюх, как и Федор, родился в бедной крестьянской семье. Родом он был с Кубани, из станицы Полтавской. Учиться почти не пришлось. С малых лет пас скот у богатеев.

В 1911 году его призвали на военную службу. Получил вскоре унтер-офицерское звание. За защиту солдат от произвола господ офицеров чуть не попал под военно-полевой суд. Спасла начавшаяся война.

— Помню, — говорил Ковтюх, — наш полк получил задание прикрыть отход дивизии. Враг был намного сильнее нас. В том бою мы потеряли половину солдат. Затем ночная атака на село, занятое и подожженное противником. Как это произошло, не знаю, только вдруг почувствовал: нога начала тяжелеть — меня ранило. За этот бой солдаты моего взвода да и я были награждены Георгиевским крестом 4-й степени.

Потом семнадцатый год. Революция. Я вернулся в родную станицу. Началась гражданская война. — Неожиданно Ковтюх расхохотался: — Знаешь, как меня в командиры выбирали? Только назвали мою фамилию, шум поднялся. Слышу, кричат: «Долой!», «Голодранец!». Сперва я не понял, почему так меня встретили, ведь я же за Советскую власть! А как оглядел себя — мама родная! — папаха разодранная, на плечах выгоревшая бумажная белесо-синяя гимнастерка, ворот без пуговиц, на ногах какие-то опорки, штаны мятые, вместо армейского ремня подпоясан тонким кавказским ремешком, на нем без кобуры висит маузер. Видок дай боже! — Ковтюх усмехнулся. — Такого только пугалом в огороде ставить, а не в командиры выдвигать.

— Все-таки выбрали, — заметил Федор.

— Выбрали... Да, что и говорить, трудное было времечко. И стало еще труднее, когда противник получил подкрепление. Линия фронта быстро потекла на юг. Из Екатеринодара белые двинулись на Новороссийск, таманцы очутились в кольце врага. Тогда и начался наш поход, о котором я уже рассказывал.

С наступлением холодов Ковтюх и Федор встречались реже. Но однажды поздно вечером Ковтюх зашел в редакцию тепло одетый и вооруженный, что называется, до зубов.

— Смотрю, огонек, — улыбнулся он. — Значит, сидит, творит Федя, дай, думаю, зайду. Завтра наконец отбываем.

— Так быстро? — вырвалось у Федора: ему было жалко расставаться с этим человеком.

— Время не ждет. Царицын еще в руках белых, надо наступать.

— Счастливо! — пожелал Федор.

На другой день красная Таманская дивизия покину-

ла Вольск, чтобы вновь занять свое место среди сражавшихся под алым стягом молодого Советского государства.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В один из летних дней девятнадцатого года Федора пригласили в уездный комитет партии.

— У тебя, Панферов, неплохо получается с молодежью, умеешь ты с ней ладить. Подумали мы тут, потолковали и остановились на тебе: бери и шефствуй над молодежью, будешь, так сказать, партийным глазом. Где поправляй, где помогай практически. Учти вот еще что, есть письмо ЦК большевистской партии, в котором сказано: члены партии, не достигшие двадцати лет, обязаны вступить в Коммунистический Союз Молодежи. Ясно? Ну, действуй.

Федор отнесся и к этому партийному поручению со всей серьезностью, организовал в своей газете молодежную страничку, написал для нее статью «Наша молодежь» и рассказ «Степь зовет». Под заголовком написал: «Посвящается красной революционной молодежи».

Вскоре Вольская комсомольская организация избрала Федора делегатом на Первый губернский съезд коммунистических союзов молодежи.

В Саратов делегаты съехались в первых числах сентября. Их было сорок, каждому было что сказать съезду. Комсомольцы знали назубок статью Владимира Ильича Ленина «Очередные задачи Советской власти», рука об руку с партийцами заготавливали хлеб, отправляли его голодающим рабочим Питера и Москвы, посылали лучших ребят на фронт, ловили в лесах дезертиров, сами проливали кровь, словом, укрепляли на местах Советскую власть. Но у них не было главного — единого руководящего центра, общения между уездными комсомольскими организациями, и теперь, собравшись, делегаты жадно знакомились друг с другом.

Съезд прошел успешно. Комсомольцы обменялись опытом и мнениями по жгучим вопросам дня. Рассматривая себя как ближайших помощников партии, делегаты выработали план дальнейших своих действий. Перед тем как разъехаться, они всю ночь бродили по улицам Саратова, пели революционные песни, мечтали о буду-

щем, сфотографировались. Эта фотография хранится в Саратовском краеведческом музее. Сохранился до наших дней и написанный рукой Федора Панферова первый протокол съезда.

Федор был избран членом губкома комсомола, ему доверили заведовать отделом по работе в деревне. Однако жить он продолжал в Вольске и работу в газете не оставлял.

Члены губкома комсомола стремились оправдать оказанное им доверие, но их работа шла негладко: не было средств на содержание губкомовского аппарата, не было денег на почтовые расходы, на командировки. В губкоме комсомола не знали, как на местах живет молодежь.

Об этом стало известно губкому партии, было решено укрепить губком комсомола кадрами, выделить необходимые для его работы средства. Губкому комсомола предложили срочно созвать пленум и пригласить на него секретарей укомов РКСМ.

На этот пленум приехал и Федор Панферов. Он был избран в президиум и председательствовал на пленуме.

Подвергнув справедливой критике работу губкома, пленум принял решение: губком в данном составе распустить, а вместо него избрать губернское организационное бюро, которому было поручено в кратчайший срок собрать губернский съезд и предложить губкому РКП(б) взять его работу на проверку.

В состав оргбюро вошел и Федор Панферов.

Когда избирали оргбюро, словно свежий ветерок повеял на собравшихся: комсомольцы успокоились, оживились, настроение у них поднялось.

— А теперь, товарищи, за работу, — сказал Федор. — У меня есть предложение: обратиться ко всей молодежи губернии с призывом — всем на заготовку топлива, на ликвидацию топливного голода. На последней Всероссийской конференции РКП(б) этому вопросу было уделено особое внимание.

Обращение к молодежи было принято с энтузиазмом. Затем начались доклады с мест. Комсомольцы взволнованно говорили о хлебе — самом остром вопросе того времени.

— Мы ездили по селам, — рассказывал представитель Хвалынского уезда, — читали письмо питерских рабочих, которые просят помочь голодающим детям. А кулаки гноят зерно в ямах. Наши продотрядовцы

в двух селах обнаружили почти десять тысяч пудов хлеба, спрятанного кулаками.

— А я поведаю вам вот о чем, — с места поднялся брат Бориса Токина, Иван. — Весной восемнадцатого, когда в Вольске власть перешла к Советам, город оказался без хлеба. И тогда, по призыву большевиков, из рабочих цементного завода был создан продотряд. Его направили на заготовку хлеба в Заволжье. Трудно вспоминать об этом... Кулаки уничтожили продотряд, из пятидесяти человек уцелел только один.

Ивана Токина сменил представитель Петровского уезда.

— Нашего славного комсомольца Колю Смирного, гармониста, кулаки повесили в лесу, набили ему в рот зерна и написали: «Так будет со всяким». Но нас не устрашат кулаки! — воскликнул он. — Мы все равно победим!

С горечью говорили комсомольцы о гибели товарищей, и каждый заканчивал выступление рапортом: сколько заготовлено хлеба, сколько ушло добровольцев на борьбу с Колчаком, на борьбу с Юденичем.

На последнем заседании пленума с докладом выступил Федор Панферов. Напомнив о решении VIII съезда партии по крестьянскому вопросу, он перешел к делам Саратовской губернии. И в частности, сказал:

— Для того чтобы можно было работать в деревне, надо знать ее настоящее и прошлое, надо знать те условия, в которых жило крестьянство, чтобы не оттолкнуть его, а, наоборот, привлечь к работе, заинтересовать его. Наша деревня была глухая, темная, придавленная, всегда зависящая от кулака, всегда обманутая. Крестьяне не видели и луча света, попадали в непосильную кабалу к помещику. Теперь наша задача — знать, как живет сельская молодежь, помочь ей освободиться от прошлого груза, завлечь ее в Коммунистический Союз Молодежи.

Корреспондент саратовской молодежной газеты писал:

«...Резюмируя свой доклад, тов. Панферов еще раз указал на то, что представляет из себя деревня и что необходимо предпринять практически для выведения ее из этого состояния. После продолжительных прений принята инструкция о работе в деревне, предложенная Панферовым».

Федор Панферов был на II съезде комсомола в Москве.

Федор на время остался жить в Саратове. Однажды вечером, вскоре после пленума, он встретился с Борисом Токиным, в то время уже секретарем губкома партии. По давней привычке обсуждать все текущие события, расспросили друг друга, что нового, как движутся дела.

— Дерзай, Федя, дерзай! — одобрил Борис Токин своего товарища.

— Дерзаю, Борис, — в тон ему ответил Федор. — Если партия большевиков дала поручение, значит, надо дерзать.

На другой день в саратовской газете появилась статья Федора Панферова.

«Саратовское губоргбюро РКСМ наметило ряд крупных задач, — писал он. — С 20 декабря по 5 января провести по всей губернии уездные беспартийные конференции молодежи, с 25 декабря по 15 января будет проведена по всей губернии неделя красной молодежи, с 10 января — уездные конференции, 1 февраля — губернская беспартийная конференция, 9 февраля — губернский съезд РКСМ».

Обращение к молодежи о заготовке топлива, принятое на пленуме губкома комсомола, Федор подкрепил своим выступлением в печати со статьей «За топоры и пилы». Он пропадал в лесных районах, разъяснял на крестьянских сходах, как остро нуждается страна в топливе, организовывал обозы, пилил дрова. Это горячее время нашло отражение в написанном им тогда же рассказе «Сын».

Работа в комсомоле Федору нравилась. Он ездил по уездам, помогал в проведении конференций несоюзной молодежи, делал доклады о текущем моменте, организовывал комсомольские ячейки.

Своими мыслями, наблюдениями Федор любил делиться с народом. В статье «Работа в деревне» Федор Панферов писал: «Товарищ, которому поручена работа волостного, районного или уездного организатора, должен понять, что ему поручена самая важная, самая ответственная работа, он должен быть тем коммунистическим током, через который в деревенские массы дол-

жны проходить все задачи партии коммунистов-большевиков, он должен стоять на страже всех вопросов дня.

Деревенским организаторам придется спуститься в самую гущу деревенских масс и там отворачивать глыбы старого устоя. Волостной, районный, уездный организатор деревни — это не митинговый агитатор, это строитель революции в деревне, отсюда и вытекает вся важность, трудность, ответственность работы.

Организаторы деревни должны быть сынами земли».

Далее автор подробно разбирает, в соответствии с решениями VIII съезда нашей партии, направления, по которым должна вестись работа в деревне, особое внимание уделяет молодежи, женщинам, деревенским ячейкам коммунистов, избам-читальням, Советам. Убедительно и доходчиво, с ленинских позиций, показано классовое расслоение и особенности партийной работы в деревне.

Поездки по деревням, собрания, митинги молодежи... Время летело стремительно. Не успели оглянуться, а уж на дворе декабрь, не за горами и Новый год. Руководители комсомола спросили себя, как они выполняют наказ участников пленума губкома комсомола, что сделано оргбюро по подготовке губернского съезда РКСМ?

Надо было оглянуться на сделанное, проанализировать, до чего еще не дошли руки, тем более что и в губкоме партии, много помогавшем комсомолу, говорили:

— С вас-то мы непременно спросим, для чего вы там? Мы вас в комсомол направили не на балалайке играть.

— Знаем, — обычно отвечал Федор.

— Это хорошо, если знаете.

— Но этого мало, — возражал Федор. — Надо учиться доказывать молодежи, где ее место в общей борьбе пролетариата.

— Вот и доказывайте!

И Федор вместе со своими товарищами устраивал собрания, организовывал выступления артистов, вывешивал красочные афиши у рабочих клубов, писал статьи, стихи, рассказы.

В губкоме партии обо всем этом знали и тем не менее сочли необходимым еще раз, на очередной губер-

ской партийной конференции, включить в повестку дня вопрос о работе комсомола. Подготовку доклада поручили Федору Панферову.

Федор несколько дней готовился к докладу, тщательно продумывал каждый тезис, а когда на партконференции ему предоставили слово, заволновался: в зале сидят партийцы, делегаты конференции, съехавшиеся из всех уездов губернии. Они собрались решать серьезные хозяйственные вопросы, а тут доклад какого-то Федора Панферова «О работе среди молодежи»...

Сперва Федор говорил не очень складно, а потом, увидев, что его слушают со вниманием, успокоился и уже уверенно давал оценки сделанному, отметил недостатки, особенно в работе среди сельской молодежи. И заключил:

— Без учебы, без помощи местных партийных организаций наши молодежные ячейки могут захиреть. Значит, вывод: молодежи надо быть ближе к партии коммунистов, а членам партии коммунистов надо быть ближе к молодежи, тогда мы победим голод, холод и тиф, победим всех внешних и внутренних врагов.

Губернская конференция приняла по докладу Федора Панферова соответствующее решение.

Это было 21 января 1920 года.

А в начале февраля собрался II губернский съезд комсомола. Слушая выступления делегатов, Федор с радостью отмечал: в их успехах содержится и частица его труда, его усилий, его многих бессонных ночей.

А разве забудется заключительное заседание съезда? Вихрастый паренек звенящим от напряжения голосом читал послание комсомольцев Владимиру Ильичу Ленину:

«Саратовский Второй губсъезд РКСМ шлет горячее приветствие вождю мирового коммунизма товарищу Ленину. Рабоче-крестьянская молодежь готова отдать все свои силы на алтарь коммунистической революции, выражает свою уверенность, что последняя скоро восторжествует во всем мире.

Да здравствует мировая революция и ее вождь товарищ Ленин!»

При этих словах делегаты в едином порыве поднялись со своих мест.

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1920 год. Крепла Страна Советов, но тут, на Саратовщине, вопросы заготовки хлеба, топлива, восстановления транспорта стояли по-прежнему остро. Почти половина губернских партийных работников была направлена на места.

В числе первых из Саратова уехал и Федор Панферов.

До Вольска Федор добирался на попутных подводах по заснеженному льду Волги. И сразу — в уездный комитет партии. А оттуда — напрямик в газету «Рабочий и крестьянин», за свой редакторский стол. Еще по дороге в Вольск решил, что начнет с призывов-обращений к рабочим и крестьянам. Он знал, что это очень действенная форма, когда со страниц газеты к тебе обращаются за помощью:

«Трудающийся! Если у тебя есть две теплые вещи, ты должен одну отдать твоим братьям на линию огня. Ты должен честно поделиться всем подходящим с Красной Армией, которая гордо защищает советскую отчизну».

«Книга, чистая рубашка, волжская махорка, деньги, горсть муки — вот то, чем нужно трудящимся оказать помощь, показать искреннюю любовь к героической армии рабочих и крестьян».

«Рабочий, помни о фронте, там решается твоя судьба, судьба твоих детей».

«Неделя фронта», «неделя чистоты»... Газета писала: «Неделя чистоты» в Вольске начинается 15 апреля... Пуше всех своих врагов бойся вшей, клопов и блох».

Отклик у коммунистов вызвала статья Федора Панферова «Работа уездкома РКП», посвященная открытию III уездной партийной конференции. В жизни Вольской партийной организации, отмечал Панферов, произошли радующие сдвиги, например, во всех волостях крестьяне откликнулись на призыв Советского государства, и ссыпка хлеба завершилась весьма успешно, хорошо прошли выборы в местные Советы, редкий Совет не имеет в своем составе коммунистов. Наряду с этим в статье были поставлены важнейшие вопросы дня — о молодежи, женщинах, коммунах, деревенских ячейках, профсоюзах. На вопрос, каким должен быть уездком, статья отвечала: уездком РКП должен быть весьма авторитетным, ибо это высший руководящий орган в городе и уезде.

Сегодняшнему читателю стиль газетных выступлений двадцатых годов, вероятно, может показаться в чем-то чересчур прямолинейным, порою даже наивным, но вспомните: грамотных в ту пору было еще мало, а газета обращала свое слово к массам и хотела быть понятной этим массам.

Созванная в марте чрезвычайная Вольская уездная партийная конференция после обсуждения доклада о текущем моменте и кооперации обсудила кандидатуры делегатов на IX съезд РКП(б).

Вольская газета «Рабочий и крестьянин» 12 марта 1920 года сообщила: «Уездная конференция РКП избрала на Всероссийский съезд РКП в Москве товарищей: Маурера, Бусыгина, Панферова и Бурлакова...»

Федор снова оказался в Москве. Москва была уже другой, более спокойной: ей уже не угрожал враг, как это было в девятнадцатом, когда Деникин готовил белого коня, чтобы на нем въехать в Москву.

Открывая съезд, В. И. Ленин сказал:

«Товарищи, мы открываем очередной партийный съезд в момент в высшей степени важный. Внутреннее развитие нашей революции привело к самым большим, быстрым победам над противником в гражданской войне, а в силу международного положения эти победы оказались не чем иным, как победой советской революции в первой стране, совершившей эту революцию, в стране самой слабой и отсталой, победой над соединенными всемирным капитализмом и империализмом. И после этих побед мы можем теперь со спокойной и твердой уверенностью приступить к очередным задачам мирного хозяйственного строительства, с уверенностью, что настоящий съезд подведет итоги более чем двухлетнему опыту советской работы и сумеет воспользоваться приобретенным уроком для решения предстоящей, более трудной и сложной задачи хозяйственного строительства...»

Эти ленинские слова стали как бы заповкой к работе съезда и принятым им решениям: «Об очередных задачах хозяйственного строительства», «Об организации связи между хозяйственными комиссариатами», «По вопросу о профессиональных союзах и их организации», «Об отношении к кооперации», «О работе среди женского пролетариата», «О мобилизации на транспорт».

Участники съезда покидали Москву, ясно представляя себе, что им надо делать на местах, с чего начать претворение в жизнь указаний партии.

В приподнятом настроении, полным энергии и желания действовать, возвратился из Москвы и Федор.

В мае 1920 года на очередной Вольской партийной конференции он выступил с двумя докладами: «Положение в деревне и задачи партии в ней» и «Взаимоотношения РКП с другими партиями». Участники конференции избрали его ответственным секретарем укома партии и делегатом на Саратовскую губернскую партийную конференцию.

Федор пишет статью за статьей: «Бей врага трудом и дисциплиной», «Неделя Западного фронта в деревне», «Молодежь и революция», «Коммунисты за работу», «Задачи коммунистов».

Казалось, где взять время в этом нескончаемом круговороте дел? И все-таки за счет сна, отдыха Федор урывал час-другой, чтобы писать. В одном случае это были стихи, в другом — статья.

Летом 1920 года вышла первая книжка стихов Федора Панферова «Мой сад». Один из местных критиков писал, что «у молодого поэта, безусловно, есть данные, и, работая над собой, он может многого достигнуть».

В том же году Федор закончил давно задуманную пьесу «Дети земли». Она была поставлена в местном театре, на сельских сценах, в избах-читальнях и привлекла внимание зрителей. Думаю, это произошло потому, что в ней нашли свой отзвук недавние, предшествовавшие Февральской революции 1917 года события. Молодой революционер Фома Нордов помогает рабочим идти к новой, светлой жизни, без рабов и эксплуататоров. Путь борьбы нелегок и опасен, к тому же Фома переживает личную трагедию: он любит дочь фабриканта, она отвечает ему взаимностью и уговаривает во имя их любви уйти от революционных дел. Фома не может изменить своим убеждениям: он оставляет любимую девушку, его место — рядом с рабочими...

Газета, требовавшая от Федора полной самоотдачи, выработала в нем драгоценное качество: он научился быстро переключаться с одного жанра на другой — с серьезной статьи на тему дня к стихотворению, а иной раз из-под его пера выходила лирическая зарисовка или, как он сам ее называл, «набросок углем», «аква-

рельный набросок». К их числу относится глубоко лирический рассказ «Дитя»:

«Я вышел с маленьким братом гулять. Мы идем на любимое место — Сонькин утес. Осенний вечер тих и прозрачен, как глазки маленького братишки. Садимся и смотрим на Волгу.

— Братка, расскажи мне сказку о Соне.

Начинаю рассказывать.

Вдруг он прерывает меня и говорит, показывая ручонкой:

— Смотри на небушко.

Я посмотрел.

Небо, словно сочным соком наполненное, висело над нами.

— Смотришь?

— Смотрю.

— Видишь звезды, давай их погасим.

И он напряг силенку, стал дуть в царство звезд. Я инстинктивно присоединился к нему. Так продолжалось минуты две. Он остановился первым.

— Не тухнет, — проговорил и беспомощно развел руками. — Идем, братка, искать лестницу, — решил он и направился к горам, — она там вон будет... уж знаю.

И мы пошли искать лестницу, чтобы взобраться на небо и потушить звезды.

Шли долго. Прошли заводы.

Сумрачно смотрели трубы.

Не курились огни.

— Я не хочу тушить звезды, — промолвил он.

— Почему?

— А ведь людям не на что будет радоваться, а они такие красивые... И...

— И что же ты хотел еще сказать?

— И сказки нельзя будет про них говорить. Пойдем лучше, — и он сильно потянул меня.

Сказки! Людям нужны сказки, дитя льнет к людям».

С такой же душевной силой написаны рассказы «Красные огни» и «Колька и Вашка». В последнем ему особенно удались образы двух ребят, отец которых воюет в рядах Красной Армии. Братья заигрались, в дом зашли мать с соседкой, и Колька услышал шепот:

«— Твой на Балашихе, всего-навсего отсюда три версты, давеча видели его.

— О господи, — вздыхает мать.

— Придет он, верно, сегодня. Белые собираются уходить от нас.

Действительно, вечером пришел отец. Ребята забрались отцу на руки. В темноте ощупывают бороду, по ней ничего не изменилось, значит, это всамделишный батька.

Сидели долго. Колька говорит:

— Мы, батька, на гумно завтра с тобой поедем, а то молотить уж надо.

— Поедем, — отвечает батька.

— А Вашку не возьмем?

— Возьмем и Вашку.

— Он сонуля.

Быстро пробежал кто-то около окна и к двери, в дверь ломятся. Метнулся батька. Дверь скрипнула — и в комнату быстро ворвались трое чужих.

Батька не дается, мать вопит и вешается на чужих. Вашка и Колька — под кровать. Чужие вывели батьку на улицу. Мать кричит. Выбежал Колька, а за ним Вашка, и воют:

— Дяденька комиссар, дяденька комиссар, отдай батьку!

— Ишь ты, тоже комиссар, какой тебе комиссар! — и чужой щелкнул Кольку по затылку.

«Значит, это белый», — смекнул быстро Колька и опять кричит:

— Дяденька белый, дяденька беленький!

Мать обхватила их обоих и кинулась в ноги к чужим. Они ругались, били прикладом батьку.

Мать вскочила, волосы у нее растрепались, кинулась и повисла на батьке.

— У, стерва! — сказал дядька белый, ткнул прямо мамке в бок.

Мамка застонала и упала на землю прямо животом, а Колька знал, что у мамки в животе маленький ребенок. Белые убили батьку, а мамка лежит на земле и молчит.

Подошли к ней. Колька, Вашка сели рядом и плачут:

— Мамка! Мамка!

А мамка молчит.

Ночь черная, звезды с неба смотрят. Мамка лежит, а рядом Колька и Вашка».

В этот период Федор Панферов обращается и к крупным поэтическим формам, в частности в июне 1920 года

уездная газета напечатала его поэму «Ткачи». В ней, как и в других поэмах, воспевается справедливое дело рабочих и крестьян, их стойкость в борьбе за родную Советскую власть. Посредством поэтического слова Федор стремился, как он говорил, потревожить души трудящихся, внушить им, что, если они едины, если идут за партией, сила и правда на их стороне.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Всероссийский съезд Советов, состоявшийся в декабре 1920 года, вошел в историю нашей страны как съезд, одоббивший план ГОЭЛРО — план электрификации России, который был охарактеризован Владимиром Ильичем Лениным как вторая программа партии большевиков. «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» — так емко оценил В. И. Ленин значение плана ГОЭЛРО. Съезд рассмотрел также вопрос о проведении предстоящей весенней посевной кампании.

«Для всесторонней помощи крестьянскому хозяйству, сосредоточения всех средств и сил в этом направлении и для руководства сельскохозяйственной кампанией, — записано в решении съезда, — образовать в губерниях, уездах (районах) и волостях комитеты по расширению посевов и улучшению обработки земли — посевкомы, в составе не более 5 лиц...»

Все партийцы Вольска были мобилизованы на выполнение этой задачи. Уездный комитет партии походил на боевой штаб: уезжающим в деревни давались четкие указания, с чего начинать учет семян и как их сохранить. Это было непросто. Федор объехал почти все волости, беседовал с крестьянами, помогал оборудовать общественные амбары для хранения семян, писал статьи, часто повторяя в них мудрое народное присловье: «Лучше голодай, да добрым семенем засевай».

Мужик отдавал семена неохотно, ворчал, а кулачье использовало эти настроения, сеяло панику, организовывало нападения на активистов.

Коммунисты и комсомольцы Вольского уезда, однако, продолжали уверенно делать свое дело. Каждый уполномоченный, возвращаясь в Вольск, докладывал ис-

полкому и укому партии, что выполнил боевое задание: семена находятся в надежных общественных руках.

Все шло хорошо.

И вдруг — словно гром среди ясного неба: со стороны Заволжья, в районе Хвалынского, Волгу перешла банда Попова. Она с ходу овладела Хвалынском, разогнала Совет, расстреляла коммунистов и начала продвигаться вниз по правому берегу Волги.

В конце марта банда Попова ворвалась в Широкий Буерак, что создало угрозу для Вольска. В городе было объявлено осадное положение, на цементных заводах созданы боевые отряды.

Банде не удалось захватить Вольск, хотя ее главарь Попов приказал взять город. Но если бандиты и не побывали в Вольске, то они похозяйничали в селах уезда: стремясь сорвать весенний сев, пожгли общественные амбары с хлебом, отбирали у крестьян лошадей.

В банду подалось кулачье. Стало опасно ездить по проселочным дорогам. По ночам часто раздавалась стрельба. В уком поступали тревожные сигналы:

«В Черкасске сожжена паровая мельница и амбар с семенами».

«Убит секретарь партячейки в Чернавке».

«В Лопуховке у крестьян угнали всех лошадей».

Тревога ползла змеей из села в село. До хрипоты горланили песни бандиты. Казалось, никакая сила не могла уговорить их. Но и тут на первую линию огня встали коммунисты: на борьбу с бандитами и с пожарами из Вольска выехало несколько отрядов.

А весна все ближе и ближе. Вот уже Волга сбросила с себя ледовую броню, понесла свои воды вниз, к Каспию. Теплый ветерок подсушил дороги, на полях поспела почва, наступила пора сева, а семян не хватало.

— Ты мне точно скажи, сколько у тебя в приволжском амбаре пшеницы? — допытывался Федор у начальника снабжения города. — Это хорошо, если две тысячи пудов... А овес? Тоже неплохо. Держи все это хозяйство наготове. Город без муки не оставим. Люди поймут. Обязательно поймут.

Федор устало откинулся на спинку стула, лицо у него было помятое, он почти не спал. Поздно ночью приехал из Чернавки и напрямик сюда — в уком партии:

прикорнул на кожаном диване, а чуть заорезжил рас-свет, принялся звонить по телефону, чтобы выявить на-личие в городе пшеницы, овса, проса, гречихи.

— Скажи, пожалуйста, — обратился он к своему по-мощнику Леониду Столярову, — можем мы узнать, сколь-ко лошадей у вольских жителей?

— Все можно.

— Тогда срочно зови председателя исполкома Ива-на Акимова.

Федор зашагал от двери к окну и обратно: не может того быть, чтобы они, коммунисты, не справились с эти-ми трудностями!

В кабинет вошел председатель исполкома Иван Аки-мов, недавно избранный вместо Петра Руднева, уехав-шего в Москву, на свой родной завод.

— Что сказал Ленин? — в упор задал ему вопрос Федор. — Забыл? А я напому: если мы не засеем всю площадь земли, то нам гибель неминуемая.

— Ну а от меня, чего же ты от меня хочешь? — с недоумением уставился на него Иван Акимов.

— Надо немедленно вынести решение, дорогой наш председатель. Срочно мобилизовать всех лошадей в го-роде, загрузить их семенами — и на село... Знаю, знаю, ты сейчас скажешь, что мы парализуем жизнь города. Да ведь всего на две недели. В помощь пошлем ком-мунистов и комсомольцев, рабочих, и скажем по-мужиц-ки: «Сей в добрую пору — соберешь хлеба гору».

Как тяжело ни пришлось, а с севом яровых управи-лись. В уком стали поступать хорошие вести — пшеница зеленым ковром покрыла землю, пробился подсолнух, радуют глаз озимые.

Настроение у всех улучшилось. Люди улыбались. Повеселело на душе и у ответственного секретаря укома партии Федора Панферова. Он чисто побрился, отутю-жил гимнастерку и вышел пройтись. Навстречу — Лео-нид Столяров.

— Давно мы, Леонид, с тобой чаек не пивали.

— Верно! — Леонид оживился. — Может, махнем к нам? Маманю порадуем, а?

Глаза Леонида заискрились, как когда-то, при их первом знакомстве возле Широкого Буерака.

— Идея! — одобрил Федор. — Только непременно до-стань связку кренделей и фунта два сахара.

Лицо у Леонида вытянулось:

— Кренделей можно, а сахару?..

— Скажешь, сахар только детям?.. — Федор вскинул брови. — Вот что. Позвони снабам, от моего имени попроси, ежели нет двух фунтов, то пусть хоть дадут фунт, непременно добавь — просит для девочки Зои...

Они зашли в уком. Федор занялся текущими делами, а в соседней комнате Леонид, уткнувшись в телефонную трубку, бубнил:

— Не можете... Это старая песня. Есть распоряжение! Какое распоряжение? Сейчас приду сам.

Примерно через полчаса в кабинет Федора влетел раскрасневшийся Леонид:

— Все в порядке, лошади оседланы!

Через час они уже были в тесной комнате Столяровых. Мать Леонида, держа сына за руки, нежно укоряла:

— Забыл, совсем забыл, непослушник. Управы на тебя нет.

Леонид обнял мать, стал оправдываться:

— Маманя, ты уж не сердчай на меня. Беляков разбили, прочую Антанту с нашей земли сбросили, а теперь за мирную жизнь взялись. Делов — невпроворот!

— Знаю я тебя, весь в отца.

Пока мать говорила с сыном, Федор стал шутить с сестренкой Леонида, Зоей. Девочка забралась к нему на колени.

— А я умею читать и писать.

— А рисовать? — спросил Федор.

— На песке... И рисовать и строить. Пойдем покажу...

— Пойдем, — согласился Федор.

По узкой тропочке они спустились к Волге. Зоя тянула Федора на свои любимые места. Под кустом ивы Федор разглядел вылепленных из мокрого песка зверушек.

— Это мишка, он сердитый и недоволен: я не дала ему сегодня меду, — пояснила Зоя. — Зато белочка смеется: ей достался орешек... А это спит баран.

— Какой же это баран, если у него нет рогов? — возразил Федор.

Зоя нахмурилась:

— Ишь какой хитрый. Рога сделать трудно: песок высыхает, и они рассыпаются.

— Давай что-нибудь придумаем.

— Давай, — засияла Зоя.

Они стали «придумывать». Федор нашел прутик, согнул его, укрепил на голове барана:

— Вот и рога выросли...

Федор отдыхал, ему давно не было так хорошо, как в этот раз.

— Твоя сестренка, — сказал Леониду Федор, когда они возвращались в город, — навела меня на мысль написать рассказ о детском счастье.

Такой рассказ Федор написать не успел. Неожиданно из Заволжья, словно из огромной раскаленной печи, дохнуло суховеем.

— Беда, Леонид, беда... — горевал Федор, вглядываясь через распахнутое настежь окно в заволжскую степь: казалось, она дымится. — Беда надвигается на нас, Леонид! Ты человек города, не все понимаешь, а я, милый мой, нутром знаю, что означает для крестьянина засуха.

Мало-помалу в кабинет ответственного секретаря укома партии начали стекаться люди. Обычно каждый был занят своим делом, а стоило грянуть беде — шли сюда, ища ответ на вопрос, как быть, что делать? Так было и в это утро.

Федор расстегнул ворот рубашки, словно ему стало душно, сел за стол:

— Что же будем делать, товарищи?

— Надо немедленно направить людей в волости, — предложил Акимов. — Посмотреть состояние посевов.

— Верно! — встрепенулся Федор. — Может, не так далеко и проник суховея. Поедем на места. — Федор оглядел собравшихся и начал называть волости и фамилии уполномоченных.

Когда все разошлись, он склонился над столом, делая какие-то пометки в записной книжке, а Леонид вдруг вспомнил, как в одной из совместных поездок не мог оторвать Федора от поспевающего проса, с мягкими, как бархат, кистями.

«Кто с малых лет ест пшеничную кашу, тот непобедим, — говаривал обычно Федор. — Что за обед, коли каши нет?»

Как-то раз они задержались в дальнем селе. Не успели заснуть, позвал хозяин:

«Федор Иванович!»

«Случилось что?» — вскинулся Федор.

«Корова никак не растелится».

«Вот еще печаль!» — И Федор, накинув на плечи полушубок, выбежал во двор.

Леонид помнит: открылась дверь, в нее, окутанный клубами холодного воздуха, с мокрым теленочком на руках вошел Федор, улыбающийся, довольный.

— Ну что же, — нарушил вдруг молчание Федор, — природа побеждает нас сегодня, но придет время — мы победим природу. Так должно быть, на то мы и коммунисты.

Но до этого «придет время» было еще далеко. В уком поступали сигналы один другого тревожнее. Суховей за неделю опустошил поля. С деревьев опала листва, их словно ошпарило кипятком. Потрескалась земля.

С пустыми котомками за плечами брели по дорогам усталые, изголодавшиеся люди. Вместе со взрослыми шли босые дети, многие из них несли наполненные водой чайники.

Началось небывалое дотоле передвижение народа. Берег Волги был усеян беженцами. При каждом гудке парохода толпа устремлялась на пристань. Наплыв желающих уехать увеличивался.

Еще больше народу скопилось на постоянных дворах. Жизнь в городе была парализована. Толпы людей осаждали исполком и уком, прося помощи. По Вольску поползла зловещая весть — спасайтесь, людей косит холера!

— Следует запретить въезд в город, — предложил Иван Акимов. — Иначе гибель.

По бледному худому лицу Федора побежали красные пятна. Легко сказать — запретить въезд. Как это сделать? Нельзя же накрыть город стеклянным колпаком! Верно, на дорогах можно поставить посты, не впускать подводы, ну а пешие путники? Их не остановишь, они найдут способ пройти в Вольск.

Впрочем, на дискуссии времени уже не было — настала пора действовать. На борьбу с холерой были мобилизованы все, кто хоть чуть-чуть разбирался в медицине. Едва успели принять меры по борьбе с холерой, как поступило новое донесение: «В городе тиф».

Федор схватился за голову: беда никогда не приходит одна, а тут все разом — суховей, холера, тиф...

Не в характере Федора было отсиживаться в кабинете. Вместе с Леонидом Столяровым он все лето разъезжал по уезду, выполняя задания укома партии, предпринимавшего энергичные меры для нормализации жизни в уезде. Советское правительство вынесло решение оказать засушливым районам Поволжья помощь семенами.

«Все силы на озимый сев!» — призывала газета. Крестьяне с благодарностью получали от государства семена ржи, с особым тщанием пахали землю, понимая, что от того, как будет проведен сев, зависит урожай будущего года и, стало быть, их собственное и государства благополучие.

Во время одной из поездок по селам, близ Черкаска, Федор как бы между прочим спросил Леонида:

— Тебе, случаем, не зябко?

— Что ты, Федя, в такую-то погоду!

— А мне, знаешь ли, зябко...

Леонид метнулся к Федору, а тот уже сник и уткнулся лицом в гриву лошади.

С трудом Леонид довез товарища до больницы, попросил оказать помощь. Старый усатый фельдшер сразу определил:

— Тиф у него... Сыпняк! Оставляй его здесь.

— Я не могу его оставить, — возразил Леонид. — Он мне давал наказ: ежели, мол, заболит тифом, то чтобы я вез его в Вольск.

— Добрый наказ! — Фельдшер усмехнулся. — Да ведь до Вольска, почитай, верст сорок. Как ты его доведешь?

— На подводе, — сообразил Леонид.

— Разве только, — смилостивился фельдшер, — и то можешь сгубить человека...

Медленно тянулась по дороге телега, на ней лежал покрытый клетчатым одеялом больной Федор. Он метался, бредил, просил пить. Рядом с телегой, то и дело поправляя спадавшее с больного одеяло, шагал Леонид Столяров. За какие-нибудь несколько часов он весь почернел, осунулся, его крутой лоб пересекла морщинка.

...Леонид ни на шаг не отходил от постели больного друга, делая все, чтобы облегчить его состояние. И выходил его.

Голод постучал и в окна нашего дома.

Отец решил не молотить снопы и принялся отрубать колосья.

Складывая их в амбар, сказал:

— Зачем мякине пропадать? Лучше мы съедем ее, а там, глядишь, и зернышко попадется.

Он смастерил ручную мельницу, и мы стали молотить колосья.

Из этой муки мать пекла лепешки.

— С молочком-то пойдут за первый сорт, — нахваливал отец.

Мы с сестренкой Лизой молча соглашались с ним, но лепешки не шли в горло. Пока было молоко, их еще можно было есть, хотя и с трудом, но как-то вечером мать тяжело вздохнула:

— Буренка совсем отказала... С чиришек всего и надоила.

Отец оторвался от работы:

— Это чтой-то она придумала?

— Придумала! — Мать поставила на стол пустой подойник. — Знамо, у коровы молочко на языке... А она что получает?

— И заказчиков мало стало, — угрюмо проронил отец. — В Баку нам надо махнуть.

Мать всплеснула руками, глаза ее загорелись.

— Верно, Ваня, перебьемся там зиму, а по весне — обратно. Чай, не каждый год засуха, может, бог и пожалеет нас...

— Оно конечно, можно бы махнуть в Баку, да только как с ногой быть? Не гнется, прохвостка, а для плотника это хана...

Огонек в глазах матери погас.

— Да и ребят куда денешь?.. — Она медленно опустилась на лавку и с тоской оглядела нас, ребятишек.

В Баку родители не поехали. А голод уверенным шагом пошел по улицам Павловки.

— Зачем нам лошадь? — сказал как-то отец. — Век без нее жили! Другое дело корова, где корова, там молоко, а лошадь в зиму — только расход корма. Надо ее пустить на мясо.

Мать не спешила с ответом, соображала, как бы не обидеть отца...

— Оно конечно, — тихо заговорила она, — с лошадью одни расходы. Окромя соломы ей нужна посыпка.

Нет, не продержим мы ее... — И, помолчав, еще тише добавила: — Можно в Евлейку съездить, обменять на барана...

Отец вспыхнул:

— На барана! Они, бараны-то, весом с мой кулак, а тут лошадь! Одна шкура чего стоит: пары три сапог можно сшить, а ты — «на барана»!

Как мать ни возражала, отец настоял на своем: решили лошадь пустить на мясо.

Мне тогда казалось, что отец все умеет. Если что надо, берется сделать — раз, и готово! То чинит борону или соху, то смастерит кадушку для огурцов или капусты. Начиная с табуретки, все в избе было сделано руками отца. Так и в этот раз. Он ловко зарезал лошадь, разделал мясо по сортам — большую часть посолил, а шкуру повесил под крышей сарая.

Конское мясо мне впрок не пошло: начал болеть живот. Я худел не по дням, а по часам. Мать взмолилась:

— Вези Шурку к Федярке, не то пропадет мальчонка...

В Вольск мы пришли пешком.

У меня упало настроение, когда я увидел Федора. Он был стриженный, щеки впали, губы бледные, а шея вроде вытянулась — тонкая-претонкая...

— Это ничего, — спокойно сказал он. — Тиф малость подкосил. Не убогуся... Страшное это дело — голод и тиф. Трудно спрятаться, да и куда, коли работа наша такая: постоянно на народе... А ты, отец, что нос повесил?

— Почему не сообщил нам о себе, али мы тебе с матерью чужие? Все из гнезда разлетелись, пусто стало, а я старался, дом строил на всех...

Отец ушел домой, а я остался жить у Федора. В то время он уже был женат на Валентине Ивановне Катушевой.

Помня наказ отца, я не выходил на улицу. Мне было интересно сидеть с маленькой Векой — дочкой Феди. Я разговаривал с ней, и мне казалось, она меня понимает. Я даже хвалился:

— Века знает слово «папа».

— Она-то знает, а ты вот в школу не ходишь, это плохо. — Федор привычно потрогал большим пальцем подбородок. — А читать ты умеешь?

— Немного...

— Как немного? Ты что, и в первом классе не был?

Такое в голосе Федора было удивление, что я потопился объяснить:

— Только я начал учиться, папанька ногу порубил, положили его в больницу, за семь верст от Павловки. Маманька каждый день к нему ходила, обед носила, а я Нюрочку нянчил, так и отстал от школы.

— Значит, в няньках был...

На следующий день Федор принес старенький, измазанный чернилами букварь и начал со мной заниматься.

Наступила волжская зима с ее лютыми морозами. День за днем, неделя за неделей бушевали ветры. В доме было холодно. Накинув на плечи полушубок, сунув ноги в валенки, Федор с утра до позднего вечера сидел за столом и, забыв обо всем на свете, писал.

Когда я выучился грамоте, Федор дал мне прочитывать написанные им тогда, в лютом декабре 1921 года, рассказы «Смерть Ивана Андреевича» и «Сон Пахома».

Только весной 1922 года Федор окреп настолько, что смог снова включиться в жизнь и работу. Он написал рассказы «Катай», «О. Андрей», «Обмылышек», «Мигунчик», «Трактор» и повесть «Илим-город». В это время Федор понес тяжелую утрату: от сыпного тифа умер Леонид Столяров. Тяжело пережил Федор смерть любимого друга.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В конце 1922 года Федор переехал в Саратов и стал работать в газете «Известия», заведовал отделом «Наш край». Его редко можно было застать в редакции, почти всегда он был на «колесах» в глубинке. Любил бывать в знакомых селах и, как только представлялась возможность, заглядывал в Широкий Буерак, чтобы встретиться там со Степаном Огневым и Давыдкой Поповым. Результатом этих встреч явился очерк «Победители», который напечатала «Правда». Примерно в то же время Федор написал пьесы «Град», «Пахом» и «Бунт земли». Прослышав, что в селе Спаском бедняки организовали сельскохозяйственную ар-

тель «Новый путь», Федор тотчас поехал туда, прожил у Ивана Игнатовича и Софьи Ивановны Сысуевых более месяца и там же написал пьесу «Мужики» о классовой борьбе на селе. Пьесу эту Федор послал в издательство «Молодая гвардия», где она и увидела свет.

В том же году Федор написал цикл очерков «От деревенских полей», решил послать их в «Крестьянскую газету» и с волнением ждал ответа.

Однажды, вернувшись из командировки, Федор обнаружил на своем письменном столе письмо. Он осторожно вскрыл конверт, вынул из него небольшой листок, прочитал: «С рукописью познакомился. Срочно выезжайте в Москву. Воздвиженка, 9. Редактор «Крестьянской газеты» Яковлев».

Раздумывать было некогда. Через трое суток Федор уже был в Москве. С вокзала прямиком отправился на Воздвиженку. Найдя дом № 9, в нерешительности остановился у железных узорчатых ворот, затем пересек двор, толкнул тяжелую дубовую резную дверь, по каменным ступенькам лестницы поднялся в вестибюль и обратился к первому встретившемуся человеку:

— Мне бы товарища Яковлева.

Человек оглядел Федора:

— Его нет, но он скоро будет. Вы по какому вопросу?

Федор переступил с ноги на ногу, смущенно произнес:

— Из Саратовщины я.

— Уж не товарищ ли Панферов?

— Я самый...

— Тогда давайте знакомиться. Меня звать Петр Андреевич Казымов. Член редакционной коллегии...

Казымов увел Федора в свою комнату, усадил на стул, и у них завязался разговор о деревенских делах, которые одинаково волновали обоих. Казымов, душевный, простой в обращении человек, Федору понравился. Эта встреча положила начало их долголетней дружбе.

С трепетом Федор вошел в кабинет редактора «Крестьянской газеты» Якова Аркадьевича Яковлева.

— Значит, из Саратова? Чистейший волжанин?.. Это хорошо. Нам нужны люди, которые знают чаяния мужика. — Яковлев открыл ящик стола, достал оттуда потертую серую папку, не спеша развязал голубые тесемки.

Узнав свою папку, Федор вздрогнул.

— Хорошо тут написано, — сказал Яковлев и прочел вслух: — «Автор более трех лет работал в гуще деревенской массы как представитель партийно-советских организаций и как «безмандатный» человек. За последнее же время в связи с поворотом «лицом к деревне» ему довелось наблюдать работу на месте представителей губернии и уезда. Как эта работа отразилась на крестьянстве, как восприняли деревенские слои поворот «лицом к деревне», куда они пошли, — вот все это и побудило автора написать путевые наброски, то есть по мере сил показать хотя бы частицу лица современной деревни».

Яковлев взглянул на Федора:

— Значит, на корню брали материал?

— Шел по следам, можно сказать.

— Это мне нравится. Мой метод. Таким уполномоченным был и я, только на Тамбовщине. Даже написал книгу «Деревня как она есть». Почтайте, я вам ее дам.

— А я вам вот эту... — Федор, осмелев, положил на стол редактора тонкую книжечку — пьесу «Мужики». — Тоже жизнь. Советский быт деревни. Борьба нового со старым. События невыдуманные. У нас в Вольском уезде бедняки объединились в артель, назвали ее «Новый путь».

— Сельскохозяйственная артель?! — Яковлев удивился. — Да это же клад! Тут мы с вами, товарищ Панферов, союзники. Вы, как видно, хорошо знаете решение октябрьского Пленума нашей партии.

— Знаком. Жизнь крестьян меня волнует давно. А особенно с того дня, когда я услышал выступление Владимира Ильича Ленина на VIII съезде партии, в девятнадцатом. Тогда Ленин сказал — нам бы сто тысяч тракторов...

— Вот именно, сто тысяч тракторов! — Яковлев встал, прошелся по кабинету. — Нам надо усиленно пропагандировать все передовое в нашей деревне. Эту пьесу мы порекомендуем для сельской сцены, посодействуем также изданию книжки «От деревенских полей».

Беседа затянулась. Яковлев оказался ровесником Федора. Родился он в Петербурге, в семье мелкого служащего, окончил реальное училище, был студентом Политехнического института, семнадцати лет вступил в партию большевиков. Накануне Февральской рево-

люции 1917 года был арестован царской жандармерией за участие в демонстрации у Казанского собора. После Октябрьской революции выполнял различные задания партии. В двадцатых годах работал в Главполитпросвете ЦК партии в качестве заведующего отделом печати. А в 1923 году партия поручила ему организовать «Крестьянскую газету».

Федор жадно слушал Яковлева, и полной неожиданностью для него явилось предложение Яковлева сотрудничать в газете.

— Видимо, женат? — спросил Яковлев.

— Да, и уже двое ребят. Мотаюсь. Работаю-то в саратовской газете, а семья живет в Вольске. Трудновато.

— Но и тут, в Москве, нелегко, на квартиру не рассчитывать. Придется приспособиться.

— А как? — поинтересовался Федор.

— Днем письменный стол для работы, а ночью — постель холостяка, — рассмеялся Яковлев. — Если такой образ жизни устраивает, завтра же можешь приступить к работе.

Так Федор стал сотрудником «Крестьянской газеты». Здесь он впервые услышал имена поэта Василия Лебедева-Кумача, писателей Алексея Дорогойченко и Феоктиста Березовского. Но до поры до времени они были для Федора только новыми, ни о чем не говорящими ему именами, не более того, а редакционный быт показался ему скучным и однообразным.

— Тут и муха сдохнет, — с присущей ему прямоотой высказал свое впечатление Федор. — Канцелярщина. Не по моей натуре. Наверное, наше сватовство не состоится.

— Вижу, характер непокладистый, — решил Яковлев. — Но это мне нравится.

А Федор между тем продолжал гнуть свое:

— Как только устрою свои «Деревенские поля», немедленно махну в Вольск.

Не желая терять нового сотрудника, Яковлев подтвердил:

— Обязательно поедешь. Мы тебя и не собираемся держать тут... Непременно поедешь, но только не в Вольск, а в Астрахань. Нам нужен очерк о жизни рыбаков, а если получится книжица, тем лучше. Да что мне тебя учить, у тебя глаз острый.

В качестве корреспондента «Крестьянской газеты» Федор на пароходе доехал до Астрахани, а дальше путь его лежал в рыбацкий поселок Мумра, расположенный у берега Каспийского моря.

Рыбаки — народ твердый, дружный, трудились, не жалея себя, а кулаки, что держали лавки, драли с рыбаков втридорога.

Но вот в поселке появился посланец партии и народа Бессонов. Собрал он рыбаков, рассказал о кооперации, ее преимуществах. Выслушали его рыбаки, но ничему не поверили. Вышел вперед дед Архип:

— Обидеть тебя мы не хотим. А только скажи, любезный, почем что продавать будете? Сахар, к примеру, почем?

— Тридцать две копейки фунт, — твердо ответил Бессонов...

Федор вместе с рыбаками выходил в море, слушал их песни, подолгу беседовал с Бессоновым, удивлялся его энергии и настойчивости.

— Большевики никогда не отступают, — любил повторять Бессонов. — Задание губкома партии я должен выполнить. Не дадим, чтобы кулак три шкуры с рыбаков драг.

И действительно, Бессонов мало-помалу преодолевал настороженность рыбаков. Постепенно вокруг него сгруппировался актив. На кооперативных началах обогрудовали они магазин. Завезли товар. Бессонов на большом листе фанеры углем вывел крупно: «Сахар — 32 коп., масло — 20 коп., сатин — 31 коп.».

...В сентябре 1925 года Федор вошел в кабинет Яковлева, положил на стол рукопись «Береговая быль».

— В тебе я был уверен! — Яковлев обнял Федора. — Немедленно прочитаю. Иди погуляй.

Федор отправился к Казымову, но не успел рассказать о своей поездке, как его позвал Яковлев:

— Да ты, товарищ Панферов, молодец!.. Твой герой хорошо понимает, что лозунг партии «Лицом к деревне!» не просто лозунг, а программа действий. Спасибо тебе за «Береговую быль». Но и мы тебе тут приготовили сюрприз — назначили тебя редактором «Крестьянского журнала».

Федор, пораженный, стал возражать:

— Там же Феокист Березовский, чудеснейший человек, старый большевик, не могу я его заменить.

Яковлев пригладил усы:

— Феокиста Березовского партия посылает на другой участок, на укрепление издательства «Земля и фабрика», а тебя мы рекомендуем. Иди и принимай дела. Березовский ждет тебя уже целую неделю.

Действительно, Феокист Алексеевич Березовский ждал Федора. К тому времени Березовский был уже известным писателем. Омич, сын рабочего, он и сам с детского возраста зарабатывал на кусок хлеба сперва на спичечной фабрике, потом изведаль тяжкую долю батрака, работал маляром, наборщиком, служащим на железной дороге. Вступив в 1904 году в социал-демократический кружок, он связал свою жизнь с большевиками, в гражданскую войну работал в большевистском подполье в Сибири. В его доме находили приют бежавшие с каторги революционеры.

Печататься Березовский начал в 1900 году. Его перу принадлежат очерки о революционной борьбе, роман «Бабы тропы» — одно из первых в советской литературе произведений, посвященных женщине-крестьянке, ставшей сознательным участником революции, роман «В степных просторах» и повесть «Перепутья» — о большевистском подполье — и ряд других вещей. Ф. А. Березовский был одним из основателей журнала «Сибирские огни».

В начале двадцатых годов он переехал в Москву, а когда организовался «Крестьянский журнал» — это было в 1923 году, — стал заведовать редакцией этого журнала. В том же году издательство «Московский рабочий» выпустило сборник «Вехи Октября», в котором была напечатана повесть Ф. Березовского «Мать». Верный революционной теме, он отобразил в этой повести яркий эпизод подпольной борьбы в Сибири в годы гражданской войны. Небезынтересно отметить, что эта вещь выдержала девять изданий и была переведена на несколько иностранных языков.

Впоследствии Ф. А. Березовский много печатался в «Зифе», входил в литературную группу «Кузница», примыкая к тем писателям реалистического направления — Федору Гладкову, Николаю Ляшко и другим, которые не разделяли сектантских взглядов А. А. Богданова и его приверженцев, утверждавших классовую ис-

ключительность пролетарского литературного движения и невозможность участия в нем выходцев из других классов.

Березовский и Панферов часто встречались. В 1932 году оба входили в редколлегию журнала «Красная новь», ответственным редактором которого был Александр Фадеев.

Федору да и всем товарищам очень было приятно, когда в газетах сообщили о правительственной награде Феоктиста Березовского — его отметили орденом Трудового Красного Знамени.

Сын Феоктиста Алексеевича Березовского Борис, мой друг, с которым я учился в школе имени Радищева, много лет спустя рассказал мне, что в тяжелые дни болезни отец его попросил:

— Позови ко мне Федора Панферова.

Борис разыскал Федора, передал просьбу отца. И Федор помчался к больному Березовскому.

В свои последние часы жизни Феоктист Алексеевич Березовский позвал своих близких, сказал им прощальное слово...

В Омске в память Ф. А. Березовского его именем названа улица, а в доме, где жил писатель, создан литературный музей...

И вот из рук этого большевика-ленинца, замечательного человека, доброго товарища Федор Панферов в начале 1926 года принял «Крестьянский журнал».

Что представляла собой редакция? В комнате стояло несколько столов. Федору принадлежал самый большой. Днем он работал за ним, а ночью этот стол служил ему кроватью. Частенько Казымов подшучивал над Федором:

— Ты бы еще гвоздей набил, тогда бы и вовсе ничем не отличался от Рахметова...

За три месяца такой «жизни» — без семьи, на сухомытке — Федор измотался, похудел, глаза обвело синяками.

Работал Федор много, ему хотелось сделать журнал интересным, доступным, привлечь больше читателей.

— Мала, мала популярность нашего журнала, — говорил Федор секретарю редакции Михаилу Величко. — Что-то нам надо придумать, обязательно найти хороших писателей, поэтов, агрономов и печатать их выступления...

Подвижный, юркий, узколицый Величко предложил: — Давайте объявим так: «Ты хочешь получить бесплатный журнал?» — «Конечно, — ответит каждый, — хочу». — «Тогда приведи нам десять подписчиков, и журнал — твой...»

Федору предложение Величко понравилось. Он взял карандаш и написал **на листе бумаги**:

«Кто желает бесплатно получить «Крестьянский журнал»?

Конечно, всякий желает: и крестьянин, и учитель, и совработник, и кооператор, и избач, и почтовый работник, и многие, многие другие.

Что надо для этого сделать?

Собрать в своем селе 10 подписчиков».

Федор быстро пробежал глазами текст, подал листок Величко, распорядился:

— Набрать жирным шрифтом.

Такой метод вербовки читателей дал хорошие результаты: через год тираж «Крестьянского журнала» резко увеличился. Этому способствовало и то немаловажное обстоятельство, что в работе журнала стали принимать участие писатели Николай Ляшко, Павел Радимов, Михаил Исаковский, Феохист Березовский, Артем Весслый, Иван Шухов, Сергей Жданов, Алексей Дорогойченко, Федор Каманин.

Здесь же, в редакции, состоялась первая встреча Федора Панферова с Михаилом Шолоховым. Рассказ Шолохова «О Колчаке, крапиве и прочем» был напечатан в пятом номере «Крестьянского журнала» за 1926 год.

Как-то в редакцию зашел стройный застенчивый паренек.

— Вам кого?

— Мне бы...

— Смелее, — приободрили его.

— Стихи у меня.

— Это хорошо! — обрадовался Федор. — Издалека?

— Тульский, — отозвался паренек и назвал свое имя: — Иван Доронин.

Было у Федора удивительное умение слушать. Всякий человек был ему интересен, и вот этот неподдельный интерес и умение слушать помогали сближению его со многими молодыми начинающими литераторами. Так было и с Иваном Дорониным. И часа не прошло, а Федор

уже знал всю его жизнь. Был он крестьянского происхождения. Отец его, бедняк-безлошадник, в тридцать лет покинул деревню, ушел в Тулу, на оружейный завод. Когда Иван подрос, он тоже стал работать на заводе. После революции вступил в Красную Армию. С боями прошел Перекоп.

— Люблю писать стихи про землю, про мужика, про природу, — сказал он.

Иван Доронин стал постоянным автором журнала. Его напевные стихи о новой деревне нравились читателям. В те годы популярность Ивана Доронина среди сельской молодежи была велика.

Привлечь молодых, поддерживать их стало для Федора одним из определяющих принципов в его редакторской практике.

Литературная судьба многих советских писателей тесно связана с издательством «Московский рабочий», созданным в январе 1922 года Московским комитетом РКП(б) и Московским Советом рабочих и крестьянских депутатов. Основной задачей издательства было дать дешевую политическую книгу для молодых партийных кадров. Разумеется, «Московский рабочий» не мог не оценить и значения художественной литературы в воспитании советского человека.

Сюда, как на огонек, потянулись молодые пролетарские писатели. Со сборниками выступили литературные кружки «Рабочая весна», «Вагранка», «Вехи Октября». Издали сборник и уже известные писатели. В «Московском рабочем» в 1927 году впервые увидела свет «Роман-газета».

Издательство более трех лет выпускало возглавлявшийся А. Серафимовичем журнал «Октябрь», на страницах которого в 1928 году печатался роман Шолохова «Тихий Дон». В «Московский рабочий» приносили свои произведения Д. Фурманов, Д. Бедный, В. Маяковский, Н. Асеев, А. Фадеев, Ф. Березовский, Я. Шведов, И. Доронин...

Естественно, что сюда пришел и Федор Панферов. Произошло это вот при каких обстоятельствах. Состоявшийся в 1925 году Пленум ЦК ВКП(б), на котором стоял вопрос об оказании помощи крестьянам, о развитии кооперации на селе, выдвинул лозунг: «Лицом к деревне!». «Московский рабочий» объявил конкурс на лучшую крестьянскую книжку. Цель конкурса — выявить

крестьянских авторов и издать несколько лучших, наиболее близких массовому читателю книг.

Узнав об этом, Панферов задумался, перебрал свои заметки, записи и решил принять участие в конкурсе.

Представленный им рассказ «Огневцы», как и конкурсные вещи других авторов, читали в Доме крестьянина в Москве. После громкой читки присутствовавшие обменялись мнениями и даже написали письмо в издательство: «Мы, крестьяне Московской губернии, прочитав рассказ «Огневцы», признали его очень хорошим и подходящим для деревни. Написан просто и ярко».

Рассказ «Огневцы» — а всего на конкурс было прислано шестьдесят восемь рукописей — получил одну из первых премий и в начале 1926 года был издан. Это порадовало Федора, но одновременно и опечалило. Как же так?! На обложке было отпечатано «Ф. Парфенов». Федор чуть ли не с кулаками набросился на редактора рассказа Ивана Попова:

— Что же вы наделали!

Попов, не понимая, в чем дело, в изумлении смотрел на перекошенное лицо Панферова:

— Почему такое волнение?

— Смотрите, вместо «Панферов» напечатано «Парфенов», выходит, не мой рассказ.

Попов смутился. Действительно, как же это он, редактор, просмотрел: такая опечатка! Чтобы успокоить Федора, сказал:

— На титульном листе, смотри, стоит Панферов. Надеюсь, больше таких неувязок с твоей фамилией не повторится. Извини за недосмотр, еще не привыкли к новой фамилии в нашей литературе, надеюсь, это в первый и последний раз.

Через год «Московский рабочий» выпустил книгу очерков Ф. Панферова «В предутреннюю рань», а позднее — «Почему плохо живет в Якшинской коммуне».

На основе сюжета рассказа «Огневцы» Федор написал повесть и отнес ее в Огиз, где работал Дмитрий Фурманов, Панферов вспоминает об этом:

«Я не ждал, что встречу Фурманова, и сейчас ступал, однако не отрывал взгляда от его лица: что-то жизнерадостное светилось в нем, а лоб — высокий и какой-то квадратный, из-под нависшего лба выгля-

дывают большие и добрые глаза. У меня даже мелькнула мысль, что вот такими хорошими глазами он и покорила буйного Чапаева.

Перелистывая рукопись, Фурманов сказал:

— Зайдите ко мне через две недели, — и распростился со мной.

Я к нему зашел не через две недели, а через месяц, да и то не верил, что он смог за это время прочесть повесть. Но, войдя в его кабинет, увидел перед ним на столе рукопись «Огневцы» и заполненный договор. В договоре моя фамилия и фамилия Фурманова, размер — четыре печатных листа, двести пятьдесят рублей с печатного листа.

«Великолепно», — мелькнуло у меня.

А Фурманов, положив одну руку на рукопись, другую — на договор, произнес:

— Нам ваша вещь нравится. Вот и договор подписан, но... А вы садитесь, товарищ Панферов. Садитесь, садитесь, — повторил он, затем вышел из-за стола и заходил из угла в угол, посасывая погасшую трубку.

Я же водил за ним глазами, ничего не понимая, пугаясь этого фурмановского «но», а Фурманов остановился, наклонил голову, исподлобья в упор посмотрел на меня и сказал:

— Вы, товарищ Панферов, напали на очень ценную литературную жилу, но не разработали ее. Так, чуть-чуть, поверхностно ковырнули и результат своего ковырянья... хотя и хороший, поднесли нам. Мы его принимаем и договор с вами готовы подписать — в течение месяца-другого вашу повесть издадим. Но... — и опять заходил из угла в угол, а я уже обливался потом, окончательно теряясь.

Фурманов, видимо, находился в затруднении. Возможно, боялся спугнуть меня и в то же время желал помочь мне.

— Вы, товарищ Панферов, очевидно, читали про золотонскателей?

— Мамин-Сибиряк, Джек Лондон, например, — ответил я.

— Ну, вот-вот! — Фурманов даже обрадовался. — Помните, как там разрабатывают золотоносные жилы?

— Да, конечно.

— Так вот, дорогой мой, вы напали на хорошую жилу, она гораздо ценней золотоносной. Пишите ро-

ман и не перебегайте себе дорогу этой повестушкой. Берите шире! На такое нам, литераторам, народ дал право».

Как-то Яковлев спросил:

— Ты, Федор, не засиделся ли на месте?

— Меня хватит только до весны, — признался Федор. — А там не удержите. Вы видели, как идет испарина от земли? Нет? А я видел. — Федор прищурился. — Представьте себе: утро, взошло солнце, горячие лучи побежали к земле, и вот уже от нее тонкими струйками как бы поднимается испарина. Земля словно начинает дышать. Разве можно пропустить такое?

Яковлев улыбнулся:

— Вижу, что нельзя. Но теперь путь твой лежит не на Волгу.

— А куда?

— На Тамбовщину.

В первые весенние дни Федор уехал на Тамбовщину. Попав в село Воронцовка, он некоторое время пожил в колхозе, по своему обыкновению, сблизился со многими людьми и привез оттуда небольшую книжечку «На реке Цне».

В нее вошли зарисовки из жизни воронцовского колхоза — «На реке Цне», «Два года назад», «В избе Сабастьянова», «Ульянина жизнь», «Вовка-звонок», «Сухие ясли», «Митька Борзятник», «Плотина», «Надвигалась беда», «Теребок».

Среди множества людей его внимание привлек председатель Воронцовского сельсовета Павел Артамонович Козловский, человек своеобразный, огромного роста, большой силы и незаурядного ума. Они сдружились, и Федор целые дни проводил вместе с ним, внимательно наблюдая все то, чему оказывался свидетелем.

Потом Федор часто рассказывал об этом чудесном человеке. В образе Кирилла Ждаркина из «Брусков» воплотились многие черты внешности и характера Козловского.

Федор не раз бывал в Воронцовке, накапливая материал для романа «Бруски».

Позже Федор пригласил Павла Козловского в «Крестьянскую газету». Козловскому была поручена работа по приему ходоков-крестьян, он давал ответы на письма из деревни.

В мае 1926 года Федор получил письмо из деревни

Лопуховки, в нем была корреспонденция селькора Василия Дубровина. Называлась она «Красный хворост». Федор напечатал эту заметку в «Крестьянской газете». Затем газету послал Дубровину, сделав приписку: «Смотри, Вася, на одной полосе мы с тобой». Действительно, здесь же был напечатан очерк Ф. Панферова «Козловская республика».

В те годы в деревне происходили большие перемены. На поля пришел трактор... Рушились старые устои. В переменах, происходящих на селе, горячее участие принимал Дубровин. Он выступал на сходках, вел беседы, доказывал преимущества колхозов перед индивидуальными карликовыми хозяйствами. Появилось огромное желание все это записать, но, как это сделать, он еще не знал. Во время одной из встреч Федор ему порекомендовал:

— Лучшая память — карандаш.

Хороший совет Дубровин взял на вооружение. Особенно это пригодилось, когда он стал учительствовать в деревне Самодуровке. Сколько здесь было интересных людей! Тетради заполнялись одна за другой. И снова Дубровин послал письмо Федору, и в нем зарисовка «Два коллектива».

В начале 1929 года эта зарисовка была напечатана в журнале. Затем Дубровин написал рассказ «Пчелы-ки». Этот рассказ отредактировал и написал к нему предисловие Федор.

Тогда бурлила Самодуровка. Вместе со всеми крестьянами принимал участие в коллективизации и Василий Дубровин. На основе накопленных наблюдений он написал повесть «Конец Самодурихи». Она была напечатана в журнале «Октябрь» в 1931 году.

Осенью 1927 года в Москву приехал известный французский писатель коммунист Анри Барбюс. Советские люди хорошо знали Барбюса. Его роман «Огонь» пользовался огромной популярностью среди читателей во всем мире.

Барбюс любил нашу страну, охотно бывал на заводах, посетил и издательство «Крестьянская газета». Его интересовало решительно все. Внимание его привлекала яркая многокрасочная обложка «Крестьянского журнала». Барбюс попросил познакомить его с редакцией

журнала. Оглядев Федора, одетого в толстовку из плотного сукна, его заправленные в сапоги брюки, он через переводчика спросил:

— Из какого сословия?

Федор — также через переводчика — ответил:

— Вырос в деревне, в детстве образования не имел, одним словом, из мужиков.

Это Барбюсу, видно, понравилось, и он, перелистывая журнал, начал расспрашивать об авторах: что они собой представляют, каково их социальное происхождение. Прощаясь, он попросил разрешения взять с собой на несколько дней подшивку журнала, а на второй день прислал в редакцию письмо:

«Мне пришлось любоваться организацией работы в обширном доме, где наряду с другими журналами создается «Крестьянский журнал». Я оценил простую, но удачную и своеобразную форму этого скромного издания.

Но что больше всего поразило меня — это величие и красота задачи в целом, осуществляемой журналом, а также ее полезность, потому что красиво и велико в наши дни то, что одновременно полезно для масс. Эта работа ставит себе целью идти к крестьянину, чтобы пробудить в нем вместе с классовым самосознанием его ум свободного человека, выявить своеобразие, свежесть восприятия и выражений, которые в продолжение веков хранились в душе крестьянина. Ценнейшие произведения, которые в наши дни все более и более оцениваются и вызывают восхищение, доказывают это. В каждом крестьянине живет художник-декоратор, скрытый поэт и музыкант в зародыше. Задача заключается в том, чтобы предоставить возможность свободного развития этим творческим способностям, заключенным в нем благодаря общению с великой природой. Новый порядок этому содействует, и социальный режим, который дает трудящимся возможность, наконец, стать самими собой, дает ему также возможность полностью проявить себя.

Журнал, подобно вашему, сам создает себе сотрудников. Он их вызывает как бы из-под земли. Он дает им великие социальные лозунги. Он показывает им, что искусство будущего не есть буржуазное искусство, ис-

черпавшее себя в излишествах, утонченности и упадке. Новое искусство — это искусство простоты и массы, которое создало столько народных легенд, столько сказаний, столько красивых былин, искусство, отражающее величие сердца «маленьких людей».

Если говорят «пролетарское искусство», — это не значит, что достаточно быть пролетарием, чтобы быть художником. Литература, которой вы уделяете больше всего места в журнале, должна быть направлена знатоками. Самое главное не забывать, работая над литературной формой и техникой, ни подлинной жизни, ни поставленной себе цели. Ремесло писателя — это долгое и трудное ремесло, требующее упорной работы, неумолимой строгости к самому себе и подчас героического терпения. По этим тернистым путям вы ведете целое поколение молодых крестьянских писателей, вызванных журналом к духовной жизни, углубляющей и озаряющей их общественное бытие. Существование и даже сама форма вашего журнала открывает им эту высокую истину. Этим вы заслуживаете их благодарность, а также благодарность всей братской массы русских трудящихся; эти массы будут пользоваться талантами своих писателей, талантами, представляющими народное достояние.

Анри Барбюс

Москва

21 сентября 1927 г.»

Это письмо Анри Барбюса было напечатано в десятом номере журнала. Там же помещен фотоснимок, на котором был запечатлен Анри Барбюс с сотрудниками редакции.

Редактором «Крестьянского журнала» Федор работал до июня 1929 года. За эти годы он побывал в Тамбовской, Армавирской, Воронежской, Челябинской, Астраханской областях, бывал и на Украине, изучал колхозы, сопоставлял их работу, писал боевые корреспонденции, печатал их и в журнале, и на страницах «Крестьянской газеты». Заголовки его корреспонденций конкретны: «Через сдельщину к мощным, крепким колхозам», «Две коммуны», «Почему плохо живут в колхозах», «Бой на крестьянских полях», «За продуманную и четкую сдельщину...»

Статей о колхозном строительстве было написано так много, что можно только удивляться, откуда брались у Федора силы и напористость. А кроме того, он писал очерки, рассказы и уже усердно работал над первым своим романом «Бруски».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Следуя совету Дмитрия Фурманова, Федор вплотную засел за работу над романом «Бруски», развивая и углубляя повесть «Огневцы».

Место действия — большое волжское село Широкий Буерак.

Действующие лица: с одной стороны, бедняки-артельщики Огнев, Панов, с другой — кулаки Плакушев и Чухлов. Кирилл Ждаркин недавно возвратился с гражданской войны, бил беляков на Перекопе, многое повидал, а когда возвратился в родное село, то решил в одиночку показать мужикам, как надо вести хозяйство, чтобы оно было выгодно и давало большие урожаи.

Условий для работы у Федора не было никаких: ночевал он в редакции журнала, обедать и ужинать ходил в столовку, но это не тяготило молодого автора, было одно желание — писать.

Перед началом работы на листе бумаги Федор крупно вывел любимые слова из Верхарна: «Двери открой — или руки разбей» — и положил на видном месте.

С этого дня Федор ушел в мир своих героев. Он ощущал их, как живых, разговаривал с ними, спорил, доказывал, приводил примеры из жизни родной Павловки, когда люди из-за наживы становились оборотнями. Но автор всегда был на стороне Степана Огнева. Это он, Степан Огнев, несет в деревню свет и хлеб. И путь Огнева — коллектив, только в нем бедняк-крестьянин будет хорошо жить.

У Федора наступил творческий «запой».

Такие «запой» мне приходилось наблюдать. Писатель сидит часов десять подряд, никого не замечает.

К середине зимы было написано более половины романа. Федор поделился успехом с Казымовым. Внимательно выслушав, Казымов сказал:

— Добро, если дела идут в гору. Но посмотри, на кого ты стал походить? Скелет, и только, а не человек.

Не возражай, я за тобой давно наблюдаю, и мы с женой решили: приглашаем тебя к нам, хотя тоже живем на птичьих правах, но ужин имеем.

Федор вынул из среднего ящика письменного стола осколок зеркала, боязливо, одним глазом глянул, тихо сказал:

— Пустяк... Синяки. Пустяк. Скоро махну в Вольск, а там и в Павловку к родителям, мать парным молоком отпоит...

Казымов широко улыбнулся:

— Бряд ли до парного молока доживешь.

Федор вскочил со стула:

— Непременно доживу... — Ты знаешь, сколько еще работы, а это только начало, — показал он на исписанные листы.

Федор как-то сразу приободрился, и вроде синяки под глазами пропали, с таким азартом, с таким увлечением начал рассказывать обо всем, что переживал, что чувствовал, что видел...

— Может, будет две, может, будет три, может, четыре книги. Одним словом, многоплановый роман, — закончил Федор.

— Но ужинать все-таки надо, — вставил Казымов. — Пошли, — и он почти силой увел Федора в гостиницу «Националь», где с семьей ютился в небольшом номере.

Летом 1927 года первая книга романа «Бруски» была закончена. Положив перед собой рукопись, Федор вспомнил своего наставника Дмитрия Фурманова. Вот теперь-то он мог бы перед ним отчитаться и сказать: «Дмитрий Андреевич, ваш совет выполнил».

Но автора «Чапаева» и «Мятежа» уже не было в живых.

А кому показывать? Куда пойти?..

И Федор обратился в издательство «Московский рабочий», к редактору Александру Исбаху.

Александр Исбах был значительно моложе Панфёрова, но уже имел опыт редакторской работы. До этого он заведовал литературным отделом газеты «Рабочая Москва», каждую неделю организовывал литературную страницу. Был знаком со многими писателями и поэтами того времени. Сам писал рассказы и стихи. Часто бывал на Пресне в квартире Александра Серафимовича. Хорошо знал покойного Дмитрия Фурманова. Видимо

желая блеснуть всем этим, при первой встрече с Федором сказал:

— Мне Фурманов о вас говорил. Повесть «Огневцы» ему пришлась по душе.

Вначале Федор немного легкомысленно отнесся к редактору, решив, что этого он «обломает» сразу, но Исбах придирался к каждому слову, к каждой фразе.

Федор не вытерпел:

— Не очень-то кромсай! То, что я написал и как написал, не вырубишь топором. Знай это!..

Когда роман уже послали в набор, Федор встретил Ивана Попова. Тот пошутил:

— С моей легкой руки начал, Федя. Теперь фамилию твою не путают?

— Воюю за свою фамилию, — также шутя, ответил Федор.

В начале 1928 года первая книга романа «Бруски» вышла в серии «Новинки пролетарской литературы» и одновременно в «Роман-газете», которая также находилась в ведении «Московского рабочего».

На аванс гонорара Федор купил кооперативную квартиру, и мы стали жить в Хамовниках.

Нам здесь сразу понравилось. На плацу по утрам проходили занятия конников. Красноармейцы скакали на лошадях, ловко рубя шашками березовые лозы. Дальше виднелись деревенские домики, огороды, на которых жители Подмосковья выращивали огурцы, лук, картофель и все это продавали на ближайшем базаре Москвы.

Квартира состояла из двух комнат. Одна считалась спальней, а вторая — столовой и кабинетом Федора.

Как-то Федор принес стопку книг, сказал:

— Вот и наша радость!

Все мы, домашние, собрались около письменного стола и не могли наглядеться на стопку книг в зеленом переплете. Федор сидел в кресле, прикрыв уставшие глаза. Валя отправила его в другую комнату отдохнуть, а мне, погрозив пальцем, тихо сказала:

— А ты, Шура, иди с ребятами гулять.

Одевшись, тихо ступая, стараясь не шуметь, я с детьми Федора, Векой и Кимом, вышел на улицу. Гуляли мы часа четыре, изрядно промерзли, а когда возвратились домой, Федя уже проснулся. Не дав раздеться, подхватил Веку со словами:

— Теперь мы заживем!..

— Как заживем? Можно будет и кричать? А то все тише да тише, папа пишет.

Федор расхохотался:

— Можешь шуметь, когда меня нет дома.

— А-а-а... — разочарованно протянула Валя. — Я-то думала...

Ким исподлобья глянул на отца, спросил:

— Ты мне лошадь хотел купить, когда же это будет?

— Завтра, непременно завтра.

— Пока отцу костюм не купим, — вмешалась Валя, — никому ничего.

— Сроду меня обманывают, — захныкал Ким.

Федор приласкал сына, зашептал ему на ухо:

— Вместе пойдем.

На другой день Федору был куплен костюм. До этого он ходил в толстовке из грубого сукна, в сапогах.

Покупку развertyвали торжественно, как сейчас помню, разложили на диване пиджак, жилет, брюки, рубашку в полоску и галстук.

— Чудно! — пожал плечами Федор. — Лучше моей толстовки ничего нет. Не стану я носить этот костюм.

— Как не станешь? Ты же теперь писатель, а не павловский мужик.

— Это форма, — Федор кивнул на костюм, — а душой-то я остался павловским мужиком.

Федор все же надел костюм и вроде бы помолодел. Смеясь и балагурия, он зашагал по комнате, а мы гуськом, с шутками, шествовали следом за ним...

Федор намеревался послать роман Максиму Горькому в Италию, но постеснялся, считал, что у этого большого художника и без него дел много. Но вот в мае 1928 года Максим Горький приехал в Москву. Его тепло встречали на площади возле Белорусского вокзала. Затем Федор узнал о том, что Горький намерен посетить коллектив «Крестьянской газеты». «Хороший случай», — подумал Федор, собираясь на эту встречу.

Случайно об этом узнал и я.

— Федь, возьми меня, — попросил я.

— А скажи-ка, любезный, ты выполнил мой совет? — спросил меня Федор.

— Начал с первого тома, — гордо ответил я и, словно на уроке литературы, начал перечислять прочитанные мною рассказы и, желая убедить брата, что неплохо

знаю произведения Горького, наизусть прочитал «Песню о Соколе» и «Буревестника».

— Молодец! — похвалил меня Федор. — Придется везть тебя.

Чтобы сесть на трамвай, который шел в центр, надо было дойти пешком до Крымской площади. В этот раз Федор предложил прогуляться. Так мы и сделали и примерно минут через тридцать уже были на Воздвиженке.

Когда мы пришли в издательство, во дворе, в дверях толпились сотрудники: лица у всех взволнованные, возбужденные.

«Едет!.. едет!» — слышались голоса. И мы увидели высокую фигуру Максима Горького. Окруженный народом, он прошел в переполненный зал. Федор начал пробираться вперед, я устремился за ним. Вскоре мы очутились совсем близко от стола президиума и могли хорошо рассмотреть Алексея Максимовича. Я, что называется, глядел во все глаза. На многих фотографиях я привык видеть Горького с длинными густыми волосами, а теперь он был коротко подстрижен, и от этого выпирали уши. Лицо очень выразительное. Усы придавали ему строгость, и мне казалось, убери их — и сразу появится мягкая улыбка. Горький сутулился. Голос его звучал глухо.

Я так был поглощен разглядыванием Горького, мне так хотелось запомнить его облик, что я совершенно не следил за ходом его беседы с работниками издательства.

Потом Горький знакомился с жизнью издательства, прошел по редакциям журналов, а когда направился к выходу, Федор обогнал толпу, преградил ему дорогу.

— Дорогой Алексей Максимович, — неуверенно произнес он, — разрешите вам подарить... — и положил на ладони Горького свои «Бруски».

— Добро... Добро, непременно прочитаю, — пообещал Горький.

— Теперь ты видел, какой он? — спросил меня Федор, когда мы возвращались домой.

Переполненный впечатлениями, я не мог собраться с мыслями, что-то уж очень большое навалилось на меня, и поэтому я молчал, видимо боясь сказать что-либо невпопад.

Позднее Федор об этой встрече писал:

«...Зал забит сотрудниками газеты. За большим сто-

лом сидит Максим — тот, чьи произведения разошлись в Союзе миллионными тиражами. Он сидит за столом, и все взгляды устремились только на него.

Какой он?

Усы опущены, как у моржа. Лицо, особенно шея изрыты глубокими морщинами, а руки длинные, длинные и пальцы. Весь он — грузчик с Волги. Так и кажется, что сейчас он поднимется, сбросит с себя городское одеяние и, потянувшись, скажет:

— А ну, ребята, надоели мне все эти встречи. Давайте-ка лучше споем... «Вниз по Волге»... Хорошая песня, — добавит, густо, по-нижегородски ударяя на «о».

Подаренные Максиму Горькому «Бруски», видимо, были прочитаны. Это можно понять из его ответа на письмо Н. З. Федюниной, которая писала, что у нас нет романа о современной деревне. Горький отвечает, что такие книги есть: «Я могу назвать десятка два. А нашумевшие «Бруски» Панферова... О деревне пишут много и хорошо».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В начале лета 1928 года из Саратова от брата Алексея пришло письмо. Он писал: «Федор, мы собираемся к морю. Бросай все дела и айда с нами. Ты после выхода «Брусков» заслужил мирского покоя».

Прочитав это письмо, Федор сказал:

— Сроду не ездил на курорты... Может, махнуть?

А мы словно ждали этого слова «махнуть», еще не понимая, что такое курорт, с чем его едят, но радовались замечательной идее.

Сборы были недолгие. Поезд доставил нас в Новороссийск. Город показался нам сероватым, сдавленным такими же серыми горами. С левой стороны торчали трубы цементного завода, напоминая Вольск. Зато море — сине-черное море — очаровало нас и в то же время пугало, и даже казалось, что вот-вот вода поднимется и слижет нас, и этот город, и эти трубы.

И еще больше растерялись мы, когда сели на катер «Дооб». Морская болезнь многих буквально валила с ног. Где-то внизу, в кубрике, спрятались женщины и брат Алексей, а мы с Федором стояли на корме, подставив свои лица соленому ветру. Почти в молчании

прошло два часа. Но вот «Дооб» круто повернул налево, как бы нырнул в тишину Геленджика. Здесь наступил другой мир — вода тихая, блестящая от изобилия солнца, а воздух, казалось, звенел от спокойствия. Казалось, все тут смеялось от радости. Где-то в заросли садов виднелись дома, то голубые, то желтые, то красные. Тонкими ниточками, почти к самой воде сбегали узенькие улочки.

Совсем рядом от моря, в пяти минутах ходьбы, Панферовы сняли дом, в котором разместились все: Федор, Валя, их дети Века и Ким, Алексей, его жена Лиза, сын Сережа и я.

Начался отдых.

Но отдыхали-то, в полном смысле этого слова, только мы, подростки, а Федя и Алексей после утреннего купания и завтрака садились за работу. Федор уже писал вторую книгу «Брусков», а Алексей готовил диссертацию на соискание ученой степени. Он закончил Саратовский университет, преподавал в нем, написал несколько научных статей и объемистую книгу «Маркс и Энгельс о праве».

Валя же и Лиза торчали возле керосинок: готовили то завтрак, то обед.

Но иногда братья объявляли «выходной». Тогда семья Панферовых, от мала до велика, направлялась на берег моря. В один из таких дней мы решили побывать на Толстом мысе. Здесь крутой берег с опасным спуском, но зато открытое море.

Алексей ежедневно заходил на почту, чтобы купить свежую московскую газету. Однажды, появившись на морском скалистом откосе, Алексей прокричал, помахивая газетой:

— Федор... Луначарский!

— Что — Луначарский? — отозвался Федор, не понимая Алексея.

— Его статья о «Брусках»...

Федор выскочил из воды, быстро натянул на себя пижаму, сунул босые ноги в сандалии и побежал в гору, на ходу ладонью стряхивая с лица соленую воду.

Мы все побежали за ним.

— Статья Луначарского! — с одышкой повторил Алексей.

Кто из нас не знал Луначарского? Анатолий Васильевич — нарком просвещения, ближайший соратник В. И. Ленина, писатель, философ, публицист, знаток театрального искусства, музыки...

И вот его статья о «Брусках».

Руки Федора дрожали. Он взял газету и прочитал вслух:

— «Что пишут о деревне (о романе «Бруски» Ф. Панферова)». — Словно бы сомневаясь, полистал газету, добавил: — Воскресенье, 24 июня 1928 года.

Неожиданно для нас сел на землю, впился глазами в статью. А когда кончил читать, спросил:

— Сегодня что за день у нас?

— Четверг, — почти хором ответили мы.

— Четыре дня!.. — Федор вскочил. — Люди давно читают эту газету, а мы спрятались в зелени садов. Стыдно... Я должен ехать в Москву.

Подойдя к дому, немного остыв, Федор попросил:

— Леня, еще ты прочитай-ка вслух.

Удобно расположившись на небольшой аккуратной терраске, мы стали слушать.

«Интерес к деревне, — писал Луначарский, — у нас обострен до чрезвычайности. Она интересует нас, конечно, отнюдь не меньше, чем в те времена, когда о ней писали Успенский, Златовратские, Мамины и Каренины.

О деревне пишут очень много. Пишут и статисты, и публицисты, и сельскохозяйственники, пишут и всякого типа, и всякого таланта беллетристы.

Пожалуй, если собрать всю нашу литературу о деревне, в частности художественную литературу, то получится преизрядный процент всех книг, посвященных современности...

А вот у Панферова есть вся правда. В этом самая большая ценность его романа.

Это, конечно, роман. Художественное произведение.

Но это есть также реляция из деревни. Описанное поле борьбы, учет опыта, урок. В этом отношении Панферов вытекает из Фурманова. Его роман — книга очень серьезная. Ее нужно изучать. На ней надо учиться. Именно работнику, который соприкасается с деревней или может пойти в непосредственное с нею соприкосновение...

...Отмечу еще, что подчас эпизоды и связь их между

собой страдают некоторой искусственностью, которая, по-видимому, объясняется жадой фактов.

Однако это молодое увлечение Панферова несколько не заслоняет в нем очень крепкого живописца слова. А так как этой живописью пользуется молодой мастер, преследующий цель — сказать нам правду о жизни, правду полную, правду честную, горькую, но в конце концов бодрую, то мы не можем не приветствовать появление Панферова в рядах нашей быстро растущей пролетарской литературы».

Мы остались в Геленджике, а Федор с первым рейсом «Дооб» отплыл в Новороссийск, а оттуда в Москву.

О «Брусках» Луначарский высказывался неоднократно, например в докладе на Всероссийском съезде крестьянских писателей в 1928 году, в обзоре «Литературный год» («Красная панорама», 1929, № 1), в лекции «Русская литература после Октября», в ответе на анкету «Огонька».

27 октября 1928 года на вечере комсомольских писателей и поэтов в Красном зале МК ВКП(б) А. В. Луначарский, анализируя процесс развития молодой советской литературы, сказал: «Например, такое замечательное произведение, как «Бруски» Панферова, в которых начато подлинно художественное исследование важнейшего фактора нашей среды — деревни, относится к комсомольским произведениям. Может быть, товарищ Панферов — человек, переступивший собственно комсомольский возраст; но поскольку это произведение нужно отнести за счет давней подготовки, происходившей, несомненно, в комсомольском возрасте, можно поздравить комсомольскую литературу с таким произведением». В газете «Литература и жизнь» № 108 за 1961 год опубликован текст предисловия Луначарского к изданию «Брусков» для иностранных читателей. «В нашей литературе, — говорится в нем, — пока нет беллетристических произведений, которые так глубоко заглядывали бы в процессы, происходящие в многомиллионной нашей деревне... Всякий, кто понимает мировое значение нынешней борьбы коммунизма за преобразование деревни, за изменение всех основных законов ее развития, прочтет роман Панферова с самым трепетным вниманием».

То в одном, то в другом журнале, в газетах появля-

ются статьи: «Бруски» — творческий метод Ф. Панферова», «Бруски» Панферова и творческий метод пролет-литературы».

По первой книге «Брусков» была написана пьеса и поставлена в первом Рабочем театре московского Пролеткульта. Театр этот находился на Чистых прудах в помещении, переданном теперь театру «Современник». По всей Москве висели афиши, возвещавшие о спектакле «Бруски». Интерес к пьесе был огромный. Журнал «Жизнь искусства» 13 мая 1929 года подчеркивал: «...и если до сих пор тема классовой борьбы в деревне трактовалась обычно в упрощенной «массовости» схематики, то здесь эта тема воплощена в глубоких человеческих образах — здесь она становится плотью, кровью и страстью драматического персонажа».

Почти одновременно пьеса «Бруски» была поставлена в Ленинграде, Ульяновске, Туле, Курске, Воронеже, Брянске, Смоленске, Минске, Баку и Грозном.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

После выхода первой книги «Брусков» Федор Панферов включился в работу РАПП. В январе 1929 года он был введен в члены редколлегии журнала «Октябрь», редактором которого был Александр Серафимович.

При встрече с Панферовым Серафимович сказал:

— Хочу тебя, браток, ближе знать... Твой роман «Бруски» читал... Своеобразен... Но поверь мне, старику, клевать тебя будут... Не читатели, а критики. За что? Найдут... Саратовская деревня у тебя выпирает. А это и хорошо и плохо. Но ты свой, не походишь на других писателей. Неприлизанный...

С первого взгляда Федору показалось, что Серафимович сейчас начнет по частям «раздирать» роман «Бруски», и он насторожился, готовясь к этому.

Видимо заметив перемену в лице Федора, Серафимович тихо, ласково продолжал свой разговор:

— Ты особенно критиков не бойся. На то они и критики... Иди своей дорогой. Если тебя похвалил сам Луначарский, то, значит, роман нужен.

Федор облегченно вздохнул и, осмелев, сказал:

— С детства я не привык, чтобы меня гладили по голове... Больше подзатыльники получал...

Серафимович просиял, глаза его загорелись огоньками, на мгновение исчезли складки меж бровей. Он засмеялся:

— Это добро, подзатыльники... Злость в тебя вбивали!

— Видимо, да, — согласился Федор. — Учили уму-разуму.

Как-то незаметно Федор поделился своими воспоминаниями о детских годах, как он жил в мальчиках у купца, а уходя от Серафимовича, подумал: «На него надо держать равнение, в нем много фурмановского».

С каждым днем у Федора все больше и больше становилось друзей-литераторов. Все они посещали нашу квартиру, запросто их принимал и Федор.

Хорошо помню Александра Фадеева — русого, высокого, стройного. На нем рубашка со множеством пуговиц — от самого подбородка, узкий пояс с металлическими застешками. Его «Разгром» был очень популярен, часто можно было слышать о том, что Фадеев в своем творчестве идет от Толстого. Как это — хорошо или плохо — нам, молодым, было непонятно.

Федор более чем кому-либо симпатизировал Саше Фадееву.

Часто бывал у нас Михаил Шолохов. Он обычно носил свою неизменную кубанку. В комнату входил тихо, устраивался возле письменного стола и оттуда обзирал всех ясными глазами. В это время Шолохов уже написал сборник рассказов и первую книгу романа «Тихий Дон». Читатели и критики высоко оценили дарование молодого писателя. О его творчестве много говорили в РАППе. Но сам он вроде не слышал этого шума, жил на Дону, изредка появляясь в Москве.

Как глыба вваливался в квартиру красивый, с черной окладистой бородой Михаил Алексеев, автор романов «1917» и «Большевики». Его голос гудел:

— Принимай гостя, Федя... Люблю я эту писательскую братию. Есть в ней что-то неповторимое. Вроде мы все разные, а по натуре однокашники.

И так весь вечер Алексеев неугомонно что-то говорил, рассказывал, поглаживая ладонью бороду.

Появлялся Николай Богданов, совсем еще молодой писатель, но уже известный по повести «Первая девуш-

ка» — одному из любимых произведений нашей молодежи того времени.

Заходил Юрий Либединский. Клинышком борода, как у мушкетера, густая копна кудрявых волос. Он подвижен, быстро реагировал на любую реплику.

В кругу литераторов находился и молчаливый Миша Платошкин. Как-то даже не верилось, что он пишет рассказы и повести. Однако Платошкин лучше многих знал жизнь рабочих, так как он сам совсем недавно был рабочим завода «Динамо». В 1922 году стал посещать литературный кружок при Рогожско-Симоновском райкоме партии. Там же он написал свой первый рассказ «За хлебом», который вошел в сборник «Вальцовка» и вышел в свет в «Московском рабочем». Затем в 1925 году Платошкин написал повесть «Новобытное». Особенно хорошо был встречен роман Платошкина «В дороге», посвященный жизни заводской молодежи.

Старше других выглядел Василий Ильенков, но это было только внешне — седая копна волос на голове, темные очки, а Василий Павлович был в тех же летах, что и его товарищи. В литературу он вошел своим рассказом «Аноха». Так же, как и Платошкин, он хорошо знал жизнь рабочего класса. Это помогло ему написать роман «Ведущая ось». О романе много писали, много говорили, спорили.

Совсем молодым был Яков Ильин. Работая в газете «Комсомольская правда», он часто выезжал на стройки, особенно подолгу жил в Сталинграде, на тракторном заводе. После этих поездок много рассказывал о том, что видел. Федор ему советовал:

— Пиши роман, пиши...

И роман был написан. Главы «Большого конвейера» читались среди друзей. Но роман из печати вышел только после неожиданной смерти писателя в 1932 году. В одной из поездок Яша заболел воспалением легких и умер.

Другом дома был Яков Шведов. В то время писал он и стихи и прозу. Мне запомнились его повести «Юр-Базар», «На мартенах», рассказ «Берлинская лазурь». Много лет спустя он написал слова песни «Орленок». Теперь песня эта стала почти народной, ее поют от малого до старого. Часто слышатся по радио его песни «Смуглянка», «Рос на опушке рощи клен...», «Не улетай, лебедушка», «Отъезд партизан» и многие другие.

На столе появляется большая белая кастрюля. Почти под потолок поднимается седой, вкусный пар. Разговор мгновенно исчезает. Широкими удивленными глазами все смотрят на кастрюлю, как на необыкновенное чудо века.

— Ого-го! — у кого-то вырывается.

Потирая ладони, причмокивая, писатели садятся за стол, кто пошустрей, тот занимает удобное место.

Возле кастрюли орудует Федя. Кладя пельмени в тарелки, приговаривает:

— Какова еда да питье, таково и житье!

Теперь пар уже струится от каждой тарелки.

Дуют на пельмени, но все равно едят. Едят молча, сосредоточенно.

Кто-то спрашивает:

— Видимо, сибирские?

— Волжские, — вставляет Саша Фадеев. — Федя — саратовский, если мне память не изменяет.

Как было интересно наблюдать за этими людьми! У каждого свой характер, голос, манера вести себя. Я с увлечением слушал их рассказы. Я завидовал им и гордился, что нахожусь среди них.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Почти каждую субботу у нас собирались писатели. Но это было не просто праздное времяпрепровождение. Тут делились своими мнениями о вышедших книгах, спорили по вопросам творчества. Все тут было основано на откровенности, доброжелательности к труду товарища.

Федор читал главы из второй книги «Брусков». Надо сказать, что вторая книга давалась труднее. Дело заключалось в том, что если в первой книге показывались только слабые ростки коммуны «Бруски», люди показаны уходящими своими корнями в психологию прошлого, то во второй книге уже следовало дать полнокровную жизнь коммуны, победу добра над злом. А как это должно быть? Выдумывать, предполагать автор не мог да и не имел права...

Жизнь коммуны невозможно показать без влияния на нее социалистического строительства в городе. Дервня была накануне великого перелома, Федор это по-

нимал. Куда должна идти деревня, было ясно: коллективное хозяйство — единственный путь выхода мужика из нужды. Но вот как организовать хозяйство, как оплачивать труд? Тут было много неясности и даже путаного, и не только на местах. Тема оплаты труда в коммунах и колхозах не давала покоя Федору. По этому вопросу Панферовым были написаны статьи «План или авось», «Наплеватели», «Путь крестьянского хозяйства», «Две коммуны», брошюры «Почему в одной коммуне живут лучше, а в другой хуже», «Почему плохо живет-ся в Якшинской коммуне». Эти брошюры вышли шестью изданиями.

Федор мучился.

А читатель в письмах требовал вторую книгу «Брусков».

Федор был вынужден в «Роман-газете» выступить с письмом к читателям. Оно начиналось так: «Меня читатели спрашивают, почему до сих пор не печатается вторая книга «Брусков» в «Роман-газете».

Вторая книга написана была еще год тому назад, но я чувствовал, что все это еще не то, что нужно дать. Зная деревню, часто выезжая в нее, я все-таки решил «пощупать» жизнь собственными руками и в мае 1929 года поехал в Поволжье, в село Лопуховку, и приступил к организации коллективного хозяйства. На этой работе я провел около трех месяцев и вкусил жизнь деревни по-настоящему. Это и задержало выпуск второй книги.

Теперь я вторую книгу закончил, она прошла в журнале «Октябрь» и сдана в издательство «Московский рабочий» для «Роман-газеты».

И на это письмо пошли ответы. Хочется напомнить некоторые из них:

«Бруски» — это захватывающее произведение — интересно своим правдивым содержанием и своими характерными для наших дней героями».

«Слушателей была — полная изба. И все крестьяне, крестьянки — и неграмотные и малограмотные. Читал я им вечером до 1 часу ночи, и они просили читать еще и еще. А после говорили о Степане Огневе, Кирилле Ждаркине, о женщинах. Значит, эта книга ценна, интересна даже и тем, которые только вчера научились читать и писать».

Комсомолка М. Буремная свое письмо озагла-

вила: «Где же молодежь». Упрекает автора, что он мало и бледно показал сельскую молодежь.

Преподаватель литературы ШКМ (школа колхозной молодежи) Ф. Н. Павлов писал: «Будем учиться у ваших героев строить новую деревню».

Рабочий стекольного завода сказал: «За эту книгу Вам большое пролетарское спасибо. Желаем, чтобы Вы в дальнейшем росли и были нашим понятным, родным писателем».

Ф. И. Недугов из Ивановской области писал: «Читая Вашу книгу, я вижу в ней свою жизнь, и поэтому я не могу ее не ценить».

У нас дома столько было писем, что для них не хватало места. И Федор все их читал, находил в них и доброе и критическое.

Федор обратился к читателям со вторым письмом.

Вскоре начали проходить встречи читателей с автором «Брусков». А Московская ассоциация пролетарских писателей организовала по роману диспут. Читателей на этот диспут собралось много. Тут были и литкружковцы, и маповцы, и «кузнецы», и представители других литературных течений. И каждый из выступавших к оценке романа подошел по-своему.

Открывая диспут, один из критиков сказал:

— Роман Панферова после выхода в свет его второй части стоит в центре нашей творческой дискуссии. «Бруски» находятся на столбовой дорожке пролетарской литературы.

Владимир Ставский подметил:

— Панферов мыкается по нашей стране не как наблюдатель, подобно бесчисленному количеству очеркистов, он ездит для того, чтобы в «Брусках» проверить смелые опыты по организации внутренней жизни...

Начался спор. Горячий. Бурный.

Федор слушал, делал пометки в блокноте, думал, подбирал слова и, как обычно, выступал последним.

«Во-первых, товарищи, — говорил Федор, — разрешите отвести всякую возможность спекулировать на том, что я сам считаю «Бруски» столбовой дорожкой пролетарской литературы. Мы еще не можем утверждать, что вот такое-то произведение является нашим знаменем. Напротив, мы все, писатели, и я в том числе (если смотреть на пролетлитературу с точки зрения исторической перспективы), все мы еще находимся в колыбели.

Конечно, я этим не приbedняюсь и не умаляю значения нашей литературы на сегодняшний день, ибо я знаю, что пролетарская литература сегодня уже стала фактом».

Федор говорил, что у него имеется более полутора тысяч отзывов на первую книгу «Брусков». Они разные: и добрые и недобрые.

«Я вот припомнил, как однажды с братом мы наняли крестьянина Морковкина свезти нас в город и обратно. Когда мы выехали за село, я повел с Морковкиным разговор. Спрашиваю его, указывая на загон пшеницы:

— Сколько пудов такая пшеница дает с десятины?

— А кто ее знает, — ответил Морковкин, — может быть, больше, может быть, меньше...

— Все-таки?

— Что все-таки? А кто ее знает. Ее надо допреж сжать, потом свозить, смолотить, в амбар ссыпать, да и то, кто ее знает...

И как я его ни расспрашивал, и о чем бы ни расспрашивал, он ни на один вопрос нужного мне ответа не дал.

— Вот так булыжина! — невольно вырвалось у меня, и я отвернулся.

Заметьте, это мое первое впечатление от Морковкина.

Едем дальше. Вечер. Собрались тучи, грянул дождь, дорога превратилась в сплошную топкую грязь. Морковкин куда-то свернул, а нас затрясло так, что глаза ползли на лоб.

Кричу во тьме под проливным дождем:

— Морковкин, да что ты за дорогу выбрал! Тут весь растрясешься, и кишки растеряешь!

— Да я ж не по дороге еду, — отвечает, — а по ша-ше. Вот Советская власть налоги берет, а шашу не чинит... По такой шаше только пленных возить.

«А-а-а! — мелькнуло у меня. — Противник Советской власти, всюду норовит ее прихлестнуть».

Заметьте, это мое второе впечатление.

Утро. Приехали в город. Мы Морковкину сказали, чтобы он приехал за нами на постоянный двор (он отправился на базар). Сделав свои дела, мы вернулись на постоянный двор. Морковкина нет. Тогда я отправился за ним. На базаре в мучных, хлебных рядах нашел его лошадь. Вскоре заметил и его. Он почему-то часто отбегал от своей лошади, терся у других телег, как теле-нок о плетень, потом опять подходил, отвешивал поку-

пателям пшено и опять отбегал. Я приблизился и заметил, что Морковкин бегаёт от агента по сбору за места. Но тут его агент накрыл, вцепился в ворот Морковкина и заговорил:

— Ты долго будешь меня мучить? Давай за место сорок копеек!

— Да где взять? — взмолился Морковкин. — Где взять? Вот продам и получай.

— Ты который раз мне это говоришь: «Вот продам и получай». Ты уже почти все пшено продал и все — «отдам». Давай, ну! — и потрянул Морковкина.

— Ты не трепли... Не трепли! — закричал Морковкин. — Не трепли!

— Давай, а то в милицию отправлю! — приказал агент и поволок Морковкина.

Морковкин расправил плечи и полным голосом бросил агенту:

— Ты что? Ты что руки прикладываешь? Что это тебе, старый режим, что ль?

Этим словом — неожиданным — он даже остановил агента.

«Ага, Морковкин, оказывается, против старого режима», — мелькнуло у меня, и я, смеясь, ушел на постоянный двор.

Заметьте, это мое третье впечатление.

На постоялом дворе мы долго ждали Морковкина, сидя под навесом сарая. Вот он въехал во двор и, не заметив нас, вынул из телеги кулек с сахаром, достал из кулька большой кусок, сунул его в рот и начал грызть, приговаривая:

— Эх, жесткий пошел, и Советская власть умеет дела делать. Вот она какая!

«Ого! Морковкин за Советскую власть!»

Заметьте, это мое четвертое впечатление от Морковкина.

Как писать о Морковкине? Делать его отрицательным? Неверно. Делать сразу положительным? Тоже неверно. Надо изучать человека, посмотреть на него со всех сторон, найти в нем такие положительные явления, которые в конце концов победят все отрицательное. Дело это непростое. С первого знакомства трудно раскрыть человека, можно ошибиться. Стандарта тут не может быть. Вот почему мы, — закончил свое выступление Федор, — практики литературного движения, гово-

рим: чтобы писать о наших днях, надо собственными руками перекопать жизнь».

Немного времени спустя на основании материала диспута Федор написал статью «О крысиной любви и прочем», которая была напечатана в «Литературной газете», в журнале «На литературном посту» и в журнале «Октябрь».

В печати (1928—1930 годы) было опубликовано более 1500 рецензий и отзывов. Проводились громкие читки, беседы по «Брускам».

Вот как вспоминает об этом периоде писатель Георгий Марков.

«В тридцатые годы, — пишет Марков, — по путевке комсомола я поехал в далекое Причулимье, в тайгу, агитировать за колхозы. Здешние деревни и заимки бурлили, как таежные ручьи в вешнее половодье...

Помнится, в один зимний, по-сибирски морозный вечер приехал я в деревню Николаевку. Первым делом направился в народом... а там народу битком набито. На сцене, сколоченной из толстых кедровых плах, избач Иван Свиридкин с книгой в руках... На скамейках мужики, бабы, молодежь. Никто не шелохнется. Тихо... Лампешка, водруженная перед избачом на высоком чурбаке, помаргивает, разливает неяркий керосиновый свет. На лицах людей то удивление, то боль, то усмешка, то раздумье.

...Читка закончилась только в полночь. Люди хлынули через скрипучую дверь на улицу, я подошел к избачу:

— Что за книгу ты читал, Ваня?

Иван закрыл книгу, с гордецей поднес ее к моим глазам:

— Это не книга, а снаряд против старой жизни. Самым закоренелым единоличникам душу разворотила...

Я прочел на обложке: «Федор Панферов. «Бруски».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

23 апреля 1932 года было принято постановление ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций».

Литераторы стали плодотворно работать под руководством великого писателя Алексея Максимовича

Горького. Образовался оргкомитет по созыву первого съезда писателей, куда был введен и Федор Панферов.

В сентябре 1932 года наша страна широко отмечала сорокалетие литературной деятельности Горького.

Этому событию «Правда» посвятила шесть газетных полос. В правом углу первой полосы были крупно набраны слова В. И. Ленина: «Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению». Ниже: «Великому пролетарскому писателю Максиму Горькому — большевистский привет».

Газета напечатала приветствия юбиляру партийных, советских и общественных организаций. Со статьями выступили писатели В. Ставский, Вс. Вишневский, В. Ильенков, П. Павленко, Ромен Роллан, Анри Барбюс.

Вечером 25 сентября в Большом театре состоялось торжественное заседание, на котором М. Горькому была вручена высшая награда нашего государства — орден Ленина.

Нижний Новгород, в котором родился великий пролетарский писатель, был переименован в город Горький, имя Максима Горького было присвоено Центральному парку культуры и отдыха в Москве, главную в то время магистраль столицы — Тверскую улицу переименовали в улицу Горького, начался сбор средств на агитсамолет «Максим Горький».

Все эти бурные события переживались и в нашей семье, то и дело звонил телефон, спрашивали Федора.

— Его нет, — терпеливо отвечал я.

— Это из «Правды»? Понимаете? Из «Правды»? — настойчиво говорил голос в трубке. — Нам нужен Федор Иванович.

— Его нет, — повторял я.

— Скажите ему...

Федор приехал обедать, я сказал ему о настойчивом звонке из «Правды».

— Да ведь статья давно у них, — ответил он.

Через день, 27 сентября, «Правда» напечатала статью Федора Панферова «Поваренок. Пекарь. Мировой боец».

«...Помню: северокавказские степи, утро, и в трепетной прозрачности утра, будто совсем недалеко за горами, виднеется раздвоенная седая макушка Эльбруса, — писал Федор. — Кажется, она совсем близка, стоит толь-

ко вот пересечь вот те хребтины гор. Но до Эльбруса двести — триста километров. И Горький — он вот такой, будто и совсем простой. Человек как человек: веселится, говорит глухо, грубовато, ударяя на «о». И в то же время как далеко до него, на какое огромное пространство виден он — на весь земной шар.

Вот он сидит перед нами, молодыми советскими писателями, — высокий, с длинными пальцами, так и кажется — этими пальцами он прощупывает жизнь, как хирург прощупывает внутренности человека. И морщины на лице, на шее глубокие, как будто надрезы. Такие морщины у волжских грузчиков. Сидит перед нами и говорит с паузами, с предышкой, подбирая слова, взвешивая их, во время паузы пыхая папирсой...

Когда читаешь его или слушаешь в личной беседе, то поражаешься кругом его интересов, обширностью его знаний. Он интересуется и политикой и астрономией, новыми техническими изобретениями и новыми способами лечения в медицине, и тем, что творится в Арктике... Он знает умы Европы, Азии, Америки. Он вот так выкладывает перед тобой весь мир, сидит за столом и, как могучий властелин, раскладывает этот ученый мир, созданный веками, великой деятельностью человеческого мозга, и, схватив сердцевину учения того или иного мужа, отводит ему определенное место, говоря при этом о схоластиках с легкой усмешкой, как говорят мудрецы о наивных оппонентах, а иногда у него глаза загораются, и он начинает говорить с жаром, с великой ненавистью, зная, что учение капиталистического мира своими доктринами держит миллионы умов, забрасывая их хламом, мишурой — липкой, как липкий вишневый клей.

Горький мудр. Он эту мудрость черпает из книг. Он любит читать. Чтение книги — мое любимое занятие, говорил он в одном месте. Хорошая книга волнует его, берedit, вдохновляет. Он эту мудрость черпает через опыт, практику миллионов трудящихся, отражая ее в высокохудожественной форме, помогая рабочему классу всеми силами, всеми мерами отыскивать наилучшие методы борьбы. Он жизненную мудрость с жадностью начинает черпать еще в те дни, когда был фельетонист самарской газеты, и через эту «окаянную работу», как он впоследствии назвал ее, он внедрился в жизнь, впитал ее соки в себя... Он выступал против царского пра-

вительства, бичуя его за расстрел демонстрации рабочих 9 Января, и, сидя там, в тюрьме, за решеткой, он и оттуда, не дрогнув, продолжал бичевать царских палачей, ожидая суда, желая суда — суда злостного, где он смог бы высказать все, что накопилось в нем, что он думал — о капиталистическом мире, о царе православном, который расстреливает у себя под окном мужчин, женщин, детей...

Ничто не сломило Горького.

Да, это великий человек. Таких людей создает эпоха».

Юбилей Горького положительно повлиял на ход развития всей советской литературы. В его доме всегда было многолюдно. Здесь часто бывал и Федор Панферов.

Федор читал и перечитывал сочинения Максима Горького, учился у него мастерству.

В это время Федор писал третью книгу «Брусков», дав ей название «Твердой поступью». В ней он хотел показать уверенную поступь нашей страны, показать построение нового социалистического общества, окончательную победу колхозного строя. Этим жил и сам автор. Как-то газета «Правда» опубликовала карту, на которой помечены гиганты пятилетки. Рассматривая эту карту, Федор, обращаясь к товарищам, спросил:

— Где мы еще не бывали?

С каждой минутой беседа оживлялась, начали вспоминать о своих поездках. Каждый мог о многом рассказать. И это было вполне естественно. В нашей стране не было ни одного равнодушного писателя, который создавал бы произведение, сидя в своем кабинете. Причем многие писатели подолгу жили на стройках, в гуще народной жизни, познавая людей.

— Меня интересует новый способ добычи нефти, — сказал Исбах.

— А я снова поеду на тракторный, — заявил Безыменский.

— Но ты же на Днепрострое должен быть? — посмотрел на Безыменского Панферов.

— И там буду, непременно буду.

Федор задумался, видимо что-то вспомнив, а затем сказал, обращаясь к Исбахе:

— Мой отец работал на нефтепромыслах капиталиста Нобеля. Теперь этого капиталиста не стало. Хозяин нефти народ... Поезжай, Саша, туда, расскажи об этом на страницах журнала.

И как-то непринужденно из писательского актива журнала образовалось несколько бригад, которые вскоре разъехались по стране. Сам же Панферов вместе с Ильенковым направились на Курскую магнитную аномалию. Побывав на шахте имени Губкина, написали очерк «Разбитая легенда». Очерк был напечатан в «Правде».

Только Федор возвратился в Москву, к нему зашел Павел Артамонович Козловский. Он уже закончил рабфак и теперь учился в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

— Паша! — встретил его Федор. — Ты совсем зазубрился.

— Оно верно, — тихо ответил Козловский. — Что верно, то верно... Легче было бы лошадь на руках поднять, чем одолевать науки. Ой как тяжело! Не наше это ремесло, Федор Иванович, не крестьянское.

Федор неожиданно сказал:

— Паша, катнем на реку Цну, рыбешки половим. Ты ведь ущицу страсть как любишь.

— Можем, мы все можем, Федор Иванович, нам только команда нужна, — ответил Козловский.

— Команда будет, Паша.

Так вот по команде на следующее утро они и уехали в Воронцовку. Здесь, на воле, на берегу речки Цны они становились взрослыми детьми. Бултыхались в воду, затевали борьбу, смеялись, шутили. Конечно, Цна — это не Волга, а все-таки речка.

Так беспечны они были в часы отдыха. А в другое время дня Панферова можно было увидеть в поле, среди колхозников. Внимательно смотрел он на комбайн, следил, как идет уборка хлебов, как бежала золотая струйка зерна. А главным для Федора был человек, он хотел понять и уяснить, лучше стал жить мужик или хуже, какие у него теперь заботы. Раньше убирали хлеб вручную, каждый на своем загоне, в одиночку, а теперь — коллективно, раньше каждый обедал под своей телегой, а теперь — общая повариха. Вместе с мужиком

думал о новой жизни и Федор, прикидывал, примерял. В одном таком разговоре мужик сказал:

— Душа на место встала.

Федор ухватился за эти емкие слова. Написал очерк «Душа на место встала» и послал его в газету «Правда».

Как-то позвонили из «Правды».

— Конечно, поеду. Быстрее машину... — распорядился Федор.

К этим поездкам пристрастился и я. И на этот раз я попросил его взять меня с собой. Было очень интересно посмотреть на приземление стратостата: он должен опуститься где-то возле Коломны. В «Правде» появился очерк Ф. Панферова «С земли навстречу».

Помню, Федор сказал:

— Ребята, скатайте на вокзал... Встретьте Александра Черненко и немедленно доставьте его сюда.

Александра Черненко я знал хорошо. Он постоянно жил в Ленинграде, но часто ездил в Астрахань, собирал там материал и писал повесть «Моряна». Федор ждал его с нетерпением.

Встретили мы и «доставили» к нам Черненко благополучно. Лицо его лоснилось от загара, и весь он словно налился свежим арбузным соком.

— Повесть есть? — спросил Федор.

— Конечно! — Черненко открыл чемодан, достал объемистую рукопись. — Тебе первому, Федя.

Федор взял рукопись, помедлил:

— Твоя «Моряна» пахнет морем... А скажи на милость, в моих местах бывал?

— Непременно, — с достоинством ответил Черненко. — Как положено. Мумры посетил. Ой как они изменились!.. Таких людей, как твой Басманов из «Береговой были», стало сотни.

— А Астрахань как?

— Как всегда, многолюдна.

Черненко стал подробно рассказывать про Волгу. Федор допытывался:

— Волга мелеет?

— Есть малость...

— Вот выберу время, засяду за роман об использовании волжских вод на благо народа. Это же мечта нашего мужика — пустить воду на поля. Мечта эта превратится в быль, в реальность. Это обязательно будет, Александр!..

Они долго беседовали. Два раза ставили самовар, а они все сидели. Им было о чем поговорить.

Черненко уехал с последним поездом домой, а Федор засел читать каспийскую повесть «Моряна».

Прошло два дня. Федор торопливо собрался, попросил меня помочь вынести в машину несколько рукописей, и мы поехали в редакцию.

Там его ждал Ильенков.

— Саша Черненко нас не подвел, — подавая рукопись Ильенкову, сказал Федор. — Василий Павлович, посмотри.

— Как всегда, займусь, — сказал Ильенков и вышел из кабинета.

Не успел Федор углубиться в работу, в кабинет вошел Владимир Ставский, большой, грузный, с намечающимися залысинками.

Когда-то Ставский сказал:

— В одной мы с тобой упряжке, Федор.

Так оно и было на самом деле. Оба они — Панферов и Ставский — пришли в литературу с партийной работы, обоих волновала судьба крестьянина, его радости и печали, историческая победа, связанная с коллективизацией, налаживанием новой жизни и новых отношений к деревне.

Владимир Петрович Ставский родился в 1900 году в городе Пензе. Отец, резчик по дереву, умер, когда Володе было всего четыре года. Мать умерла в 1915 году. Несладкая жизнь была у Володи. Начал работать молотобойцем. В 1918 году добровольцем ушел в Красную Армию. После демобилизации из армии работал в газете «Трудовой Дон». В 1928 году вступил в РАПП. Был уполномоченным по хлебозаготовкам на Кубани. Тогда, видимо, там и зародились боевые повести «Сталица», «Разбег». Повести печатались в журнале «Октябрь». Продолжая тему о колхозниках Кубани, Ставский написал новую повесть «На гребне». И опять принес в «Октябрь».

— На суд божий, — пробасил он, кладя на стол папку.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох, — пошутил Федор. — Нынешний год, Володя, на рукописи у нас урожайный: новгородский Николай Кочин принес роман

«Парни», Иван Макаров, что с Рязанщины, — роман «Черная шаль». А теперь ты, и это на 1933 год.

— Прячь в закрома, Федя, как хороший крестьянин, потом по надобности, по потребности давай читателю. Федор закурил.

— Прятать в закрома — можно превратиться в кулака.

— Верно. — Ставский сел в кресло. — А то начнем раскулачивать, нам это не привыкать, мне на хлебозаготовках пришлось... — И Ставский почти два часа рассказывал, как он с товарищами заготавливал для государства хлеб. — Чуть не подстрелили, слава богу — юсечка.

С большой теплотой Федор встретил Льва Никулина.

Когда Никулин вошел в кабинет, Федор торопливо направился к нему навстречу, двумя руками взял его правую ладонь, с достоинством пожал.

— Я очень рад вашему приходу.

— Я тоже рад побывать у вас в журнале...

— Наш журнал, — в конце беседы сказал Федор, — первым начинает знакомство с писателями, а тут писатель сам к нам пришел.

В этот момент раздался звонок телефона. Федор извинился перед Никулиным, взял трубку, начал разговаривать:

— Юрий Олеша... Как же не знать? Такого интересного писателя не знать стыдно. Новую вещь — тащите, — и, прощаясь с Никулиным, добавил: — Юрий Олеша обещал принести новый роман.

К вечеру в кабинете собрались Ильенков, Исбах, Безыменский, Жаров.

— Ребята, — предложил Федор, — а как бы нам сюда затащить Сергеева-Ценского?

И они это сделали.

Федор Панферов в одной из своих тетрадей пишет:

«И вдруг однажды в редакции появился человек с пышными усами, с густой, причесанной чуть набок шелюрой, с крупными, почти постоянно смеющимися глазами. Кто это?

— Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, — отрекомендовался он.

Мы (тогда молодежь) растерялись было, но, как хозяева журнала, собрались с силами и пригласили «раскритикованного» за стол.

Входя в прокуренную комнату, Сергеев-Ценский как-то искоса осмотрел ее и вроде приняхался, затем вытащил из кармана небольшую рукопись и положил на стол, пододвигая ко мне:

— Вот.

Рассказ был о том, как двое — мужчина и женщина — ехали в купе с курорта и всю дорогу «любились», а в Москве вышли на перрон и разошлись, как двое незнакомых.

Ну что же, у нас такое бывает.

— Только ведь нападут на вас, Сергей Николаевич, это мы вам говорим откровенно. Рассказ написан очень хорошо, и мы его напечатаем, однако по-дружески предупреждаем вас.

Он фыркнул:

— Что же, не впервой. Печатайте, — и залился таким залихватским, звонким смехом. — А я... Вот вам еще рассказ. Называется «Кость в голове».

После этого «зубодробительная» статья в газете, намок на «белогвардейщину» Сергеева-Ценского.

Рассвирепел старик.

— Что?! — кричал он. — Может быть, мне за границу укатить? Это предлагает критик?

— Мы вас предупреждали, — говорим мы. — Однако мы вас будем защищать и в обиду не дадим.

— Я в вашей защите не нуждаюсь.

«Эх какой орел», — думали мы.

Несколько вечеров мы провели в беседах с Сергеевым-Ценским. У него замечательная память: раз прочитанное стихотворение запоминается им на всю жизнь, и в любую минуту он может продекламировать его.

В беседах выясняется — он прекрасно знает материал Севастопольской кампании. Вцепились в это, настойчиво рекомендуем:

— Пишите роман.

— Исторический? — хитренько и недоверчиво улыбаясь, спрашивает он.

— Исторический.

— Да бросьте шутить... Где уж вам напечатать!

Но мы видим, он уже загорелся, он уже «пишет», рассказывает замечательные эпизоды из того времени.

Так зародился роман «Севастопольская страда», даже название романа всплыло и закрепилось во время этих бесед.

Через несколько месяцев из Крыма, где обосновался Сергеев-Ценский, получили рукопись под названием «Севастопольская страда» размером около двадцати печатных листов. Начинаем читать.

— Хорошо!

— Даже здорово.

Но это, оказывается, только начало — в конце рукописи стоит: «Продолжение следует».

Готовим к печати, печатаем. Но пока печатаем, к нам приходит «продолжение», потом еще и еще. Всего больше ста печатных листов».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Об этом периоде в тетрадях Федора сохранилась такая запись:

«В жизни наступило что-то огромное и новое, поистине небывалое в истории человечества.

Десятки миллионов крестьян расстались со своими загончиками-полосками в поле и, порою со скрежетом зубов, с болью о былом, порою как энтузиасты, осознавшие неизбежность такой поступи, вошли в колхозы. Это значит, ломается быт, веками созданный, быт мелкого единоличника-собственника, ликвидируется кулацкое хозяйство, в колхозы входит трактор, комбайн, кое-где электричество, растут машинно-тракторные станции. Я уже побывал под Одессой, в ведущей МТС имени Шевченко. Она действительно является первоначальной сельскохозяйственной формой: городок из кирпичных домов, мастерские — цеха, трактористы — настоящие рабочие, электрическое освещение, и в мастерской станки движет электричество, как в промышленности. Трактористы МТС бороздят поля колхозов, комбайны убирают хлеб.

Разве все это новое не ворвалось в жизнь миллионов бывших единоличников? Разве все это, вместе взятое, не ломает старые устои, старые отношения друг к другу, разве все это, вместе взятое, не открывает светлый путь перед обездоленными и забитыми нуждою бывшими единоличниками?

Литературные произведения — это суммирование отношений действительности, стало быть, все новое, что ворвалось в советскую действительность, должно (обязательно) проникнуть в литературу... Все это новое — зачатки нового быта, новой людской психологии, новое отношение друг к другу, путь к культуре (дети учатся) — все это создается новыми экономическими отношениями, очень своеобразно, и потому, если хочешь писать о современности, все это надо тщательно изучить не со стороны, а в жизни.

Вот почему мы, группа писателей при журнале «Октябрь», выкинули лозунг: «Чтобы писать о наших делах, надо жизнь прощупать собственными руками».

Федор и его товарищи главную свою задачу видели в том, чтобы помогать партии горячим писательским словом. Федор побывал в совхозе «Хуторок» недалеко от Армавира и, полный впечатлений, пишет большой очерк «Городок в степи».

По своей натуре Федор был искателем, разведчиком, он, как никто другой, умел находить новые ростки в повседневной жизни. Сегодня, конечно, никого уже не удивишь тем, что люди боролись за первую тракторную колонну, за создание новых дорог, нового городка в степи. А Федор разглядел в этом новое общественно значимое явление, радовался этому и свою радость хотел передать читателю.

«Смотрю — шоссе тянется километров на шесть, вплоть до станции Кубанской. Хорошо.

«Эко, — скажут знатоки. — Что увидел — мостовую!..»

Ох, так скажет тот, кто не тонул на русских дорогах. А меня вот радует эта мостовая, радуют маленькие новенькие домики, построенные за этот год, радует то, что в парке закладывается Дом рабочей культуры, и мне хочется крикнуть: «Вот мы строимся, несмотря ни на что!»

Этим очерком, вначале напечатанным в журнале «Октябрь», открывался сборник пролетарских писателей, выпущенный к XII съезду Коммунистической партии.

Федор Панферов и творческий актив журнала продолжали развивать фурмановские традиции.

Шел третий год первой пятилетки. В одном из номеров «Правды» крупными буквами набрана шапка: «Позади — первые два года пятилетки, впереди — решающий, третий год, год завершения фундамента социалистической экономики, год победы генеральной линии партии».

Писатели, тяготевшие к «Октябрю», естественно, не могли стоять в стороне от этих бурных событий. Редакция организовала несколько бригад для поездок на стройки пятилетки.

Федор торопливо записывает в своей тетради:

«В далекой Сибири, где-то в глуши под Кузнецком, строится гигант металлургии... Строится на пустыре, говорят, в ряде мест «пораженном» пятнами вечной мерзлоты.

Не отправиться ли туда, пока ноги молодые и не одолевает сердцебиение?

Ищу попутчика.

Соглашается поехать Василий Павлович Ильенков. Путь!

Какой он длинный — через центральную часть России, через Волгу, Урал, Старые Гюметы, Голодные степи, в ряде мест покрытые белыми пятнами — солью. Соль на полотне железной дороги. Видим озера — чаны. Ух, сколько дичи! Я еще не заражен охотничьим зудом, а Василий Павлович, тот при виде озер, «усыпанных» крыжовником, аж весь дрожит...»

«Степи... поистине ровные, как медное поле котла...

Наш поезд со станции Тайга повернул вправо, а прямо — путь на Дальний Восток.

И вот мы пересекаем Кузнецкий угольный бассейн.

Степь и степь... нетронутая степь. Редкие поселки, городки, похожие на поселки. Местами попадаются ямки с черными отвалами — это уголь. Значит, правду говорят, что тут в ряде мест уголь лежит почти на поверхности.

Да, это действительно дар природы... В этом мы убедились потом, когда, разъезжая по степи, остановились переночевать у одного крестьянина.

Мы попросили хозяйку разогреть нам курицу. Она слазила под печку и вытянула оттуда корзиночку, заполненную каменным углем.

— Что это вы... под печкой храните уголь? — удивленно спросил Василий Павлович.

— Да нет... Роем там, — ответила хозяйка.

Мы слазили под печку и убедились в правоте слов хозяйки: домик стоит на каменном угле.

Временами кажется — в этой обширной степи пусто, будто смотришь на географическую карту, но иногда вдруг почти соприкасаешься с потоком людей. Они в большинстве своем идут пешком, с котомками за плечами, движутся телеги, запряженные лошаденками, а то и коровами, волами. Вон на коняге бородатый мужик, позади шагает его жена с ребятишками. Коняга увешан узелками, из одного мешка торчит кочерга, заржавевшая за дорогу. Какая-то часть двигается молча, сумрачно, кажется, на лицах людей написано: «А что-то нас ждет...»

Но в толпе есть группа, горланящая песни, и поезд наш встречают и провожают улыбающимися лицами, крепкими приветствиями.

— Кто это?

— Что за поток?

Кто-то из пассажиров бурчит:

— На строительство металлургического прутся. По-наперло — ужас.

Ах, вот кто это!

И мы с Василием Павловичем более внимательно рассматриваем людской поток.

Да, в этой толпе, безусловно, всякие: одни идут строить сибирский металлургический завод, поэтому и поют песни, на стоянках до изнеможения пляшут «страдание», другие со злобой на душе: налетела волна коллективизации, безжалостно поломала начертанный еще прадедами «путь жизни».

Людские потоки стали встречаться чаще...

«Огромный котлован, полукругом обнесенный невысокими горами. На гигантской площадке котлована, примыкающей к тихой речке Томь (очевидно, и название отсюда — томится река), раскинулось строительство металлургического комбината: роются котлованы для цехов. Роется земля — лопаткой, киркой и отвозится граблями — тачками и на конягах. Ни одного экскаватора, трактора. Это была эпоха строительства топором и лопатой...»

По горячим следам поездки, под свежим впечатлением о новой стройке в Сибири Панферов в содружестве с Ильенковым написал и опубликовал в «Правде» очерки: «Бетон», «Котлован победы», «Кокс. Люди. Огнеупор».

Наступил 1933 год — последний год первой пятилетки. Один за другим вступали в строй новые заводы, крепили колхозы. Все радовались первому советскому легковузу, первому челябинскому трактору.

Вместе с другими корреспондентами «Правды» Федор выехал на открытие ЧТЗ.

Об этих днях читаю в тетрадях Федора:

«На открытие завода прибыло много гостей со всех концов Советского Союза: с Украины, Кавказа, Сибири, из центральных областей Российской Федерации, даже с Севера.

Завод вырос за городом, на пустыре.

Красавец!

Мы бродим по новым, точно вымытым в баньке цехам. Они работают. Все тут для всех необычно, особенно главный конвейер, по которому медленно скользят тракторы огромной мощности, размером со слона. Ныне такие огромные тракторы «вышли из моды», а тогда они были раза в два-три больше современных. Конечно, зря тратили металл, но тогда эти соображения нас не тревожили: нам казалось, гусеничный трактор красивый и мощный, как все мы.

Я всматриваюсь не только в лица гостей — большинство колхозников, но и в лица рабочих — большинство бывших крестьян. Как быстро они от сохи переключились на производство тракторов!»

На Челябинском тракторном Федор пробыл несколько дней, беседовал с рабочими, а об открытии завода передал по телефону в «Правду» текст очерка «Пусть знают все».

Увиденное и услышанное он использует в третьей книге романа «Бруски». Отрывки «Колонна», «Комбаты» печатает «Правда».

Панферов живет в бурном потоке событий. Ему хочется побывать в тех местах, где он нашел своих первых героев, и вот он снова в Воронцовке. Как же теперь живет крестьянин, как он принял новый метод ведения сельского хозяйства? И Федор убеждается: другим стал мужик, он более крепок, более уверен в завтрашнем дне.

Студеной зимой в Москву начали съезжаться делегаты XVII съезда партии.

Федор, будучи делегатом съезда, выступил с речью. Он остановился на развитии советской литературы после постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации РАПП, рассказал о больших переменах в нашей стране, достигнутых под руководством Коммунистической партии:

«...Я один из счастливых людей, товарищи, ибо я видел страну. Я видел, с какой несокрушимой энергией большевики Урала перетряхнули, перестроили старый, седой Урал, Урал слез, пыток, застенков.

Я видел, с какой несокрушимой энергией большевики Сибири построили металлургический завод.

Я видел, как большевики-москвичи на пустыре воздвигли химкомбинат.

Я видел, с какой несокрушимой энергией большевики Украины обуздали буйный Днепр, заставили его служить социалистической отчизне.

Я видел, товарищи, как большевики ЦЧО, Поволжья, Северного Кавказа изгнали с полей сохи, пустили десятки тысяч тракторов, комбайнов и этим самым вырвали крестьян из сетей деревенского идиотизма, превращая их в работников социалистического общества.

Я вижу и знаю, товарищи, с какой могучей, неутомимой энергией, с каким умением и дерзновением наша партия перестраивала нищую, забитую, отсталую Русь в передовую страну индустрии. Вот с такой же силой, с такой же энергией и с таким же умением и дерзновением нам, писателям, надо создавать нашу советскую пролетарскую литературу.

И мы ее создадим!

Мы ее создадим и потому, что у нас прекрасная действительность, творимая нами, дающая писателю обильный материал для творчества. Мы преодолеем все трудности и создадим нашу литературу еще и потому, что мы сами — не развалины, мы люди бытия, тертые на фронтах революции, мы преодолеем все трудности еще и потому, что во главе нас стоит такой писатель — мастер художественного слова, как Алексей Максимович Горький...»

Воодушевленные решениями партийного съезда, успехами пятилетки, писатели по командировкам «Правды» выезжают в дальние районы страны. Среди них и писатели «Октября». Когда «Правда» задумала поместить

на своих страницах ряд очерков, зарисовок, статей на тему «Люди нашей страны», первым откликнулся на призыв газеты Федор Панферов. Уже на другой день после съезда он был в Курской области, и в «Правде» появились его очерки «Гости у Беляева», «Мечта в факт превратилась».

11 ноября 1933 года в «Литературной газете» появился дружеский шарж художника Бориса Пророкова «Октябрьский парад литераторов». Художник изобразил группу писателей, каждый из которых написал в истекшем году новое произведение. Впереди колонны шагал, опираясь на трость, М. Горький, с длинными усами, в широкополой шляпе. За ним — Михаил Шолохов, который придерживает на плече подсолнух. Рядом с ним шагает Федор Панферов, играя на гармошке, следом — Федор Гладков с томиком «Энергии» и Валентин Катаев — верхом на гусеничном тракторе (тогда им был написан роман «Время, вперед!»), Леонид Леонов — не то с трубкой, не то с колбой (роман «Скутаревский»), Илья Ильф и Евгений Петров.

В «параде» участвовали В. Вересаев, А. Новиков-Прибой, А. Н. Толстой, М. Шагинян, А. Безыменский и другие.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Проявляя заботу о писателях, их творческом росте, Горький часто указывал на недостатки тех или иных произведений. Уместно в этой связи вспомнить его статью «О прозе», напечатанную в первом номере журнала «Литературная учеба» за 1933 год, в которой Алексей Максимович бьет тревогу по поводу засорения нашей литературы словесным хламом. На небрежность в работе над языком указывалось Андрею Белому, Федору Гладкову, Борису Пильняку. Особое место было отведено Ф. Панферову.

«Ф. Панферов — признан как писатель даровитый и занял в литературе нашей место вполне достойное его, — пишет Горький. — Но и ему следовало бы отнестись к работе своей более серьезно и внимательно». И приводит в качестве примера слово «скукожился» и другие, по его мнению, неудачные слова.

Ф. Панферов отнесся к замечаниям М. Горького

с большим вниманием и при первом же редактировании беспощадно вычеркнул слова типа «скукожился».

Федор много ездил по стране. В одном из писем Горькому в ноябре 1933 года он сообщает: «За лето побывал на Челябинском тракторном заводе, на «Урал-маше», в Свердловске, Самаре, Ростове, Тамбове».

Как известно, в это время была закончена третья книга «Брусков», вызвавшая появление различных по характеру критических статей.

В этот период по вопросу о языке советской литературы в печати дважды выступил Горький.

Тогда же выступили А. Серафимович и другие писатели. А вслед за этим выступил еще раз Горький, на этот раз с «Открытым письмом А. С. Серафимовичу», в котором развил свои мысли о необходимости борьбы за чистоту, точность, богатство и красочность языка советской литературы.

Вскоре состоялась встреча Федора Панферова с Алексеем Максимовичем Горьким. Они беседовали о языке, и, я полагаю, встреча эта помогла Федору уяснить многое, чему он раньше внутренне противился.

В письме к поэту Павлу Васильеву Горький писал: «Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, — охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это не легкая и очень неприятная работа. Особенно неприятна она тем, что как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово, то тотчас же на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше, а часто — хуже. Так было в случае с Панферовым: немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панферова зарычали, заявляя даже те люди, которые еще накануне хвалили его. Этих двоедушных беспринципных паразитов пролетариата нужно ненавидеть, обличать, обнажать их гнусенькое лицемерие, изгонять из литературы так же, как всякого, кто так или иначе компрометирует советскую литературу, внося в нее всякую дрянь и грязь».

Федор очень был рад этому письму Максима Горького. Рады были и мы, домашние и друзья Федора: наконец-то все кончено, травля Федора прекратится, можно спокойно работать, писать. Тем более что Горький как-то подчеркнул: «Прошу понять, что здесь идет

речь не об одном Панферове, а о явном стремлении к снижению качества литературы, ибо оправдание словесного штукатурства есть оправдание брака».

Отрицал ли Панферов критику его «Брусков» Горьким? Конечно, нет. Панферов дискуссию о языке и недостатках «Брусков» понимал по-своему и не считал, как некоторые писатели, что за неделю-другую можно исправить свои произведения. А ведь такие писатели нашлись и, второпях написав Горькому, как они тронуты его заботами, даже сумели молниеносно очистить от ненужных слов свои романы.

Накануне I Всесоюзного съезда писателей летом 1934 года Федор сказал:

— Завтра едем к Горькому, глядите, чтобы был порядок.

Выкатив машину из гаража (под него была приспособлена конюшня), мы с шофером Мишей тщательно осмотрели колеса, мягкими тряпками протерли капот, крылья, переднее стекло, сиденья. В те годы выпускались открытые автомобили с мягким откидным верхом, летом обычно его не натягивали, и всем нам это очень нравилось.

Из дома вышел Федор в сером костюме, элегантный, красивый, сел рядом с шофером, кивнул. Я открыл ворота. Машина медленно выехала на улицу. Миша притормозил, и я одним махом очутился на заднем сиденье.

Обычно почти каждая поездка начиналась с какой-нибудь шутки, а в этот раз Федор молчал, углубившись в свои мысли, и только жестом руки показал, куда ехать.

Миновав Барвиху, мы по проселочной дороге направились на Усово, проехали Успенское, повернули налево и очутились в березовой роще. Чудо как хороши были освещенные ярким солнцем словно бы светящиеся белоствольные березки...

— Тут и подождите меня, — бросил Федор, когда мы поравнялись с глухими зелеными воротами горьковской дачи.

Однако не успел Федор открыть дверцу машины, как ворота распахнулись, и нас пригласили въехать во двор.

Федор пошел к даче. Над нашими головами дрема-

ли согретые солнечными лучами столетние сосны, между стволами убегала вдаль посыпанная желтым песком дорожка, ярко горели цветы на клумбе.

Прошло, наверное, часа два, и вдруг как-то неожиданно из-за угла дачи появились Горький и Федор.

Алексей Максимович по-отцовски положил левую руку на плечо Федору и, наклоняясь к нему, говорил с улыбкой:

— Прощаю, все прощаю... А на меня особенно не сердитесь, старики — ворчуны, так, видно, испокон века заведено.

Простившись с Горьким, Федор сел в машину. Ворот его белой рубашки был расстегнут, голубые глаза блестя, и, возбужденный, он не мог сидеть спокойно, то и дело поворачивался ко мне, рассказывал, как вошел к Алексею Максимовичу, как начался их разговор.

— Говор-то у него нашенский, волжский. А как он меня слушал, трудно даже передать! Впитывал в себя каждое слово. Талант. Ну и досталось же мне... Досталось на орехи, — Федор улыбнулся. — Мужик он суровый. Но суровости я не боюсь, только бы справедливо...

Горький, казалось, вселил в Федора новые силы.

17 августа 1934 года в Колонном зале Дома Союзов открылся I Всесоюзный съезд советских писателей.

Мне довелось быть на нем: Федор принес гостевой билет. Многих писателей к тому времени я хорошо знал: одни бывали у нас дома, других встречал в журнале «Октябрь». И вроде бы трудно было меня удивить, если бы кому-нибудь вздумалось показать мне: «Гляди, вот это писатель...» Но тут, признаться, я был ошеломлен: как же, оказывается, много у нас в стране писателей!

Здесь собрались писатели, представлявшие пятьдесят две национальности! Это была внушительная демонстрация единства многонациональной советской литературы.

Вот идет, о чем-то оживленно разговаривая с Николаем Ляшко, Федор Гладков... Медленно вышагивает по фойе взад-вперед стройная, высокая Анна Каравая, рядом с ней — Мариэтта Шагинян. Возле окна стоит Всеволод Иванов. Этаким петушком быстро переходит с места на место Семен Кирсанов. Направились в зал Николай Тихонов, Леонид Леонов, Михаил Пришвин...

Председательствовал на съезде его организатор и вдохновитель — Горький.

Стоит мне закрыть глаза, и я словно слышу его характерный глуховатый, окаяющий голос:

— Уважаемые товарищи! Прежде чем открыть первый за всю многовековую историю литературы съезд литераторов Советских Социалистических Республик, я — по праву председателя Оргкомитета Союза писателей — разрешаю себе сказать несколько слов о смысле и значении нашего союза...

В своем докладе Горький охарактеризовал основные черты советской литературы, наметил ее задачи и пути дальнейшего развития как литературы социалистического реализма.

В числе многих писателей на съезде выступил и Федор Панферов. Речь его была напечатана, как и другие выступления, в «Литературной газете», а затем — в девятом номере «Октября» за 1934 год под названием «О мудрой простоте». С тех дней, как говорится, немало воды утекло, и мне хочется напомнить содержание этой речи:

«В силу ряда причин мне приходится говорить о литературном языке. Дискуссия о языке почти все время вертелась вокруг «Брусков», и поэтому у меня накопился большой материал. Главным образом приходится говорить об этом потому, что вопрос о литературном языке, поставленный во всю широту А. М. Горьким, на мой взгляд, свелся к болтовне. К болтовне его свели комбинаторы и шукари, люди, весьма далекие от литературы, которые в существо вопроса не заглядывают, считают, что дело главным образом заключается в комбинации, как поставить вопрос — на попа или на ребро, лишь бы набить морду своему противнику, а потом выйти и сказать: «На поле брани ни пера ни пуха».

Для нас же, практиков литературного движения, на сегодня вопрос о языке является самым важным вопросом, ибо мы уже сумели овладеть тематикой наших дней, мы прекрасно понимаем, чувствуем душу нашего героя. Основное и главное теперь — это овладеть техникой, тем мощным средством, которым владели наши великие предшественники. Вот почему вопрос о языке не сходит со страниц нашей печати.

Всем вам, товарищи, известна такая простая истина, что во Франции до революции существовали в основном

два языка: язык знати и язык народа. Разница между этими языками была такова, что даже Марат, по утверждению историков, издавая свою газету «Друг народа», принужден был иметь агентов из интеллигентов, которые ходили и толковали газету народу.

Академик, составляя словарь, ограждал язык знати от языка народа — языка «вульгарного», «провинциального», боясь, как бы язык знати не засорился выражениями цирюльника, свинопаса. Великий Вольтер, выступая против Шекспира, заявил, что язык его героев шокирует королеву. Известно также, что Анатоль Франс выступал против языка Золя. Тургенев не считал язык Некрасова литературным языком. Артисты первое время отказывались ставить «Ревизора» Гоголя, потому что там лакей говорит языком лакея. Известно и то, что борьба за язык была не случайной борьбой, борьбой не прихоти ради, — в основе этой борьбы, безусловно, лежала классовая борьба, потому что ни язык, ни мысль не образуют сами по себе особого царства, они суть только проявления действительной жизни. Во Франции после революции язык народа ворвался в верха и занял свое государственное положение, ибо революция ломает не только политическую и экономическую структуру государства, не только быт, нравы и психологию людей, а также и язык, создает новый стиль языка. Вот чего не понимают наши штукари-комбинаторы. Поэтому они вопрос огромной важности — вопрос о языке революции — свели к знакам препинания и отдельным словечкам.

Мы ставим вопрос о языке революции, — не об отдельных словечках, а о новом стиле, о качестве нового словообразования.

И если Французская революция произвела такой огромный переворот в области языка, то наша Октябрьская революция, конечно, не могла пройти мимо этого вопроса.

Всем известно, какая разница была между городом и деревней до революции. Эта разница не могла не отразиться на языке рабочих и крестьян. Вчитайтесь вдумчиво в произведения Успенского, посмотрите, как там говорят крестьяне. Там крестьяне в большинстве своем говорят междометиями, ужимками, поговорками, пословицами. Случайно ли великий Успенский так писал? Нет, не случайно. В то время именно такой язык был присущ крестьянам. Крестьянин не мог говорить свои затаенные

доподлинные мысли откровенно. За откровенные мысли гнали в тюрьму. Потому он и прибегал к такой форме выражения, что урядник, допустим, понимал, о чем он говорит, но привлечь его к суду не мог».

Приведя в подтверждение своих мыслей ряд убедительных примеров, Федор заключил свою речь призывом «коллективно отвечать за произведения, бережно относиться друг к другу и крепко держать в руках знамя литературного движения, знамя, которое нам вручила наша партия.

Если мы овладеем мудрой простотой, мы поведем за собой миллионы, а миллионы у нас прекрасные люди — лучшие читатели мира».

Летом 1935 года в составе делегации Союза писателей Федор едет в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. На этом конгрессе Панферов был избран в постоянное бюро по защите культуры.

Федор присутствовал на торжестве по случаю присвоения одной из улиц Парижа имени пролетарского писателя М. Горького.

Из Франции Федор прислал для «Правды» очерк.

Из Парижа он проехал в Рим, там его встретил корреспондент ТАСС Марк Чарный.

«Я работал в это время в Риме, — пишет он в своей книге «Ушедшие годы», — и пригласил Панферова после конгресса заехать ко мне в гости.

Телефонный звонок из парижского полпредства известил меня о поезде, в котором выезжает Федор Панферов, и на следующий день я встречал его на римском вокзале. Несколько взволнованный и смущенный — Панферов не знал иностранных языков и чувствовал себя, видимо, неловко среди чужеземцев, — он просветлел, увидев меня, и мы дружески обнялись...

...Было знойное итальянское лето, когда в дневные часы даже римляне закрывают учреждения и магазины, чтобы спрятаться где-нибудь в тени до вечерней прохлады, а мы стоически бродили по римским улицам, античным форумам, церквям и музеям. Денька два передохнули у моря, в городе Санта-Маринелла, где жила на даче моя семья, и снова вернулись в Рим.

...Когда мы бродили с Федором Ивановичем по Риму, я развлекался тем, что делал шуточные снимки. В Ватиканском музее, например, снял Федора Ивановича

ча рядом с Аполлоном. Широкоплечий, коренастый Федор Иванович в рубашке Москвошвея был импозантен рядом с легкомысленным и обнаженным богом солнца и света. Снял я Панферова рядом с памятником Гарибальди. Сделал надписи, и мы потом не раз в кругу близких, смеясь, вспоминали эти снимки.

В 1962 году я переехал с улицы Горького в Москве, где прожил больше сорока лет, в новый район Москвы, на Юго-Запад. Знакомясь с недавно возникшими проспектами и улицами, я вдруг с волнением остановился перед табличкой: «Улица Панферова». Рядом оказалась улица Гарибальди.

А мы шутили...»

Из-за границы Федор приехал полный впечатлений, но из его рассказов всем нам стало ясно: лучше своей Родины он земли не видел. Он снова едет в Курскую область, и 7 декабря 1935 года в «Правде» появляется его очерк «Мечта Варвары». Вскоре политотдел совхоза имени Тельмана Курской области, имевший свою типографию, выпустил две небольшие книжечки Федора — «Душа на место встала» и «Люди совхоза».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

С каждым годом круг знакомых Федора расширялся. В первые годы коллективизации Федор встречал многих энтузиастов колхозного строительства, — это был Степан Огнев, Кирилл Ждаркин, Никита Гурьянов. Но вот организовалась тракторная бригада из девушек. Ее возглавила Паша Ангелина. Федор уже на полях, где трудится эта бригада. Чем отличается Паша Ангелина от множества девушек? Внешне? Нет. Просто молода, по-своему красива. А на тебе, возглавила бригаду. Одетый в полувоенный костюм, в сапогах, Федор ходит, как говорят, по пятам за Пашей Ангелиной, изучая ее характер, доискиваясь, что же побудило эту девушку сначала самой сесть на трактор, а потом возглавить женскую бригаду трактористок. В короткие минуты отдыха Панферов вынимал блокнот и записывал рассказы Прасковьи Никитичны Ангелиной.

После знакомства с Ангелиной Панферов решил героиню романа «Бруски» Стешу Огневу посадить на

трактор, стремясь тем самым показать равенство советской женщины с мужчиной.

И потом Федор Панферов часто встречался с Пашей Ангелиной. Писатель слушал ее речь на съезде колхозников-ударников в 1935 году и уже тогда предсказывал, что Паша Ангелина — это не просто трактористка, а государственный деятель. Потом писатель и трактористка, являясь депутатами Верховного Совета СССР, заседали на его сессиях, решали важные государственные проблемы. Федор Панферов был рад, когда Прасковье Никитичне Ангелиной присвоили звание Героя Социалистического Труда. Потом Паша Ангелина написала книжицу «Люди колхозных полей». Она вышла под редакцией Федора Панферова.

В 1960 году о Прасковье Никитичне Ангелиной вышла большая книга. В предисловии к этой книге Федор Панферов писал:

«...Пашу Ангелину я знаю почти тридцать лет. Знал в первые дни коллективизации, когда она, кареглазая романтически наивная крестьянская девушка, села за руль трактора, показала пример тысячам крестьянских женщин. Знал и в последующие годы, когда она стала крупным общественным деятелем, умной воспитательницей десятков тысяч девушек-трактористок, для которых ее авторитет и советы были не только непререкаемы, но и священны.

Паша Ангелина, как любовно называли ее люди труда, была не просто трактористка. Она обладала природным талантом. Советские условия были для нее благодатной почвой, на которой расцветали ее дарования в полную меру, как и у сотен тысяч тружеников полей и промышленности...»

При наличии тракторного парка, комбайнов на селе сельское хозяйство без науки двигать вперед стало невозможно. Вот тогда Федор метнулся в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, стал искать сближения с миром ученых. Особенно неповторимое впечатление на Федора произвел академик Вильямс. Учением Вильямса Федор «заразил» героя романа Богданова. Но этого оказалось для Федора мало. Была организована читательская конференция по «Брускам». На ней Федору пришлось поспорить с задорными студентами Тимирязевки. Все это для большого писателя было вполне естественно.

В то время Федор по-особому стал интересоваться перелетом Чкалова, Байдукова и Белякова по маршруту Северный полюс — Америка. На письменном столе отдельно складывались газеты, где писалось об этом полете.

Спустя много лет трудно да, видимо, и невозможно передать словами чувства москвичей, когда они встречали Чкалова, Байдукова и Белякова. Москва была торжественной, красочной и радостной.

Вместе со всеми радовался Федор. Через несколько дней вдруг он заявил:

— Мне еще надо увидеть.

— Кого? — недоумевали мы.

— Чкалова Валерия Павловича.

Вскоре Федор уехал на Волгу. Пароходом добрался до пристани Василево. Сойдя с парохода, по узкой исхоженной тропочке поднялся на крутой берег, оглядел село. В одном из старых справочников Федор вычитал: жителей в Василеве было шестьсот двадцать пять, дворов — сто тридцать, четыре церкви, две часовни, школа, двадцать лавок, четыре трактора. Ремесло — котельщики, клепальщики. Летом село пустеет, большинство в плавании по Волге. Зимой слышен стук молотка — идет ремонт пароходов. После ремонта ранней весной пароходы пробуют свои голоса. Гудят наперебой, как петухи по утрам, и у каждого свой голос.

Ну, это в прошлом, а теперь какое оно — Василево, родина Валерия Чкалова?

Было раннее утро. Из-за Волги выходило багряное солнце. С каждой секундой вода в реке меняла цвет. Вначале она была темной, затем порозовела, а сейчас уже блестит, как полированная сталь. Появились белые чайки. Они быстро скользят над водой, выхватывая мелкую рыбешку.

Солнце заиграло в стеклах домов. Федор стал гадать, какой же дом принадлежит Чкаловым. Трудно это было сделать. Все они уж очень походят друг на друга, как братья: крепкие, с резными наличниками и палисадниками перед домом. И все-таки Федор безошибочно угадал чкаловский. Все здесь было сделано по-особому, как потом Федор писал: «Кажется, что все тут сработано на веки вечные, и этот дом с причудливыми вензелями под окнами, и эти толстостенные конышни, и это крыльцо из тяжелых черных дубовых плах;

даже водосточные трубы и те кажутся не железными, а чугунными».

Федора нелегко было удивить и взволновать при новом знакомстве. Но в этот раз он немного оробел. А когда к нему навстречу вышел Чкалов, по-медвежьи сгреб Панферова, робость пропала.

— Лелик, смотри, гость к нам! — обратился он к своей жене Ольге Эразмовне. — Давай немедленно пельмени, да на Волгу мы махнем, пока утро хорошее!

Вначале разговор как-то не клеился. Потом Федор стал задавать вопросы, Чкалов отвечал. Валерий Павлович родился в 1904 году в семье потомственного волжского котельщика Павла Григорьевича Чкалова. Своим ремеслом он славился на всю Волгу. Валерий учился в васьильевской сельской школе, а когда закончил школу, отец направил его в Череповец в ремесленную школу.

— Не удалось мне ее закончить, — сказал Чкалов с сожалением в голосе, — по неведомым мне причинам ее закрыли. И пошел я кочегаром, сначала на землечерпалку, а потом на пароход «Баян».

Федор следил за рассказом Чкалова, отрывочно записывал, и не только, что он говорил, но воссоздавал его интонацию голоса, движения рук, головы, изменение выражения глаз. Федор изучал его, хотел найти то, что заставило Чкалова еще в 1919 году добровольно пойти в ряды Красной Армии и именно в часть авиационных мастерских.

— Первый раз, — продолжал Чкалов, — самолет я увидел, работая на «Баяне». Он пленил меня. И вот моя мечта. Вначале я попал в авиационную теоретическую школу, а затем в 1922 году стал учиться в Борисоглебской авиационной школе.

Неожиданно Чкалов прервал рассказ, побежал к воде, стал хватать обкатанные водой камешки и, чуть пригибаясь, бросал их так, чтобы они несколько раз касались воды.

— Писатель, а ты можешь так? — громко кричал Чкалов.

— Отчего не могу, — стараясь больше «окать», отзывался Федор.

Чем они больше кидали камни, тем больше входил в азарт Чкалов. Федор определил: Чкалов хотел быть только первым. Таким он стремился быть даже в игре

на бильярде, в чем еще раз убедился Федор, когда они «резались» до полуночи.

— Вы совершили невиданный перелет, — как-то сказал Федор. — Напишите.

Чкалов громко, раскатисто засмеялся, обращаясь к жене:

— Лелик, ты слышишь, что предлагает писатель?

— А что ж, — ответила жена. — Ты все должен уметь. Садись и пиши.

Чкалов почти подпрыгнул на стуле.

— Дудки... Пусть он пишет, — показал он большим пальцем на Панферова. — У нас мечта другая. Вокруг шарика махнуть.

И все-таки Панферов сагитировал Чкалова написать. Он написал очень содержательную, живую по языку статью к первой годовщине перелета Москва — остров Удд.

Все члены редколлегии с большим интересом читали статью. Больше всех радовался Федор Панферов тому, что такой на вид угловатый, совершенно неподступный человек, как Чкалов, оказался не хуже некоторых журналистов. Эти воспоминания Чкалова были опубликованы в журнале «Октябрь» за июнь 1937 года.

И вот — совершен перелет Москва — Америка. Ах как торжественно и празднично Москва встречала героев!

Казалось, Чкалов должен быть очень занят, труднодоступен. И все-таки он находит время для встреч. Федор Панферов снова на родине Чкалова. Они вместе дышат волжским воздухом, совершают путешествия на пароходе. Федор бывает и на аэродроме, при испытании новых самолетов, восхищается мастерством Чкалова.

Образ Чкалова пленил Панферова. Он решил написать пьесу об этом чудесном человеке-богатыре, волжанине, пионере воздуха. В личном архиве писателя сохранились наметки такой пьесы.

Федор успел только написать небольшой очерк «Домик над Волгой». Очерк был напечатан, когда Чкалова избиратели Горьковской области выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета осенью 1937 года.

«И вот Валерий Павлович снова в доме своего отца-котельщика, в кругу родных и знакомых, — писал Федор. — За огромным столом — люди всех профессий: летчики, шоферы, учителя, директора заводов, колхозники. На стол мать подает пышущие жаром пельмени.

— А-а, пельмени! Ай да мать! — кричит Чкалов.

Он заразительно хохочет, рассказывает о том, как когда-то, еще в молодости, ворвался на кухню к матери и «украдкой» уписывал пельмени.

— Я про эти пельмени вспомнил на банкете в Америке. Заставили стол всякой всячиной. А я есть хотел и подумал: «Пельменей бы нам сюда».

Тут же Чкалов рассказал об одном американском лавочнике, который заявился тогда к нашим летчикам и на один день попросил у них костюмы, в которых они летели из Советского Союза в Америку. Потом оказалось, что лавочник вывесил костюмы в окне как рекламу и бойко торговал своим товаром в этот день.

Неожиданно Чкалов оборвал рассказ: он заметил, что один из шоферов, сидящих за столом, стесняется, плохо ест, вертится на стуле. И Валерий Павлович незаметно для гостей переключивается к шоферу. Через каких-нибудь пять минут они уже говорят, страстно и громко, о моторе. Шофер ожил. Тогда Валерий Павлович поднялся и, радуясь тому, что шофер освоился за столом, толкнул его в плечо, сказал:

— А то скуксился, дядя, как перед девицами.

Чкалов любил людей и всегда был ими окружен. Иногда он выступал в разных местах по нескольку раз в день. К вечеру так выматывался, что пластом лежал на диване.

— Ну зачем до этого себя доводишь?

— А как же? Люди-то ведь хотят слушать. Ведь когда я им рассказываю о наших полетах, аплодируют мне, я знаю — они одновременно аплодируют и себе; без такого народа, как наш, мы никогда бы подвига не совершили.

И еще одна черта характера, главная, — это постоянная неуспокоенность Чкалова. Он слетал на остров Удд. Совершил перелет в Америку через Северный полюс, вот он уже Герой Советского Союза, человек, любимый всей страной. Но он уже думает о новых полетах, еще более величественных:

— Эх, вокруг шарика бы махнуть...

В «Брусках» есть летчик. В нем есть черточка Валерия Чкалова.

На фотографии, где снялись Чкалов и Панферов, Чкалов написал: «Тов. Панферову. Вспомни охоту и проведенное время в Горьковском крае. Чкалов. 18/IX—37».

...На письменном столе Федора — объемистая папка с аккуратно завязанными светлыми тесемками. Я заглянул: Аркадий Первенцев, «Казачи». Эта фамилия встретила мне впервые и, видимо, поэтому привлекла особое внимание. Сев за стол, я тут же начал читать роман. Его действие, герои захватили меня, особенно Иван Кочубей — огромный, широкоплечий, сильный, добрый, смелый вояка, душа казаков. Читая произведение, мысленно я был с Кочубеем, ходил с ним в атаку, помогал бедному люду. По совести сказать, мне было жаль расставаться с ним. А в конце романа я прослезился — Кочубей, скрученный болезнью, случайно попал в плен к белым. Ослабевшему, еле живому Кочубею предлагают жизнь, но для этого надо дать согласие служить денщикам. Кочубей умирает с проклятием на устах в адрес белогвардейцев.

После прочтения романа мне очень захотелось познакомиться автора. Я спросил Федю:

— Скоро к нам придет Первенцев?

— Ишь какой прыткий, — ответил Федор. — Я еще не прочитал роман, а тебе автора подай.

— Но я-то прочитал... А он такой же, как Кочубей?

— Посмотрим.

Мы уже из Хамовников переехали жить на 3-ю Мещанскую, в новый угловой дом. В квартире было четыре комнаты: одна, совсем небольшая, продолговатая, — спальня, другая, квадратная, — кабинет Федора, затем столовая, где чернело пианино, дальше — комната Веки и Кима.

И вот как-то раздался звонок. Федор сказал:

— Иди открой. Встречай Кочубея.

Открыв входную дверь, я немного отпрянул от удивления. Передо мной стоял высокий, статный молодой человек с резкими и упрямыми очертаниями губ, короткие волосы на голове увеличивали и без того высокий лоб. Бросился в глаза широкий цветастый галстук, надетый, видимо, впервые, — он закрывал почти всю грудь. «Нет, это совсем не Кочубей», — чуть не вырвалось у меня. В первое мгновение я разочаровался. Даже голос не Кочубея. Кочубей кричал басовито, а этот тихим, глуховатым голосом спросил:

— Мне Федора Ивановича.

Не дав ему досказать, я буркнул:

— Да, да, проходите.

В прихожей появился Федор.

— Молодец. Нашел сразу. Дом, как скала. Кругом старая Москва. В прошлом — особняки мещан. А этот дом новый, современный. Проходи, Аркаша. Можно тебя так звать? Я ведь намного старше тебя. Роман прочитал. Очень интересный. Только тут, мне кажется... — Федор провел Первенцева в кабинет, усадил около стола, начал детально разбирать роман. Федор говорил мягко, то и дело поглядывая на автора, словно по выражению его лица проверял свои выводы.

Не успели они полностью разобрать роман, пришел Николай Огнев, член редколлегии журнала «Октябрь», заведующий отделом прозы.

Николай Огнев был известен в среде молодых читателей нашумевшей повестью «Дневник Кости Рябцева». По этой повести проводились диспуты, мнения были противоречивые. Теперь Огнев помогал выискивать новых авторов для журнала.

Началась оживленная беседа.

Николай Огнев, поблескивая очками, шагал по кабинету, восстанавливал образ Кочубея, указывал на отдельные неудачные слова, фразы.

В заключение Федор сказал:

— Как шефу поручаем тебе подготовить роман в первый номер следующего года. Подумать о названии романа — «Казаки», видимо, повторение классиков. Подумайте. А теперь за стол.

Еще раз оглядев Аркадия Первенцева, я заметил: в нем было сходство с Владимиром Маяковским. Как я узнал потом — они были родственниками.

Роман Первенцева под названием «Кочубей» был напечатан в первом номере «Октября» за 1937 год. В конце года он вышел в «Роман-газете» тиражом двести тысяч экземпляров.

Поздравляя Первенцева с выходом романа, Федор добродушно, радуясь за молодого писателя, сказал:

— В народе говорят так: коль счастье придет, то оно и на печке найдет. Желаю тебе, Аркаша, на долгие годы такого творческого счастья.

Даря роман «Кочубей» Панферову, Первенцев писал: «Большому русскому писателю — Федору Ивановичу Панферову — первому редактору и другу книги этой и этого автора — с признательностью и любовью».

Тогда же Аркадия Алексеевича Первенцева приняли

в Союз советских писателей. Имя его громко и долго звучало в печати, по радио. Среди писателей у Первенцева появились друзья-одногодки. Однако Первенцева всегда тянуло к Панферову, к старшему товарищу. С ним Первенцев был откровенен.

Через два года на страницах «Октября» появился новый роман Аркадия Первенцева — «Над Кубанью». Молодой автор твердо входил в советскую литературу. Это радовало Федора Панферова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Четвертая книга романа «Бруски» под названием «Творчество» была опубликована во втором и третьем номерах журнала «Октябрь» за 1937 год, а к весне следующего года роман был подготовлен для отдельного издания.

Федор Панферов никогда не сдавал в набор «Бруски» без дополнительной правки. Как уже было сказано выше, роман выдержал более семидесяти изданий, и всякий раз автор шлифовал, улучшал роман. В последней редакции «Брусков» (1958 г.) Федор сделал более полутора тысяч исправлений стилистического порядка.

Возвращаясь к дискуссии тридцатых годов, много лет спустя, 26 марта 1958 года Федор писал в «Комсомольской правде»: «Мы не только любили, но и высоко ценили Алексея Максимовича, как великого писателя, мы читали, перечитывали его замечательные произведения, учились писать у него, преклонялись перед его мастерством».

Вскоре Федор снова направился в милые его сердцу места.

В своих странствиях по Волге Федор, естественно, не миновал и родной Павловки.

Помню, в один из дней, под вечер, к нашему двору подъехала легковая машина.

— Отец, глянь-ка, кто там? — попросила мать, убравшая со стола посуду: мы только что отужинали.

Отец нехотя поднялся, подошел к окну, отодвинул ситцевую занавеску и вдруг радостно всплеснул руками:

— Кажись, Федярка прикатил!..

Приглаживая на ходу волосы, отец торопливо вышел во двор, следом за ним выбежала из дома мать.

— Ворота, ворота открывай! — заворчал на нее отец. — Сроду надо указки давать. Аль не видишь, гости приехали?

Ворота распахнулись — и, боже ж мой, что творилось возле нашего дома! Откуда ни возьмись, как воробы, слетелись босоногие мальчишки. Федор командовал:

— Садитесь, ребята, все садитесь, сколько вас есть!

Ребятишки рады стараться, жмутся друг к другу, теснятся, чтобы всем поместиться, а когда уговорились, Федор сказал молодому пареньку-шоферу:

— С пыльцой вдоль улицы прокати ребят...

Обернулся. Навстречу ему кинулась мать:

— Сыночек, родненький мой!

— Запричитала, — сердито проворчал отец, — сроду со слезами!

— А ты, как ты, Иван Иванович? — спросил, обнимая отца, Федор.

— Тружусь. В колхозе на пасеке.

— Пчеловодом заделался?

— Ульи мастерю, прочий текущий ремонт, разве я топор из рук выпущу?..

В калитку вошел сосед, Михаил Прокофьевич. Почти-точно поздоровался с Федором.

— Совсем нас забыл... Давненько не виделись. Слышал я, о тебе разговор идет по всей России, а нам от-радно. Твое сочинение читали и диву давались, как складно у тебя получается. Смотри-ка, наш Федярка! А помнишь, как я тебя крапивой отхлестал, когда ты в наш сад за яблоками лазил? Аль забыл?

— Все помню, дедушка Миша.

Мать, как всегда, засуетилась:

— В избу надо, чай...

Глядя на ступеньки крыльца, Федор вспомнил, как строили родители этот дом. Тогда он казался большим, а теперь Федору пришлось пригнуться, чтобы пройти в дверь.

Увидев сделанный когда-то отцом деревянный, покрашенный желтой краской диван, Федор громко рассмеялся:

— Жив мой спутник, жив!

— Ножки вот пемного закрепил, — заметил отец, усаживаясь на диван. — А так еще годов сто проживет.

Федор обошел весь дом, заглянул на печку, потрогал на потолке железный крюк, на котором когда-то висела зыбка, подержал в руках ухват, остановился возле окна, в раздумье сказал с усмешкой:

— Удивлялись мы, бывало, как это мать могла знать, что отец с базара идет. Только скажет: «Марш за стол, отец идет», — не успеем разобрать ложки, а па-панька уже на пороге...

— Глупенькие были, — улыбнулась мать. — Да я отца из тысячи узнаю, особая примета у меня на него...

С этого вечера дом наш словно ожил, хотя Федору, как всегда, на месте не сиделось.

Больше недели мы с Федором ездили по селам района, и я знакомил его с теми людьми, о которых сам писал.

Свое путешествие мы решили начать с села Шаховского. В прежнее время большая часть земли и лесов вокруг села принадлежала помещикам Карпачевым. Делами управляла сама хозяйка — Карпачиха, как звали ее, — женщина волевая, с крутым характером. Поговаривали о том, что Карпачиха родом из оренбургских казаков. Она держала крестьян в строгости, ругалась, как говорят в народе, по-мужичьи. Хозяин же был идеалистом по натуре, безвольным человеком. Как-то он смастерил большого змея, пустил его в небо, а бечеву привязал к саням. Ветер подхватил змея, и бечева потащила сани, в которых сидел барин. Сани перевернулись в первом попавшемся овраге.

Карпачевы имели автомобиль. Каждое воскресенье на этом автомобиле они ездили на базар в Павловку. Помещики тешились, а народ сторонился этого чуда, старухи крестились.

Все это кануло в вечность. Теперь тут неплохой колхоз, получает добрые урожаи. Часто в нем бывал я, знал колхозников и потому смело вез Федора именно сюда.

В пути Федор стал рассказывать:

— В Шаховском я бывал несколько раз, кажись, в девятнадцатом году. Как член Саратовского губкома комсомола, укреплял местную комсомольскую ячейку. Секретарем ее был Миша Суслов. Мы даже поставили тут пьесу Островского «Бедность не порок».

— И ты играл?

— А как же... Нам надо было собрать молодежь. Как это сделать? Решили спектакль закатить. Но где взять пьесу? Нашли Островского. Кто-то сказал: «Он при царе писал», а мы настояли на своем. Прошло первое действие, я раз — и доклад о текущем моменте. Так вот, брательник. А чем меня удивить?

— Найду, — задорно ответил я.

Мы въехали в село. Лес наступал на него и справа и слева, и от этого дома казались маленькими. В зарослях оврага, разделяющего село, журчала речушка, на пригорке маячило белое здание школы. В ней еще в 1915—1916 годах учительствовала жена нашего брата Алексея — Елизавета Михайловна. Тогда в ее классе учился и Миша Суслов.

— Не вижу твоего сюрприза, — сказал Федор.

— Тебя интересуют люди?

— Конечно.

— Здесь живет замечательный человек, инспектор по качеству, — похвалился я.

— Это точно сюрприз. Скорее поедem к нему, — затопил меня Федор.

Федора Ивановича Московцева, кряжистого старика с густой бородой, мы отыскиали на колхозном току. Федор, так называется, так в него и вцепился. Они, разговаривая, смотрели на крупные зерна золотой ржи. Московцев сунул правую руку в рожь, глаза его заискрились. Рожь пахла полевой свежестью.

— Девчата, шуровать, шуровать! — громко сказал Московцев, затем взял широкую деревянную лопату, быстро заработал, показывая, как следует шуровать зерно, чтобы оно быстрее просохло, при этом говорил: — На сдачу государству. Влажность зерна должна быть нормальной.

Девушки непрерывно перелопачивали хлеб, украдкой посматривали на нас.

Московцев взглядом окинул ток. Вот он — хлеб, перед ним. Его целые вороха, зерно к зерну. Хороший хлеб! Государство не будет в обиде.

Через несколько минут к току подъехали автомашины.

На машинах стояли железные бадьи. Их снимали и доверху наполняли рожью. Девушки поднимали бадью и высыпали рожь в кузов машины.

— Машины современные, а погрузка старинная, девдская, — заметил Федор.

Московцев смутился. Действительно, погрузка идет медленно, тяжело поднимать на борт машины бадью. Но что можно было тогда сделать, о транспортерах тут и не мечтали и не знали о них.

— Ничего. Придет время, механизуем и погрузку, — как бы успокаивая Московцева, добавил Федор. — И урожай станем получать сам-тридцать. Непременно будем, наука нам поможет.

Машины, груженные зерном, ушли. На току воцарилась тишина. Разбежались девчата, а два человека — инспектор по качеству Московцев и Панферов — еще долго стояли возле вороха хлеба, душевно ведя беседу. Позднее, когда Федор возвращался к «Брускам» и писал пьесу «Жизнь», я находил в одном из героев произведений — Катаеве — черты Московцева.

Покинув Шаховское, мы попали на полевой стан колхоза «Красная Поляна» и там заночевали.

Федор сразу подружился с поварихой Татьяной Алексеевной Рваниной — комбайнеры называли ее «хозяйка», — помогал ей подкладывать дрова в костер, заглядывал в котел, деревянной ложкой пробовал суп, приговаривал:

— Имей в виду, Татьяна Алексеевна, коли недосол, то он на столе, а коли пересол, то на спине, — так гласит пословица.

— Бить-то много найдется, а приласкать не всякий может, — задорно отвечала «хозяйка».

Яркое пламя костра лизало бока котла. «Хозяйка» еще раз помешала длинным черпаком суп, обернулась на доносившийся издалека гул мотора:

— Третий сезон я с ними, мир у нас и порядок, ребята хорошие, мухи не обидят, а не только что на меня голос повесить...

Один за другим появились у костра комбайнеры и их помощники. Молча, кивком поздоровались с нами. Сполоснули водой руки и так же молча уселись за дощатый стол.

— Утро вечера мудреней, — произнес один из них. — Может, и не дали нынче обещанное, зато завтра покажем класс.

— Показал один такой, — возразил кто-то.

— Обязательно покажем.

Федор пробовал «разговорить» комбайнеров, но они, не отвечая на его вопросы, наскоро поужинали — и в будку: спать.

На жестких полатах пристроились и мы. Сено пахло мятой, полынью... Проснулись оба одновременно, точно кто толкнул в бок. Светало. Звезды в небе гасли, но дали полей в этот час казались дремлющими. Неожиданно подул прохладный ветерок. Шевельнулся, заколыхался золотой массив ржи, шурша спелыми колосьями. На востоке занималась заря. Опережая восход солнца, один за другим поднялись комбайнеры, быстро разошлись по своим местам, за ними последовали и мы с Федором.

— Заводи моторы! — распорядился начальник агрегата Вася Кузин.

Он торопливо поднялся на площадку своего комбайна, окинул взглядом стан, дали полей и скомандовал молоденькому трактористу Николаю Зимину:

— Трогай, Коля!

Зимин — крепкий, хваткий — взялся за рычаги, на мгновение повернул голову к комбайнеру. Гусеничный трактор, словно танк, резко взял с места и двинулся вперед, потянув за собой сцеп из двух комбайнов.

Федор внимательно наблюдал за работой Василия Кузина. Комбайны сделали один, другой круг. Красивое это зрелище — бункера, доверху наполненные зерном! Но вот тракторист замедлил ход — короткая передышка. И Кузин, разгоряченный работой, открыто взглянул в глаза Федору.

— Не клеилось у нас вчера, — сказал он. — Впервые ведь мы вот так — сцепом двух комбайнов пошли, а нынче, видите, сразу наладили.

В те времена это было новшеством, и Федор остался доволен, что увидел такую слаженную работу.

— А теперь поедem в Евлейку, — предложил я. — Ты там сколько лет не был.

— Это дело, — обрадовался Федор.

Когда-то, очень давно, он с отцом ходил в Евлейку — это было убогое село, с низкими, крытыми соломой избами, а сейчас дома приободрились, светились на солнце янтарем тесовых крыш.

Не узнать было это татарское село! Пожилой учитель Керимов рассказал нам о том, что наиболее способные его ученики становятся инженерами, техниками,

летчиками, агрономами: никому не закрыта дорога в вуз, были бы способности и желание.

— Наша школа, — продолжал Керимов, — с двадцать шестого года выпустила двести двадцать три ученика с четырех- и семилетним образованием. Сейчас учатся триста шестнадцать школьников.

Для того времени это был большой прогресс. Вернувшись домой, Федор рассказал отцу об увиденном в этом некогда бедняцком селе.

Не усидел дома Федор и на следующий день. Не успела мать накормить нас оладьями со сметаной, как он уже встал из-за стола:

— А нынче куда меня повезешь, братишка?

— Найдем место, — похвалился я.

И мы поехали в Шиковку, на животноводческую ферму. Там нас предупредили:

— Ноги вытирайте, таков порядок у Евдокии Масленниковой.

Нарушать порядок не стали. Нас встретила улыбающаяся телятница. Удивительное дело! Федор так умел подойти к незнакомому человеку, что тот, будучи даже очень стеснительным, не тушевался, а, напротив, вовлеченный в интересный для обоих разговор, чувствовал себя непринужденно, свободно. Федор подошел к телятнице, и вот уже она ему рассказывает о тонкостях своего дела.

— На молочно-товарную ферму я пришла в тридцать шестом. Дали мне сорок восемь телят. Они ведь все равно что дети малые: за каждым глаз нужен. А опыта никакого. Случалось, что я делала вовсе не то, что надо...

В первый год Масленникова вырастила всех до одного доверенных ей сорок восемь телят, на второй год — пятьдесят четыре, на третий — шестьдесят. Падежа не было, а ежедневный привес достигал шестисот восьмидесяти граммов.

Девушка вспомнила случай, когда телочка Лента заболела воспалением легких. Гибель телочки казалась неизбежной. Самоотверженная телятница спасла Ленту: несколько дней не спала, кипятила воду, прикладывала телочке компрессы...

— Ей обязательно надо учиться, на курсы зоотехников надо послать, — сказал Федор, когда мы покинули Шиковку.

О Евдокии Масленниковой Федор потом написал рассказ «Телятница».

...В селе Безобразовка мы встретились с моим закадычным другом, садоводом Иваном Тимофеевичем Мазановым.

Войдя в дом Мазановых, Федор обратил внимание на стопочку книг: все — по садоводству и пчеловодству. Над окном, почти у самого потолка, прикреплен плакат. Вверху надпись: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», — а под ней румяные яблоки, сочные сливы, тяжелые кисти винограда. Левее на стене висел портрет Мичурина.

— Этого человека я полюбил давно, — проследив за взглядом Федора, сказал Мазанов. — Про его опыты прочитал много книг. Можно сказать, начал он заниматься садоводством с пустяка, а потом и мировая слава пришла. Сколько у него было неудач! Но в своих убеждениях был тверд.

Федор внимательно слушал Мазанова, а потом попросил, чтобы он показал нам сад и пчел.

Мы обогнули дом и спустились в сад. В мягкой, будто вата, хорошо возделанной земле тонули ноги. Мазанов вел нас от одного фруктового дерева к другому и рассказывал историю каждого.

— Если взять эту вот грушу, — говорил Мазанов, — то ее нашел в лесу мой сын Андрюшка. Привезли мы леснушку сюда, посадили, а потом привили к ней бергамот. Из дикого дерева получился неплохой сорт груши. Пять лет всего, как увлекся я Мичуриным, попробовал прививать к одному дереву несколько сортов плодов. И, как видите, — он гордо обходил вокруг яблони, показывая привитые ветки, — все прекрасно приросли...

Я вижу удивленное, вернее, восхищенное лицо Федора. А Мазанов увлекся, объясняет и показывает Федору все подробно, как специалист специалисту. В разговоре выяснилось, что Мазанов занимается садоводством уже пятнадцать лет.

— И только у себя?

— Зачем у себя? — Мазанов улыбнулся. — Правление колхоза доверило мне общественный сад. Мои здешние начинания переходят туда. А как же иначе? Теперь мы стали уже не то, что были раньше. Прежде-то мое так и было моим, крепко за него держался. А раз

сад общий, наш сад, то и он стал как бы моим. А раз мой — все хорошее ему отдашь...

На другой день мы побывали в пионерском лагере, а вечером в павловском Доме культуры состоялась встреча с земляками.

Дома, в Павловке, Федор пробыл еще сутки. Мать не знала, чем на прощание угостить сына, пекла оладьи, поила его парным молоком, приговаривая:

— Федярка, ты пей его, пей... Врачи калякают, оно полезительное.

Сама мать к врачам не обращалась никогда. При народе любила выпить рюмку водки — вин не признавала, — щеки ее покрывались румянцем, она молодела. Тост произносила всегда один и тот же:

— С богом, за общую компанию.

Все это Федор хорошо знал и матери не перечил. Но в тот раз спросил:

— Врачи народ ученый, а для темного народа у тебя что приготовлено?

Мать тихонько засмеялась. Вытирая концом ситцевого платка губы, сказала:

— Это, сынок, ужо увидишь по холодку. Отец в саду стол мастерит.

— Какой он догадливый! — обрадовался Федор и обернулся ко мне: — Как ты на это смотришь, местная печать? Пойдем отцу поможем. Не забывай — ему скоро семьдесят.

Отца мы нашли возле амбара, в тени густой яблони. Он мастерил стол — человек на сорок. Увидев нас, сказал:

— Как у тебя там, Федя? «Пей-гуляй, однова живем...»

— Знаешь?

— А как же! Всю зиму читали твои «Бруски». Правду люди слушают хорошо, а где душой начинаешь кривить, морщатся, словно старая зубная боль начинает маять.

— Стараюсь правду писать, отец.

— Правда горда, неправду ею не укрывай, все равно выпирает, как шило из мешка.

Вскоре мать накрыла стол скатертью, поставила закуски, водку. Наверное, у Панферовых никогда еще не

было столько народа. Шли родные, шли соседи, шла вся улица.

Надолго остался в памяти тот вечер. Вместе со всеми Федор пел:

Ты не плачь, не горюй,
Из очей слез не лей,
Нам не нужно тоски,
Нам не надо ее...
Есть на Волге село,
На крутом берегу,
Там отец мой живет
И родная мне мать.
Там отец мой живет
И родная мне мать,
Сына в гости зовет,
Я поеду к отцу.
Я поеду к отцу,
Поклонюсь родным,
И согласья добьюсь —
Повенчаюсь с тобой.
Прирядись, нарядись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной.
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной,
Пусть пылает лицо,
Как поутру заря...

На другой день утром Федор уехал в Куйбышев. Вместе с ним поехал и я. О родных местах он написал очерк «Пшеница», а черточки встреченных им там людей много лет спустя я находил в героях романа «Волга-матушка река».

Поскольку Федор тогда собирал материал для романа «Большая Волга», мы с ним направились в только что образованное управление по строительству Куйбышевской гидростанции. Там Федор познакомился с крупнейшим советским гидростроителем Жуком. Тот сразу сказал:

— Что такое чертежи?.. Поедемте на место, там в натуре покажу, что и как.

Мы поехали на небольшом катере вверх по Волге.

Вскоре город словно растаял, исчез из виду, на берегу поднимались кручи гор, поросшие мелким кустарником.

Вдали показались Жигулевские ворота.

— Строительство предполагается начать вот в тех

воротах, — показал сопровождавший нас пожилой инженер. — Это будет второй Днепрогэс, даже значительно больше. Когда поднимется плотина, здесь образуется море...

Федор внимательно слушал инженера, рисовавшего красочную картину предстоящего строительства. Но, как известно, в те годы Куйбышевскую гидроэлектростанцию не построили — началась война...

В Куйбышеве мы с Федором расстались: он улетел в Москву, я уехал к себе в Павловку. Но в Москве Федор пробыл недолго. Вскоре в саратовской молодежной газете появилась информация:

«Вольск. Сюда 1 октября приехал писатель Федор Иванович Панферов. Цель его приезда — пополнить свои материалы для новой книги. В первый же день приезда тов. Панферов был на цементном заводе «Красный Октябрь», где интересовался качеством цемента.

Второго октября Федор Иванович на вечере студентов Вольского педагогического училища сделал доклад «Молодежь в литературе». Доклад вызвал много интересных вопросов, на которые писатель дал ответ. Тов. Панферов пробудет в Вольске несколько дней».

Некоторое время спустя та же газета сообщила:

«Балашов. 23 октября. Сюда приехал советский писатель Федор Иванович Панферов. Он провел беседу с курсантами и командирами школы Гражданского Воздушного Флота на тему «Литература и советский народ». Писателю было задано много вопросов».

...Перебравшись на лодке на правый берег Волги, Федор побывал в Широком Буераке, посетил могилу Степана Огнева, встретился с его сыном, таким же работягой, как и весь род Огневых.

Объехав десятки сел Поволжья, Федор в конце октября приехал в Саратов. В этом городе Федор себя чувствовал не как гость, а как его сын. Это был город его юности, и он любил его. Всякий раз Федор посещал парк Липки, краеведческий музей, склонив голову, по несколько минут стоял возле памятника Чернышевскому, непременно заглядывал на улицу, где в одном из конфискованных барских особняков проходил в 1919 году первый комсомольский съезд.

И всегда Федор встречался с читателями-саратовцами. Если в прошлый раз такая встреча состоялась в стенах Государственного университета имени Н. Г. Чер-

нышевского, то в этот раз — в педагогическом институте. На этой встрече Федор сказал:

— Мы своим творчеством хотим помочь рабочему классу в его великой борьбе за создание бесклассового социалистического общества.

В конце 1937 года, отвечая на традиционный вопрос «Литературной газеты», Панферов сказал: «В конце 1938 года дам роман «Большая Волга»... Роман посвящается строительству Куйбышевского гидроузла и мелиорации Заволжья. Одновременно пишу пьесу «В поисках радости» — о радости коллективного труда».

В декабре 1939 года киностудия «Мосфильм» поставила по сценарию Федора фильм «В поисках радости». Режиссерами-постановщиками этого фильма были Л. Г. Рошаль и В. П. Строева. В том же 1939 году Федор Панферов написал пьесу «Жизнь». Постановку ее осуществил Малый театр под руководством народного артиста РСФСР И. Я. Судакова.

Пьеса «Жизнь» была поставлена Театром Красной Армии и другими театрами страны.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

...Кроме Павла Дубкова и меня — мы дневальные, — в казарме ни единой души: все ушли на прощальную массовку. Дубков сидел верхом на стуле, устремив взгляд в распахнутое настежь окно. Был Дубков не по годам толстоват, говорил медленно, словно ковал каждое слово.

Мы оба — редакторы районных газет. Познакомились здесь, на военных сборах, и за два месяца хорошо узнали друг друга. Завтра уезжать по домам. Думать о любимой работе радостно. Что может быть лучше, чем с первым трактором выехать в поле, поесть вместе с трактористами пропитанного дымком картофельного супа, полежать на припеке, вдыхая запахи земли. Тому, кто не испытал такого удовольствия, этого не понять. У районного газетчика много забот: условия работы тяжелые, народу в редакции раз, два — и обчелся, и задачи, которые стоят перед журналистами-газетчиками, большие.

Быстро пролетели два месяца на военных сборах. «Тяжело в учении — легко в бою». За это время мы

убедились, что Суворов был прав: в учении нам, людям сугубо гражданским, приходилось порой ох как тяжело! А что касается «легко в бою», об этом не думалось: страна наша жила мирным трудом, мирным строительством, и вот накануне отъезда домой мы с Дубковым предались мечтам: как проведем первый день дома и в редакции.

Беседу нашу нарушил резкий хлопок двери. Торопливо вошел старшина Петухов. Дубков вскочил со стула, встал было по стойке «смирно», но не успел отрапортовать, как Петухов, тихо, с хрипотцой, выдал:

— Никакой паники, война началась...

К вечеру нам выдали новое обмундирование и личное оружие — пистолеты в желтых хрустящих кобурах, накормили обедом, и под звуки духового оркестра мы направились к пристани.

Скатка оттягивала плечо, воротник гимнастерки сдавил шею. Хотелось все это сбросить с себя, освободиться. Увы...

Вот и пристань. Белым лебедем покачивался на воде пароход.

— Справа по одному! — раздалась команда.

Словно от большого каравая хлеба, от колонны ровно «отрезаются» шеренги, и новоиспеченные воины взбегают по трапу на пароход.

Мы с Дубковым заняли места на верхней палубе, на корме. Пилотка у него чуть сдвинута набок. Ловлю себя на том, что то и дело поглядываю на шпалу в петлице его гимнастерки — комиссар! А у нас, политруков, — по три кубаря.

— Товарищ комиссар, разрешите? — шуткой пытаюсь согнать напряжение.

— Вольно! — в тон мне шутливо ответил он.

Пароход дал гудок и медленно отвалил от пристани вниз по Каме-реке.

Путь наш лежал на Казань. Там мы погрузились в вагоны, и эшелон двинулся, как мы догадались, к Москве.

Прошло более суток, и вот за полночь где-то у Люберец поезд замедлил ход, приглушенно прогудел. Сердце защемило, по спине пробежали мурашки. Почти шепотом передалась команда, запрещающая выходить из вагона.

Мы с Дубковым лежали на верхней полке. Гул самолетов то усиливался, то удалялся, в небе вспыхивали разрывы зенитных снарядов.

Дубков сжал мой локоть:

— Не так, Сашка, хотел бы въезжать в Москву!

Я молчу и мысленно соглашаюсь с Дубковым. Много поработала редакция моей районной газеты «Заря коммуны», мы даже выступили в «Волжской коммуне» с призывом развернуть соревнование за право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Газета этого права добилась, думали поехать в столицу. И вот...

И вот я въезжаю в Москву.

Хмуро, неприветливо встретил нас Казанский вокзал. Серые стены, серые солдатские шинели. Спешу к автомату, набираю номер телефона брата Алексея. Телефон молчит. Набираю номер Федя. К моей радости, раздаётся продолжительный гудок, а затем голос брата.

— Федя! — кричу в трубку. — Это я, Шура! Где все наши?

— Приезжай скорей!

Передаю вещевой мешок и скатку Дубкову, выбегаю на Каланчевскую площадь, сажусь в трамвай...

Вот наконец и дом, где живет Федор. Пулей взлетаю на пятый этаж, звоню. Дверь открыл Федор, окинул меня взглядом:

— Значит, на фронт? — И крепко обнял меня: — Ну, здравствуй, братишка.

В голосе Федора я уловил грусть. Да и немудрено: квартира пуста — жена и дети уехали в Алма-Ату, отложена в сторону рукопись нового романа о Волге.

— Бомбят? — я кивнул на видневшийся за окном разбитый дом.

— Сегодня ночью...

В моем распоряжении были считанные минуты, и я сказал Федору, что должен немедленно вернуться на вокзал.

— Я тебя провожу, сейчас оденусь. — Федор вышел в соседнюю комнату.

— Подполковник Федор Панферов в вашем распоряжении, — пошутил он, появляясь на пороге в военной форме.

Мы чуть не опоздали. У входа в вагон нас встретил Дубков:

— В дезертиры тебя записывают...

— Так уж и сразу, — вмешался Федор.

— Шутковать теперь не будут, — сердито ответил Дубков, хотел добавить еще что-то покрепче, но, увидев шпалы на петлицах у Федора, стушевался и покраснел.

— Это мой брат, — пояснил я.

Дубков вытер платком вспотевшую шею, покосился на меня:

— Чего же ты молчал? — И метнулся к Федору: — Мой отец любил читать «Бруски», настольная книга его была. Он председателем колхоза был.

Дубков стал о чем-то спрашивать Федора, но в этот момент вагон дернулся, и мы заторопились прощаться. Федор крепко прижал меня к себе, сказал тихо:

— Врага бей, себя береги.

На фронте я знал о Федоре только по газетам или радиопередачам. Спустя много лет я прочитал в одной из его записных книжек:

«В июне началась война, а гитлеровцы уже под Ельней — почти под Москвой, под Киевом, около Ленинграда, уже врвутся на Калинин...

И мы вместе с Владимиром Ставским едем под Ельню.

Я необстрелянный, и меня все виденное на пути пугает и тревожит. От пушечного выстрела я вздрагиваю, воронка, вырытая бомбами, мне кажется пустым глазом земли. Вот смотрит она на нас такими глазами и говорит:

«Что вы делаете, люди? Во имя чего вы уничтожаете друг друга?»...

Ставский сам ведет машину. Он где-то раздобыл «эмку». Хорошая машина, но «шофер» еще неопытный. Иногда путается в скоростях, вместо третьей скорости вдруг даст задний ход...

Добрались до штаба армии. Встретил нас генерал Кондратьев — очень милый человек, почтительный, а руки у него нежные, сам чистенький.

Наутро мы на передовой.

Идем по какому-то оврагу, изрытому окопами-кув-

шинчиками и блиндажами. С нами комиссар дивизии в чине полковника...

Через овраг в деревушку на пригорке враг посылает мины. Я слышу, с каким скрипом они ревут, и у меня подкашиваются ноги. Но вот мины посыпались в овраг, почти на наши головы. Все падают на землю, кроме меня. Чувствую, кто-то теребит меня за штанину.

— Ложись! — кричит. — Чего героизм проявляешь?! Я ложусь.

Вечером комдив (это он кричал на меня) говорит:

— А писатель-то у нас — не из трусов. Мы уже все легли, а он — стоит».

Вскоре Федор Панферов освоился с фронтовой обстановкой, сдружился с бойцами, многое порассказали они ему, и в частности про комиссара полка Левченко, о том, как он случайно попал в руки немцев, как они его пытали — от пыток он ослеп — и как потом товарищи его выручили. Подробно рассказали бойцы и о медсестре Антонине Маленькой.

Все увиденное и услышанное Федор Панферов использует в своем творчестве. В его военной повести «Своими глазами», которая увидела свет в конце первого военного года, — в одиннадцатом и двенадцатом номерах журнала «Новый мир», заметное место занимает комиссар Левченко, любовно выписан образ Антонины Маленькой.

Повесть «Своими глазами» положила начало военной теме в творчестве Панферова. То, что было собрано для романа «Большая Волга», пришлось отложить, рождались новые замыслы. Панферов решил сопоставить жизнь солдата на фронте, его борьбу с врагом с жизнью и работой советского человека в тылу. И для этого едет на Урал. Все впечатления, по давней привычке, заносит в записную книжку.

«...Урал снова пленит меня. Мне до сих пор снятся сны, будто я один брожу по горам Урала, в его густых лесах, и всюду высокие травы сочатся зеленью, хотя на Урале я не был уже лет десять.

Челябинск, когда-то похожий на большое село, в котором самым крупным зданием являлась пересылочная тюрьма, ныне оброс каменными многоэтажными домами, улицы в центре заасфальтированы, окраины заняты заводами, построенными в годы пятилеток.

На Урал в первый же год войны приехали эвакуиро-

ванные заводы Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Тулы и других городов, и теперь он снова строится. Само по себе уже строительство первых пятилеток встряхнуло седой Урал: люди из деревень и городков хлынули на строительство, да так и застряли там, а ныне еще прибыл дополнительный рабочий класс из Ленинграда, Москвы, Тулы, со Сталинградского тракторного. Значит, какое же они произведут влияние на быт и нрав уральцев, еще не втянутых в заводские коллективы, что ныне неизбежно.

Тема-то какая...

Эпоха индустрии, да еще в самое трудное время — годы напряженной войны.

И вдруг все мои впечатления воскресают — впечатления от строительства Кузнецкого металлургического, от «Уралмаша», от Челябинского и Сталинградского тракторных, от Горьковского автомобильного. На всех этих стройках, а впоследствии заводах я бывал, наблюдал за перековкой мужицкой души на пролетарский лад; а вот теперь сюда прибыл «столичный пролетариат».

В Куйбышеве за рекой Самаркой лежит пустырь — назывался пустырь Безымянный. Ему имя даже не смогли придумать. Водились тут зайцы, лисы, по оврагам — волки...

В годы пятилеток на Безымянном вырос гигантский завод и город. Этот новый завод и новый город встряхнули старую Самару и превратили ее в культурный город Куйбышев.

И такое случилось, например, во всех городах Поволжья. Это еще в мирное время. А ныне война, и на Урал пришли люди из центра со своей культурой, своим бытом, своей идеологией авангарда.

Какая богатая тема: в борьбе за социалистический строй, который гитлеровцы намерены разрушить и которому противна завоевательная война, люди строят новые заводы, одновременно перевоспитывая себя.

«Война за мир» — сначала у меня появилось такое название романа, затем укрепилось — «Борьба за мир».

Надо только выбрать «площадку» для романа. Пожалуй, лучше всего городок, где еще сохранился старый уклад и быт... И я попадаю в городок Миасс, расположенный неподалеку от центра Уральского заповедника — между Златоустом и Челябинском.

Городок Миасс когда-то обосновался в богатой золотоносной долине Миасс, в котловине, окруженной «копытом» невысоких гор. Это здесь, в этой долине, как рассказывают, когда-то был найден кусок золота весом в два пуда. Было это или не было, но одно достоверно — долина Миасс стала богатой золотыми россыпями. С годами она обедняла, но старатели не покидали своего ремесла: в лодках промывали песок, уже десятки, а может, и сотни раз промытый до них их предками. Отпечаток старателей — людей замкнутых, недоверчивых, в большинстве староверов — лежит на всем.

И вот в трех-четырех километрах от этого городка и таких замкнутых жителей заложен завод, в основном рабочими Московского автомобильного завода и рабочими Сталинградского тракторного.

Людям жить негде: тех бараков, которые тут сколотили на скорую руку, не хватит, строят дома — нет ни средств, ни времени. Страна воюет, и война требует продукцию.

Москвичи и сталинградцы в поисках временного угла хлынули к жителям Миасса.

— На кой нам его, — ворчит вся семья и бурчит глава дома, — поналетали.

Так неприступно они вели себя вначале, а потом «лопнула пружина». Иных мужей и сыновей по законам военного времени призвали на строительство завода, иных в армию. Те, кто был призван на строительство, вскоре увидели, что «квартированные» вовсе не плохие люди, даже хорошие, даже такие, у которых есть чему поучиться, а живут плохо — ютятся в бараках, а скоро грянет уральская свирепая зима.

— Да как тогда в глаза-то им смотреть?

И миассцы стали приглашать друзей по работе к себе в крепкие дома на постой. Те входили в семьи людей замкнутых, недоверчивых, неся одновременно свой быт, свои навыки, свое отношение к людям — чистое, человеческое... И покорили миассцев.

Затем поднялись матери, сыновья которых уже воевали, жены, мужья которых бились на фронте.

— Наши-то там в окопах как страдают. Да неужели их там никто не приголубит, как жить? А мы тут... Потеснимся, отец, не задохнемся.

И отцы стали отступать, понимая, что требование домашних вызвано хорошим патриотическим чувством.

Чтобы поглубже познать быт и нрав старателей, я и занялся поисками угла.

Вот Герасим Капустин (в романе «Борьба за мир» я назвал его Евстигнеем Караповым). Шатровый дом у него, хотя и побурел от времени, хотя крыша и покрылась рыжеватым мхом, но крепко сколочен и, конечно, калитка с секретным запором. Я уже знал, что его два сына на фронте, снохи дома, и одна из них, красавица Варвара, рвется на строительную площадку.

Герасим не пускает, как и не пускает к себе в дом жильцов: боится.

— Да и нужды у нас в этом не водится, — отвечает он.

Мать и сноха протестуют, ссылаются на соседей, пустивших на постой москвичей. Герасим только цыкает:

— Проглотите языки!

Я осторожно постучался в калитку. В окно выглянула курчавая, седоватая голова.

«Сам», — мельнуло у меня.

— Чего? — слышалось через полуоткрытую створку окна.

— Что ж мы с вами так-то будем разговаривать. Уж к калитке, что ли? — заговорил я, стараясь по-доброму улыбаться, а на самом деле растерялся: не пустил в дом.

— Герой. Сразу требует хозяина к себе, — с насмешкой произнес Герасим. — В кишках урчит от ваших пощений. Что ж? Я готов.

Что-то долго он изнутри двери гремит запорами, затем калитка полуоткрывается, и вот в прогале передо мной вссь Герасим Капустин.

Он низенький, плотный, в белой рубашке, подпоясанной пояском с кисточками, в широких шароварах и опорках на босу ногу, а голова у него кудрявая, седая. Всем своим обликом он напомнил мне березовый пенечек.

— Ну! — прикрикнул он, как кричат на лошадь, когда она куда-то тянется.

— Я только что с фронта приехал. Может, сыновей твоих там видел, а ты нукаешь на меня, как на лошадь, — произнес я и силой ворвался в калитку, отпугивая Герасима.

— Эх, ретивый! — но уже без злобы, а как-то в полшутку выкрикнул он, шагая за мной по каменным ступенькам в дом.

Я мельком глянул на внутренность двора — на крепкие клетушки, кладовки, конюшню, сарай, высокий каменный забор — и, переступая порог хаты, сказал:

— Хозяйственно все у тебя, ухожено.

— Ни! Был хозяин, чего говорить. В крови у нас, Капустиных, — не без гордости похвалился он, однако с неиспытанным удивлением глядя на меня: нахально человек ворвался в дом, да еще оценку хозяйству дает: «Какой?!»

За столом сидели две снохи и жена Герасима.

Одна из снох, Варвара, еще совсем молодая, ей, видимо, нет двадцати пяти — румянощекая, с правильными чертами лица и такими призывными глазами, что я даже удивился. Она не толстая, но полнотелая, налитая, как говорят о таких. Вторая сноха, Груня, постарше Варвары, но тоже еще «не обветренная». Жена Герасима уже постаревшая.

При моем появлении они все встали и по-уральски отвесили низкий поклон.

— Вот, говорит, видал наших ухачей на фронте. А может, для красного словца сбrehнул.

— Не для красного словца, а снова собираюсь на фронт. Сообщил, где сыновья, — разыщу.

Снохи сразу всколыхнулись. А как же? Человек собирается повидаться с их мужьями. А мама так вся и потянулась ко мне, приговаривая:

— Самовар. Отец, самовар надобно.

— И то, — в каком-то замешательстве произнес он и подал жене ключи.

«Самовар держит на замке. Скуп, значит», — подумал я, невольно заглядываясь на красивую Варвару, думая: «Наверно, озорная была в девках, крутила головы парням».

Я сел на стул, и наступила томительная пауза: мы не находили о чем говорить, да и обстановка-то необычная. Про Герасима соседи говорят, что к нему в дом даже муха чужая не залетает, настолько замкнуто они живут, а тут нате-ка вам, за столом посторонний, чужой человек. Верно, на фронте собирается повидать двух сыновей. Да еще как сказать. Может, балабол, трепач. Но мать, видимо, сердцем почувала, что пришел не бала-

бол и поэтому, вскипятив, поставила самовар на стол и командовала снохам:

— Что глаза-то вылупили? Стаканы-чашки давайте. Бруснички на меду достаньте, — и глядя на мужа, — и я так думаю, пельмени надо... Гость-то какой! — прикрикнула она, видя хмурое лицо Герасима.

Я в эту минуту подумал: «Теперь мне положено непременно разыскать ее сынков на фронте, иначе я нанесу неизгладимое оскорбление этой матери».

А она продолжала командовать:

— Варя, замеси тесто — пельмени будем делать. Ты расторопная, живо приготовишь, а ты, Груня, крути мясо. Там, в кладовке, мясо-то.

Вот и настоящие сибирские пельмени, да еще хозяин извлек откуда-то пол-литра водки, и, наконец, все и прорвалось. Первая завопила Варвара:

— Держит нас во дворе папаня, как телок... Боятся чего-то. А соседские бабы уже на строительстве... и Елька, подруга моя, уже спеху получила: каменщик.

— Хвостом вертеть желаете, вот и рветесь.

— Да ведь хвостом вертеть она и тут может: москвичи-то в улице живут. Не сложно это, хвостом вертеть, — тихо возражаю я.

— Поработать на фронт хочу, а он — хвостом! — чуть не плача кричит Варвара.

Ее шумно поддерживает Груша.

Герасим, разбурявшийся от выпитой водки, вдруг вскочил со стула и, протянув над столом коротенькие руки, точно оберегая на столе что-то драгоценное, закричал:

— Замолчите! — а потом заиграл словами, как ладами на гармонике».

И все-таки жизнь перекраивала таких, как Герасим Капустин, это хорошо видел Федор Панферов.

Здесь, на Урале, Федор Панферов искал героев для продолжения повести «Своими глазами». О жизни уральского тыла он написал новую повесть «Рука отяжелела», отдельные ее главы были напечатаны 22 августа 1942 года в «Правде», а целиком — в журнале «Новый мир» (№ 11 и № 12 за 1942 г.).

В процессе подготовительной работы над романом

«Борьба за мир» Федор Панферов пишет цикл очерков.

Вот как охарактеризовал Федор замысел романа в своих коротких записях:

«Начинаю писать роман «Борьба за мир» — о том новом, поистине небывалом в истории человечества явлении, когда люди — все люди страны — воюют не с целью покорить тот или иной народ, дабы завоевать его, а с целью — прикончить войну и заняться мирным творческим трудом.

Я на своей памяти имею русско-германскую войну. Тогда верхушка гремела о завоевательных целях, и это вколачивалось в сознание масс.

Гражданская война — отбиться от врага, освободить страну от белогвардейцев и заняться строительством социализма.

Наша — разбить гитлеризм, этого всемирного врага, — этой мыслью пронизаны не только рабочие Миасского завода, но и рабочие Златоуста, Челябинска и других городов Урала. Это устремление пронизало всех... но директор завода должен быть душой коллектива... и такой душой становится на заводе Николай Степанович Кораблев, прибывший вместе с рабочими из Москвы.

Человек этот твердой воли, хорошего ума, знающий производство, но семейные его дела нарушила война: жена художница Татьяна Половцева, сынишка и теща оказались на территории, занятой врагом».

Задумав роман, даже написав многие главы, относящиеся к работе людей на заводе, Панферов снова едет на фронт — сначала под Орел, но теперь уже не один: с ним вместе, у него в мыслях, основной герой его романа — Николай Кораблев.

О некоторых подробностях пребывания Федора на фронте я узнал много лет спустя после войны в Калинин, куда приехал с группой писателей — в то время я работал в издательстве «Московский рабочий», — на читательскую конференцию, организованную областной библиотекой.

Вечер прошел замечательно. Работники библиотеки подарили нам книгу — путеводитель по Калинин.

— На одной из страниц сказано о Федоре Ивановиче Панферове. Он бывал у нас, выступал в этом зале.

— Вы брат Федора Ивановича? — Мне крепко пожал руку местный журналист Николай Иванович Мазурин.—

Мне посчастливилось встретиться с Панферовым во фронтовой обстановке.

И Мазурин подробно рассказал, как к ним в дивизию в марте 1943 года приехал Федор Иванович Панферов. В тот же вечер, на свежую память, я записал рассказ Мазурина:

«В марте 1943 года наша армия занимала оборону на реке Зуша, восточнее Орла, в деревне Селезнево. Шла обычная солдатская жизнь, в трудах, заботах, тревогах. А тут ровно разорвалась бомба: появился писатель Федор Панферов. Приехал в потертой дубленке, шапке-ушанке, солдат солдатом. При первой же встрече он сказал: «Хочу ближе узнать психологию фронтовиков, защитников социалистического отечества, собрать материал для задуманного мною произведения».

С особым чувством разглядывал я Панферова: не всегда приходилось даже на гражданке встречаться с такими людьми, а тут вот сидит рядом, курит, почти не вынимая папироски изо рта.

«Коль надо собрать материал, так собирайте, — ответил Панферову командарм. — Для порядка прикрепим вам капитана Мазурина, сам он тоже занимается писаниной».

С этого часа мы с Федором Ивановичем стали неразлучны. Возьмем утром лошадку — и к солдатам. В тот первый день я его познакомил со снайпером Брикониным. Это был жидковатый на вид человек с рыжими усами. Федор Иванович умел подойти к человеку: хоть и не хочет, а разговорится. Так вот, стал он этого снайпера расспрашивать, и выяснилось, что Брикониин — колхозник из-под Горького. Волжанин! Земляк, стало быть. И вдруг спрашивает:

— И не жалко тебе лупить их?

— Не лазь, зачем лазить, — спокойно ответил снайпер. — Мы его не звали, а коли пришел, то и получай по заслугам...

Федор Иванович собирал нужный ему материал, что называется, по крупницам.

Помню и такой случай. Дежурный по штабу доложил:

— Прибыл товарищ Юдин.

Федор Иванович даже вздрогнул, бросился к двери навстречу своему другу:

— Паша, какими судьбами?

— Нюх, Федя, нюх... Сердце подсказало, что ты тут. Стоял теплый мартовский день. Мы вышли на улицу, кто-то предложил сфотографироваться. Место выбрали между двумя домами, возле стога сена.

Когда фотограф навел аппарат, наш помполит крикнул: «Замереть!»

Панферов весело пошутил:

— Вместо того чтобы поднять людей на ратные дела, ты без зазрения совести призываешь замереть.

Все рассмеялись».

Мазурин показал мне эту фотографию.

Панферов бывал на фронте и позднее, участвовал в боях при переправе через Днепр. С армией генерала Горбатова дошел до Берлина.

...Почти три года я ничего не знал о своей семье и о Федоре. В боях под Харьковом в 1942 году, раненый, я попал в плен, прошел через многие фашистские концлагеря, хлебнул лиха в шахтах Судетской области. В 1945 году Гитлер издал приказ уничтожить всех советских офицеров в печах Дахау, и нас уже погнали туда, но, на наше счастье, обстоятельства сложились так, что колонну повернули с основного намеченного маршрута и повели через чешские села. С помощью чешских партизан мы освободились и влились в их отряд, чтобы бить ненавистного врага. Наша активность особенно усилилась, когда в Праге вспыхнуло восстание. Туда на помощь шли советские танки...

Война кончилась. Я отправил на родину три письма: жене, родителям и Федору.

Все праздновали День Победы, рассказывали мне потом родные, только моя жена была невесела: ей давно прислали на меня похоронную. Жене предложили оформить пенсию, однако у нее не поднималась рука расписаться в том, что меня больше нет в живых. Она все еще ждала, надеялась...

И вдруг, опередив мое письмо к жене, из Москвы ей пришла телеграмма: «Шура прислал письмо. Федор».

Полученную телеграмму читали все мои знакомые, родные. Радости не было конца. Только моя жена то и дело повторяла:

— А почему нет слова «жив»?

— Дурушка,— успокаивала ее моя мать.— Коли письмо прислал, то, значит, и жив.

Да, назло всем смертям, я был жив!

Из рядов Советской Армии меня демобилизовали осенью 1945 года. В Москву поезд прибыл рано утром. Не прошло и часа, как я уже стоял перед Федором.

— Ноги, руки целы, — пошутил Федор. — А остальное — дело наживное.

Федор познакомил меня со своей другой женой — писательницей Антониной Дмитриевной Коптяевой. Уходя, она сказала, что спешит на занятие в Литературный институт имени М. Горького. У нее уже вышел роман «Фарт», готовился к печати и роман «Товарищ Анна».

Мы остались с Федором, началась душевная, братская беседа. Вскоре приехала сестра Мария, немного осунувшаяся, опечаленная. Ее муж ушел на фронт ополченцем и не вернулся. Она пыталась навести справки, но безрезультатно. Видимо, он погиб в первых боях. Теперь она осталась с сыном Владленом.

Понадобилось несколько вечеров, чтобы поведать старшему брату о всех ужасах плена, через которые пришлось пройти. Однажды Федор сказал:

— Поезжай в Павловку, садись и подробно все опиши. На первый случай вот тебе, — и подал мне деньги. — Если не хватит, черкни, вышлю. Но без книги не показывайся.

Через четыре месяца я привез рукопись книги. Много лет спустя она вышла под названием «Плен».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Как только пробил час победы над фашистской Германией, Федор Панферов снова занял свое место в кабинете редактора «Октября». Один за другим начали появляться в «Октябре» прозаики и поэты.

Главное — возвращались давнишние друзья.

Одним из первых пришел Аркадий Первенцев.

В костюме голубого цвета он выглядел солидно и красиво.

— Вот это моряк, — обнимая Первенцева, сказал Федор.

— Не могу расстаться с морской волной, — улыбнулся Первенцев. — Прицепилась она ко мне, а я к ней. Живем любовно.

В период войны Панферов и Первенцев встречались редко и случайно. Первенцев находился на флоте, а Панферов — на Центральном фронте в армии генерала Горбатова, но друг о друге знали, читали фронтовые очерки.

И вот опять вместе.

Друзья сидели часа три. Им было о чем поговорить. В начале войны Первенцев написал роман «Испытание», а в 1945 году — роман «Огненная земля». Для первого романа материал собирал на Урале, а для второго — на фронте. Был ранен, лежал в госпитале, затем — снова на фронт.

Федор же только что напечатал новый роман «Война за мир».

— Для отдельного издания название романа я изменю, — сказал Федор. — Назову «Борьба за мир». Это значительно шире.

Первенцев на минуточку задумался.

— Видимо, верно... А я начал писать новый роман.

— Какой?

— «Честь смолоду».

— Хорошо.

Их мирную беседу нарушил Григорий Санников. Вошел в комнату, поправляя галстук.

— Жмет? — заметил Федор.

— Отвык от него, — добавил Санников.

Вскоре кабинет заполнили прозаики и поэты Борис Горбатов, Александр Исбах, Валентин Овечкин, только что напечатавший свою повесть «С фронтовым приветом», Николай Грибачев, Анатолий Софронов, Владимир Туркин, Михаил Луконин, Лев Кондырев, Сергей Васильев, Юрий Пухов...

— Занимайте места, — командовал Федор. — А коли нет стульев, то осваивайте подоконники, как танкисты.

Сколько тут было разговоров! У каждого сотни задумок. Редакторский стол был завален романами, поэмами, стихотворениями, песнями.

Когда поздно вечером все ушли, Федор сказал Первенцеву:

— Они все заряжены, Аркаша... Нам нужна выдержка. Не следует их торопить стрелять. Не дай бог, попадут холостые патроны.

Вспомнили о тех, кто не вернулся с поля боя.

— С Володей Ставским, — сказал Федор, — мы в первые дни были направлены под Ельню. Потом как-то наши фронтовые дороги разошлись. Сообщение о его гибели меня потрясло. Хороший был коммунист, хороший писатель.

Не вернулся с фронта и Василий Дубровин. Его добрый талант не успел развернуться. В 1940 году он закончил сценарный факультет Института кинематографии. С первых дней войны ушел в ополчение, а осенью 1941 года погиб в районе Дорогобужа на Смоленском направлении.

Всего на фронте погибло четыреста писателей. Тяжело было об этом вспоминать работникам «Октября».

Когда роман «Честь смолоду» вышел из печати, Аркадий Первенцев на титульном листе книги написал: «Дорогой Федор Иванович! От всей души дарю тебе эту книгу, в рождении которой ты так много и сердечно помог с присущей тебе жаждой укрепления и развития литературы. Спасибо, дорогой друг Федор Иванович! С любовью Аркадий Первенцев».

В редакцию журнала «Октябрь» как-то зашел редактор газеты «Социалистическое земледелие» Н. И. Анисимов.

— Федор Иванович, хотелось бы, чтобы вы выступали в нашей газете.

Федор открыл ящик стола, достал несколько исписанных листков.

— Подойдет? — и подал их Анисимову.

Анисимов перечитал вслух:

— «В глуши» (рассказ). Вот спасибо.

В ноябре 1945 года в газете «Социалистическое земледелие» этот рассказ был напечатан.

Из этого рассказа мне навсегда запомнилось такое место:

«— Керосину ныне, конечно, маловато. Но костер не гаснет.

— Какой костер?

— Да ведь в душе у человека есть свой костер. Он и при электричестве может погаснуть. А тут вот не гаснет этот костер».

Свой костер был и у Федора, его всегда тянуло к земле. На одном из совещаний работников сельского хозяйства Федор познакомился с Иваном Андреевичем Буяновым, председателем сельхозартели имени Влади-

мира Ильича. Буянов привлек внимание писателя. В этом человеке — среднего роста, но крепкого, плечистого, с острым умным взглядом, — что-то было особое, свое. Но после первого разговора Буянов показался загадочным, скрытным. «Вот это орешек» — подумал Федор, и в нем загорелся азарт познать Буянова.

В осеннюю непогоду 1945 года Федор уже в колхозе имени Владимира Ильича. Знакомиться с хозяйством Федор начал с осмотра дома В. А. Шульгина, где 9 января 1921 года выступал В. И. Ленин. Старожилы села помнят: на сходку собралось очень много народу, тут были крестьяне не только из Горок, но и из соседних деревень. Ленин говорил более двух часов, рассказывал собравшимся о международном положении, об электрификации.

— С того времени, — сказал Буянов, — у нас зажглась «лампочка Ильича».

Федор узнал, что Ленин сам начертил схему электрификации всей деревни и близлежащих деревень и следил за осуществлением этого плана.

Слушая рассказы очевидцев, Федор вспомнил далекий девятнадцатый год, когда он, молодой коммунист, приехал на VIII съезд РКП(б). Тогда он впервые увидел В. И. Ленина. Выступление Ленина на съезде осталось у Федора в памяти на всю жизнь. Это помогло ему решать многие сложные вопросы в период становления Советской власти в Поволжье. Второй раз Федор видел и слушал В. И. Ленина на IX съезде партии.

А сегодня образ Ленина стал еще понятней и родней.

Покидая дом Шульгина, прощаясь с колхозниками, вместе с Буяновым Федор направился посмотреть хозяйство артели. Конечно, война и тут наложила свой отпечаток: коровники давно требовали капитального ремонта, да и дойное стадо коров следовало заменить молодыми коровами, более породистыми.

— Теперь начнем вставать на ноги, — добавил в конце осмотра Буянов. — Мужики с войны подъезжают. Нам нужны плотники, шоферы, механики. Без этих кадров двигаться вперед невозможно.

В результате этой поездки в печати появились два очерка: «Судьбы людей» и «Горки Ленинские».

Видимо, это был первый росток Иннокентия Жука, председателя колхоза «Гигант» в романе «Раздумье».

Вскоре после войны сельхозартель имени Владимира Ильича стала одной из передовых в Московской области, а ее председатель был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда.

И теперь, когда я еду по Каширскому шоссе, то задерживаюсь на минуту на 35-м километре, чтобы поклониться бронзовому бюсту Ивана Андреевича Буянова.

На февраль 1946 года были назначены выборы в Верховный Совет СССР.

Коллектив Омутнинского металлургического завода, расположенного на северо-восточной окраине Кировской области, студенты, преподаватели Учительского института по 180-му округу выдвинули кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Федора Ивановича Панферова.

Федор с благодарностью принял это сообщение и во второй половине января поехал на встречу с избирателями. Ему не приходилось бывать в Кировской области, но он знал этот город по книгам, по периодической печати.

Прошли многолюдные собрания в Зуевском районе, на Косинской бумажной фабрике, и особенно было памятным собрание рабочих Зуевского железнодорожного узла. На нем присутствовало более полутора тысяч человек.

Окинув острым взглядом добродушные лица собравшихся, с небывалым волнением и подъемом выступил Федор.

— Как-то недавно пожилой рабочий-сталевар сказал мне: «Правду нести нелегко, она подчас бывает тяжелой, как чугун». Зато придешь к судилищу народному, вытрешь пот со лба и скажешь: «Ну вот, товарищи, я всю жизнь нес на своих плечах правду». Тебя и возвеличат. Ложь, ее можно нести, она как пух, но зато расплата — тяжела: народ в конце концов жестоко расплачивается с теми, кто несет ложь. Враги наши хотели утвердить в мире ложь, насилие, убийство. Но наша великая светлая правда победила мрачную ложь фашистов, и сегодня освобожденные народы мира судят преступников...

Подводя первые итоги встреч, председатель окружной избирательной комиссии сказал:

— Теперь, Федор Иванович, на коней пересядем?

— На каких еще коней? — не уяснив смысл слов председателя, спросил Федор.

— На обыкновенных вороных, — легонько засмеялся председатель. — Места у нас не совсем доступные. Машины пасуют, не выдерживают. А коняшки надежны. Поедем в Бисеровский район.

В дорогу Федору дали тулуп, валенки, меховые рукавицы, заячью шапку. Он походил на жителей северных областей. Садясь в сани, Федор сказал:

— Теперь нам не страшен мороз.

В село Бисерово они приехали в полдень. День был ясный, но морозный. Деревянное село, добротное построенное из вековых сосен, раскинулось на пригорке, блестя на солнце стеклами маленьких окон. Далее за избами виднелась равнина, а там река Кама.

Остановились возле двухэтажного здания. Тут их встретил секретарь райкома партии Иван Иванович Козлов. Он заговорил так, словно был очень давно знаком с Федором, сказал несколько одобрительных слов о «Брусках», шустро дал распоряжения своим подчиненным. Затем обратился к Федору:

— Федор Иванович, народ вас ждет уже с утра.

— С утра? — воскликнул Федор и, быстро выскочив из саней, передал тулуп и заспешил к Дому культуры.

Тут сидели женщины, мужчины — бывшие воины, на груди которых сияли ордена и медали.

Все было просто, почти по-семейному. Казалось, Федор их давно всех знал. Они внимательно слушали его рассказы о жизни, а потом рассказали о себе.

Много лет спустя один из участников этих встреч, М. Ардашев, прислал в редакцию «Литературной России» редкую фотографию и письмо, в котором сообщал:

«Из Бисерова Панферов поехал в деревню Гощово. После встречи с избирателями Федора Ивановича пригласили в крестьянский дом на обед. За обеденным столом и заснял его неизвестный фотограф.

Прошло без малого тридцать лет. Название колхоза изменилось. И он стал совершенно другим. Довелось бы Федору Панферову побывать здесь еще раз, он не смог бы его узнать. И той дороги, которая ему особенно запала в память, уже нет. От Омутнинска до нового районного центра Афанасьево пролегло шоссе. Мчатся

по нему машины. Мимо вековых елей и мимо сверкающих желтоватой белизной свежеструганных бревен домов новых рабочих поселков».

В редакцию журнала «Октябрь» часто приходили не только прозаики и поэты, но и избиратели. Каждого было выслушать, разобраться в его просьбах, делах, радостях и печалях.

А сколько было важных и сложных вопросов. Война унесла почти всю сельскохозяйственную технику, нет машин, нет запасных частей.

Колхозники обращались с просьбами и жалобами. Когда телефонные звонки не помогали, Федор шел в министерства, ведомства, добивался, «выколачивал» для колхозников необходимые машины, различный сельскохозяйственный инвентарь, запасные части.

В «Октябрь» шел поток писем. Был введен порядок отвечать на каждое письмо через день-два. Секретарь журнала Вера Ивановна садилась за машинку (а она была отменная машинистка), а Федор, шагая по кабинету, диктовал ответы.

У редактора журнала стало больше хлопот. К редакторским и литературным делам прибавились общественные. Но они не тяготили Федора, а, нужно сказать, прибавляли энергии, как бы внутренне заряжали его, настраивали на трудовую волну, на полную отдачу.

Каждый день с утра Федор в редакции. На ходу спрашивал своего заместителя Григория Санникова:

— Что нового?

— Звонил Герой Советского Союза Георгий Линьков. Хочет встретиться с вами.

— Как появится, сразу ко мне.

Не успел Федор налить из термоса густо заваренного чая, как в дверях показался Линьков. Немного косолапая, следя сапогами пол, смущенно оглядываясь по сторонам, Линьков прошел на середину кабинета и замер. Был он небольшого роста, на первый взгляд даже невзрачный, но это впечатление мгновенно исчезло, когда он поднял умные глаза и начал говорить. В его характере чувствовались воля и сила. Да и сложен он был складно, спина широкая, крепкие руки. Это почувствовал Федор при рукопожатии.

— А что же звездочку-то не повесили? — словно не найдя других слов, спросил Федор.

— Собирался к вам и струсил. Дело-то у меня необыкновенное. Узоры принес, — Линьков открыл потертый портфель, достал оттуда серую папку, вынул из нее рукопись, передавая Федору, добавил: — Посмотрите, пожалуйста.

У Федора загорелись глаза.

— Узоры, говорите... Обязательно посмотрю. Только немного о себе.

Слушая Линькова, Федор даже забыл про чай.

— Тут все это есть? — спросил Федор, держа ладонь на рукописи.

— Да, — ответил Линьков.

Когда ушел Линьков, Федор начал читать его рукопись «Война в тылу врага», синим карандашом делая пометки на ее полях. А когда закончил читать, передал ее членам редколлегии на чтение. Федор торопил членов редколлегии, у него было огромное желание скорее напечатать книгу Линькова в журнале.

— Вера Ивановна, — позвал Федор секретаря редакции. — Где рукопись Линькова?

— У технического редактора, на разметке.

— Мы, члены редколлегии, за две недели успели прочитать рукопись и отредактировать, а тут — вторые сутки... Вера Ивановна, непорядок...

Федор любил, чтобы в аппарате журнала был порядок, дисциплина. Если он на рукописи делал какие-либо указания, то они выполнялись абсолютно беспрекословно. Непослушания подчиненных и авторов он не терпел.

— Вера Ивановна, прошу вас, замените этого техника на более расторопного.

— Я уже предупредила ее.

Через несколько минут рукопись Линькова лежала на письменном столе редактора.

Книга «Война в тылу врага» была напечатана в журнале «Октябрь» в начале 1946 года. Затем неоднократно выходила отдельным изданием. На одной из них автор писал: «Панферову Федору Ивановичу, чье благословение получил автор, делая первый шаг к этому благородному труду. С искренним уважением, с глубокой благодарностью!»

Кто не знает «Повести о настоящем человеке» Бори-

са Полевого?.. Книга эта совершила триумфальное шествие и по нашей стране, и, можно сказать, по всей планете. Она переведена на многие языки и издана во многих странах.

Но, быть может, не все знают, что эта книга пошла в жизнь со страниц «Октября», одобрена и подписана в печать Федором Панферовым.

То, что Полевой принес свою повесть в «Октябрь», не было случайностью. Он был связан с журналом еще с тридцатых годов, когда, работая в калининской газете «Пролетарская правда», написал повесть «Горячий цех» и послал ее в «Октябрь». Не прошло и нескольких дней, как редакция телеграммой вызвала Полевого в Москву. О том времени Полевой вспоминает в книге «В конце концов»:

«...Панферов сидел в большом кресле грузновато и в то же время изящно. Рукописи перед ним не было, но знал он ее, как выяснилось, досконально, помнил имена всех действующих лиц и все перипетии действия. И критиковал он по памяти, но точно, ни к чему не принуждая, ничего не требуя, а только как бы вслух размышляя, советуя. Потребовал чая для себя и для меня. Пил с блюдечка вприкуску, может быть чуть-чуть рисуясь этой русской манерой чаевничать. Я не большой любитель этого напитка, но само присутствие стакана, в котором уютно желтела долька лимона, как бы приближало ко мне этого очень известного писателя и располагало к себе.

— Мы хотим приготовить повесть поскорее и помочь вам и поэтому отдали рукопись на внешнюю редактуру, а вы за это время подумайте над тем, что я говорю».

Молодой автор тогда еще не знал, что такое внешний редактор, поверил Панферову и уехал к себе в Калинин. Потом Полевой познакомился с внешним редактором, увидел свою рукопись испещренной, со множеством поправок, местами были выброшены целые куски — он возмутился, написал Панферову грозную записку, хотел забрать рукопись, но внешний редактор рукопись не дал, заявив, что не может этого сделать без ведома Панферова, и тут же позвонил ему. Федор выслушал редактора и попросил, чтобы разбушевавшийся автор немедленно приехал к нему на квартиру. В той же книге «В конце концов» Полевой пишет:

«Уже по пути, листая в автобусе рукопись, я убедился, что внешний редактор не такой уж хищный и кровожадный зверь, каким он поначалу мне показался. Со многими его рекомендациями нельзя было не согласиться, да и стилистическая правка в общем-то была толковая. Перед Панферовым я предстал успокоенным и притихшим. Они с женой — немолодой уже женщиной, с хорошим простым русским лицом — пили чай. Она радушно налила стакан и мне, будто старому знакомому, заглянувшему на огонек.

— Вам это не крепко? А то Федор Иванович у нас любит крепкий, круто завариваем.

Никогда в жизни не видел я, чтобы чай пили с таким вкусом и вкусом, как за этим столом. Панферов пил стакан за стаканом, откусывая сахар от большого куса. На коленях у него лежало развернутое полотенце. Время от времени он отирал им пот с лица и обмахивал шею.

О рукописи не было сказано ни слова. Только когда чаепитие закончили, он, вставая, сказал:

— Да, говорят, вы там в редакции разбушевались. Зря. Я вам дал очень хорошего внешнего редактора. Он уже несколько моих молодых авторов, дебютировавших в «Октябре» в последние годы, в путь благословил. Все его благодарили. У него чутье и вкус — дай господи! Только у меня правило — ничего авторам не навязывать. Все, что он сделал в рукописи, примите как совет, чего жаль — восстановите, что не нравится — вычеркните... Только быстро. У нас вы через номер идете.

Простились мы уже как старые знакомые, и я уехал с чувством большой благодарности к Панферову, который стал для меня вроде бы крестным отцом...»

Борис Николаевич Полевой вспомнил об этом, когда, находясь в Нюрнберге на судебном процессе по делу главных нацистских военных преступников в Международном военном трибунале, получил телеграмму из «Октября», в котором было сказано, что его «Повесть о настоящем человеке» принята к печати.

После возвращения Полевого из Нюрнберга Федор намеревался побеседовать с ним по поводу «Повести о настоящем человеке». Но получилось так, что в тот день в редакции шел семинар молодых литераторов и кабинет главного редактора был занят. Полевой пред-

ложил Федору поехать к нему на квартиру, Федор согласился. Вместе с ними поехал и я.

В машине оба они молчали, я даже подумал: «Похоже, сердятся за что-то друг на друга».

Дверь нам открыла жена Полевого, любезно предложила пройти в комнату.

Федор попросил разрешения закурить, стал листать рукопись, говорил веско, спокойно, тыча пальцем в пометки синим карандашом.

Разговор его с Полевым длился часа три. Оба устали, а когда наконец закончили, Федор довольно воскликнул:

— Ух как мы поработали, словно с молотбы пришли!

— А у нас и чаек готов, — похвалилась хозяйка, гремя чашками и накрывая стол.

— Это хорошо, чай — любимый напиток волжан.

«Повесть о настоящем человеке» вышла сначала в «Октябре», потом отдельной книгой, а спустя год была удостоена Государственной премии.

Федор настойчиво искал таланты. Найдёт талантливого писателя и радуется, всем о нём рассказывает, горячо рекомендует прочитать написанные им повесть, или роман, или стихи.

К послевоенному поколению советских писателей принадлежит и Александр Андреев, автор многих широкоизвестных книг, которым проложил дорогу к читателям «Октябрь».

«Когда я вошёл в кабинет, — вспоминает А. Андреев, — из-за стола стремительно поднялся хорошо сложенный человек — невысокий, крепкий, с гордой посадкой головы на могучих плечах. Человек, которого я любил...

Он как бы обнял своим взглядом, улыбнулся и стал от этого намного краше и доступней.

— Вы написали хорошую повесть.

Я невольно присел на стул и тихо спросил:

— Федор Иванович, а вы меня не разыгрываете?

Панферов удивился:

— Как это — разыгрываете? Я главный редактор, я на работе, и мне не до разыгрываний. В молодости когда-то случалось. Правду говорю вам».

Разговор шел о первой повести Александра Андреева — «Ясные дали», которую принял и напечатал на своих страницах «Октябрь». А когда повесть вышла отдельным изданием, молодой автор сделал дарственную надпись: «Дорогой Федор Иванович. Эта моя книжка дорога мне не только потому, что она моя, но она и Ваша, написана под Вашим присмотром, под Вашим внимательным, по-отечески добрым взглядом. С любовью. Ваш Андреев».

И потом под добрым, отеческим присмотром Панферова Андреев написал и другие книги, завоевавшие признание советского читателя. Уверен, Федор искренне порадовался бы, если бы узнал, что замеченный им талант Александра Андреева окреп и развился в таких его романах, как «Очень хочется жить», «Берегите солнце», «Рассудите нас, люди!», «Есенин», «Грачи прилетели».

Я дружил с Александром Андреевым. На одной из книг он написал: «Александр Иванович Панферову, доброму человеку и другу, — брату моего учителя, который вывел меня в люди, — на память с пожеланием здоровья и успехов».

Михаил Бубеннов неторопливо вынул из портфеля папку, подал ее редактору.

— Фронтная?.. — спросил Федор.

— Да, — ответил Михаил Бубеннов.

— Интересно, — произнес Федор. — А вы, товарищ, садитесь, — предложил он ему. — Вот свободное кресло...

Бубеннов переступил с ноги на ногу, посмотрел на мягкое, глубокое кресло, махнул рукой, сел на стул, сказал:

— Нам так сручней.

Федор прочитал: «Белая береза». Разгладил листы, еще раз разглядел Бубеннова, добавил:

— Люблю, когда сами авторы читают, для первого раза, конечно. Читай! — передал рукопись Бубеннову.

От такого неожиданного поворота Бубеннов растерялся. Он думал, придет в журнал «Октябрь», как ему советовали, увидит редактора Федора Панферова и вручит ему роман, потом уедет в свою Казань и будет ждать. А тут повернулось иначе. Бубеннов закашлялся, поперхнулся, не зная куда деть руки.

— Смелее, сбрасывай шинель и валяй, читай.

Бубеннов разделся, с минуту помолчал, собрался с мыслями, пилоткой смахнул со лба пот, начал негромко читать...

Федор слушал внимательно, перед его глазами вырисовывалось все то, что описывал автор.

— Теперь хватит, — перебил его Федор. — Непременно прочитаю. Через неделю скажу результат. Где найти?

— В Казани.

— Счастливого тебе пути, товарищ Бубеннов.

Действительно, как было обещано, Федор роман Бубеннова прочитал, прочитали еще несколько членов редколлегии, собрались на очередное заседание, обменялись мнением, решили роман печатать в журнале, и, как всегда, в конце Федор сказал:

— Причесать роман поручим Василию Павловичу. Он умеет, и этого орла дадим ему.

Пришли к общему мнению. Действительно, кому, как не Ильенкову, имевшему особое чувство к языку, отцовское отношение к молодым, надо взяться за «причесывание».

Вскоре Федор уехал в длительную командировку, а когда возвратился, в журнале назревал скандал. Оказывается, Василий Павлович заболел, редактирование поручили внешнему редактору, тот перестарался, после чего автор полез на дыбы, редактуру не одобрил и прислал ругательное письмо с угрозами в адрес журнала.

Более двух недель сидел Федор над романом Бубеннова, редактировал его, синим карандашом восстанавливал, что вычеркнул внешний редактор.

И вот Федор привез рукопись в редакцию, попросил срочно отослать ее автору.

Буквально через три дня от Бубеннова пришла телеграмма: «Спасибо синему карандашу».

Михаил Бубеннов, конечно, не знал, что синий карандаш принадлежал Федору Ивановичу.

Сюда, в «Октябрь», как по проторенной тропочке, шли молодые писатели. Пришел по ней и Николай Шундик — житель Севера, знающий народы, населяющие тундру, их обычаи и порядки.

Принес Шундик роман «Быстроногий олень» и сдал его главному редактору.

После опубликования романа в знак признательности Шундик написал на его титуле: «Многие мои товарищи, как и я, вспоминают Ваше имя, когда берут в руки свою первую книгу. И я могу сказать одно, так же, как и они, — спасибо Вам, дорогой Федор Иванович, за Ваш пристальный, теплый глаз, за Вашу отеческую руку и большое сердце».

...Поэт Николай Агеев свою литературную жизнь начал на реке Каме, воспел ее берега, небо, нависшее над родным краем, людей этого края. И вот его поэму «На Чусовой» напечатали в журнале «Октябрь». Получил гонорар, раздал долги. Хотел было ехать опять собирать материал, но никто командировки не дает; обратился в Союз писателей, а там отмахнулись: «Не член союза, таких много, и каждый просит деньги». Но никто не подумал о его поэтическом даровании.

Сколько ни обивал пороги редакций Николай Агеев, везде отказ, и направился он снова в «Октябрь». Вошел неуверенно и тут увидел Федора Панферова.

— Как живешь? — спросил его Панферов.

— Спасибо вам, что напечатали мою поэму.

Федор остановился, сказал:

— Не нам спасибо, а тебе, что такую замечательную поэму написал. Чего задумал? Пиши новую.

Николай Агеев растерялся, но вдруг его осенило: другого случая может и не быть. Вкратце рассказал все свои похождения.

— Приходи завтра в три часа, — сказал Федор, прощаясь с Агеевым. — Там потолкуем.

Прошел день, Агеев подумал: «Может, не надо, мало ли что можно было сказать на ходу». Но все-таки пришел, сел на диван, стал ждать. Шло заседание редколлегии. «Теперь-то совсем и не до меня», — удрученно подумал Агеев.

И вдруг Вера Ивановна сказала:

— Товарищ Агеев, вас в кабинет просят.

Агеев робко вошел в кабинет главного редактора.

— Вот тебе наша петиция, — произнес Федор Панферов, выйдя навстречу Агееву. — Тут все члены редколлегии «Октября» подписи поставили. Рекомендуем тебя в Союз писателей.

При активной поддержке Федора Ивановича получили творческую путевку в поэзию Сергей Васильев, Алексей Марков, Сергей Викулов, Николай Тряпкин. Здесь в «Октябре» они начали печатать свои стихи.

Потянулись сюда и другие поэты — Александр Яшин, Людмила Татьяничева, Михаил Луконин, Анатолий Софронов, Сергей Васильев, Василий Федоров, Евгений Евтушенко... Они приносили в журнал новые стихи.

Жажда рассказать людям о пережитом к Павлу Ильичу Федорову пришла после войны. У него было о чем рассказать. Служил Павел Федоров в кавалерийской части, командовал эскадроном. Вместе с генералом Доватором ходил в глубокие тылы фашистов, нанося врагу сильные удары. В этих боях Федоров был тяжело ранен, лечился в партизанском отряде, что располагался в Смоленских лесах. Особое впечатление на него произвел храбрый генерал Доватор, умелый командир, славный рубака.

Пришло время, и Федоров был обязан поведать о своих товарищах. Так был написан роман «Глубокий рейд». Как и многие, Федоров принес его в журнал «Октябрь».

О том, как это было, много лет спустя Павел Ильич Федоров рассказал мне.

— После войны редакция «Октября» походила на военный штаб. Сюда шли офицеры, сержанты, солдаты, да и сам редактор только-только сменил гимнастерку на хорошо отутюженный костюм, офицерский полушубок — на теплое зимнее пальто.

— Значит, назвали книгу «Глубокий рейд»? — переспросил редактор. — Прекрасно, будем читать...

Ждать долго не пришлось. Сам редактор и члены редколлегии прочитали роман. Кто не знал легендарного Доватора?! Все. Но тонкости войны кавалерии автор показал со знанием дела.

— Я даже удивляюсь, как это произошло быстро, — продолжал Федоров. — В моих руках журнал, и там — мой «Глубокий рейд».

Немного остыв от первого творческого запала, Федоров обдумал многие моменты «Глубокого рейда» и, сделав анализ для отдельного издания книги, значительно

переработал, наполнил его новым содержанием и издал под названием «Генерал Доватор».

Роман «Генерал Доватор» стал одним из любимых у читателей. Его издавали десятки раз.

В моей библиотеке хранится прекрасно изданный роман Павла Ильича Федорова «Генерал Доватор» с дарственной надписью: «Александрю Ивановичу Панферову в память о чудесном человеке Федоре Ивановиче, который первым напечатал эту книгу».

Но были и случаи не совсем приятные.

В Москву со Среднего Поволжья приехал невысокий, в больших очках, паренек с мечтой стать писателем. С собой он привез объемистую папку с рукописью романа. Кто-то ему посоветовал:

— Иди в «Октябрь», там главный редактор Панферов Федор Иванович, страсть как молодых уважает.

Действительно, советчики не ошиблись. В журнале молодого человека, как говорится, обогрели, окружили вниманием, после больших хлопот роман был напечатан. Рад был автор — сбылась его мечта, рад был и Федор Панферов — открыто еще одно молодое дарование.

Минуло несколько лет. Этот человек, теперь уже член Союза писателей, принес в «Октябрь» новый роман. Опять хлопоты, опять читка, обсуждения, правка, указания. Вышел и этот роман. Редакция «Октября» выдвинула книгу на соискание Государственной премии. Все шло хорошо. Роман получил премию, его переиздают, по его мотивам даже написана опера, автор купил дачу, автомашину, от бывшего мальчишества автора не осталось и следа, он стал солиден, рассудителен и даже пополнел: пожалуй, от него, прежнего, только и осталось что очки. Чтобы лучше изучить жизнь, писатель где-то в «захолустье» приобрел дом в селе и засел за новый роман.

Как и прежде, писатель принес роман в журнал «Октябрь». Тут обрадовались, начали читать рукопись, обсуждать, не один день на рукопись потратил и Федор Панферов. Всем хотелось помочь автору улучшить его произведение.

Писатель вроде не возражал против замечаний товарищей, выразил желание еще поработать над романом,

но, как вскоре выяснилось, неискренне. Не поправив ни одной строчки, передал рукопись в другой журнал.

— Видимо, правда, — с горечью заметил Федор, — чтобы человека узнать, надо пуд соли с ним съесть.

У членов редколлегии и Федора Панферова надолго остался горький осадок от этого поступка писателя.

Здесь, в редакции, у Панферова всегда было многолюдно, всегда в его кабинете, приемной, в отделах — писатели, журналисты. Сюда со всех концов Союза шла почта, много писем поступало от избирателей. Как депутат Верховного Совета СССР, Федор не оставлял без внимания ни одной их просьбы. Вот что говорят об этом периоде жизни Федора близкие товарищи. Шараф Рашидов:

«Для меня, как и для очень многих советских писателей, Федор Иванович был большим другом, братом и учителем.

Федор Иванович обладал необыкновенным творческим зрением, умел подмечать в жизни ростки нового, расчищать им путь...

Было просто поразительно, как хорошо, как полно знал Федор Иванович литературную жизнь не только Москвы и Ленинграда, но и Киева, и Минска, и Урала, и Сибири, и республик Средней Азии, и Закавказья. Руководимый им журнал «Октябрь» стал центром притяжения молодых литературных сил. Федор Иванович вел обширную переписку с молодыми писателями, вдохновлял их, вселял в них уверенность, помогал им, советовал брать самые актуальные темы нашей героической действительности.

Редколлегия журнала «Октябрь» во главе с Ф. И. Панферовым показывала пример того, как надо работать с литераторами, пишущими на современные темы, как надо любовно, терпеливо относиться к их рукописям».

Семен Бабаевский: «...обычно знакомство начиналось в журнале «Октябрь». Мы приходили к Панферову-редактору, а находили Панферова-друга».

Александр Исбах: «В течение многих лет Панферов... стремился проводить в жизнь славные фурмановские традиции. Стол его в редакции всегда ломился от сотен рукописей. Рукописи начинающих лежали и в домашнем кабинете, на столе, на подоконнике».

Фактически через «Октябрь» вошел в литературу Николай Грибачев. «Многие писатели начинали в жур-

нале «Октябрь», редактируемом Ф. И. Панферовым, — говорил он. — К нему тянулись все свежие силы, зная пристально-внимательное отношение ко всему растущему, молодому, завидное терпение и благожелательность, не остывающую заинтересованность этого выдающегося писателя и человека в судьбе литературы».

Да, журнал «Октябрь» был второй жизнью Федора, о нем он думал постоянно, больно переживал срывы, неудачи с тем или иным произведением и очень радовался хорошему роману, поэме, стихотворению, острой публицистической статье, боевому очерку.

Не раз мне доводилось присутствовать на заседаниях редколлегии. Они проходили бурно, деловито, в обстановке высокой партийной принципиальности и в стенах «Октября», и на Николиной Горе, на даче «Антоша»: в зимние дни — в доме, а летом — в беседке. На Николину Гору приезжали А. Д. Андреев, С. П. Бабаевский, С. А. Васильев, И. В. Винниченко, А. М. Дроздов, Н. И. Замошкин, А. А. Первенцев, В. В. Фролов, Л. Р. Шейнин...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Нашему отцу было восемьдесят лет, когда он перестал работать, подниматься на рассвете, чтобы идти на колхозную пасеку. Да и матери перевалило за седьмой десяток. И тогда мы, дети, решили перевезти их в Москву.

Трудно им было расставаться с родным домом. Их разум не хотел согласиться с тем, что они постарели.

— А как же я без Пеструшки-то в Москве буду? — горевала мать о корове. — Без парного молочка...

Мы понимали: тяжело нашим родителям, но оставлять их одних в Павловке невозможно. Пора и на отдых. Так рассуждали мы, но по-другому мыслили наши родители.

Перед отъездом отец обошел вокруг дома, прилатал дощечки у завалинки, поправил калитку, по-хозяйски навел порядок в сарае, аккуратно сложил инструмент, сказав при этом с горечью:

— Вот мы с тобой и на покой пошли...

С трудом привыкали отец с матерью к Москве, целыми днями говорили про Павловку, про свой дом.

Жили они у дочери Марии. Мать занималась хозяйством, и день проходил незаметно, а отец не мог найти себе места, его руки тосковали по работе.

С наступлением весны глаза у отца повеселели, да и сам он вроде бы помолодел.

— Айда, мать, домой, — заявил он.

— Куда нам теперь, отец, обескрылились мы с тобой.

— Как так обескрылились? — Отец рассердился. — У меня еще рука крепка.

Чтобы доказать: он еще может работать, — отец спустился во двор, подошел к рабочим, которые окapyвали деревья в скверике, попросил лопату и стал копать землю, разбивать комья. Делал он это умело.

Так и пошло. Каждый день отец вставал раньше всех, помогал приводить в порядок сквер: сила привычки к работе не давала ему покоя. Им двигала не корысть, не стремление заработать деньги, а потребность трудиться. Ему, видимо, нравилась и строгость распорядка дня. Когда рабочие устраивали перерыв на обед, он шел домой и с чувством хорошо потрудившегося и получившего от этого удовольствие человека говорил:

— Вот, мать, я и пришел, давай обедать.

Мать понимала это и к приходу отца накрывала стол: ставила кружку с водой, солонку, перец, нарезала хлеб, клала деревянную ложку.

Перед тем как сесть за стол, отец тщательно мыл руки, лицо, а мать подавала ему чистое полотенце, приговаривая:

— Ты уж не очень-то там...

— Как это не очень? — возражал отец. — Народ городской мало смыслит в земле, приходится рассказывать.

Расчесав седую бороду, проведя гребешком по волосам, отец окидывал взглядом накрытый стол, торжественно садился и начинал хлебать щи, молча, неторопливо, аккуратно подбирая уроненную на клеенку крошку хлеба. Мать стояла рядом, добрыми глазами следила за отцом, стремясь угодить ему.

Все вроде шло хорошо, но однажды отец не пришел на обед. Мать забеспокоилась, пошла в сквер: там никого не было. Явился отец только под вечер, ведя с собой двух незнакомых мужчин.

— Куда это ты запропастился?! — всплеснула руками мать.

Отец широко улыбнулся:

— Не бойся, не пропаду... Ты лучше, мать, гостей принимай, рабочий класс к нам изволил явиться. Надо их, конечно, по русскому обычаю, угостить. Помнишь, как в Баке-то!

Потом отцу досталось, но тут же мать поставила на стол бутылку водки, приобретенную на всякий случай, приготовила закуски, сказала нараспев:

— Чем богаты... Садитесь, гости добрые...

— Да что вы, мы просто решили помочь пожилому человеку, — смущаясь, произнес один из них, — а так спасибо.

— Спасибо после говорят, — наставляла мать.

Когда выпили и закусили, выяснилось, куда «запропастился» отец.

Когда он утром, как обычно, пришел на свою работу, его встретили словами:

— Спасибо тебе, Иван Иванович, но здесь мы все закончили.

И такая лютая тоска взяла отца за сердце, что он, не заходя домой, поднялся по крутой насыпи на железнодорожное полотно да и пошел по шпалам... Часа через три, где-то под Люберцами, он встретил ремонтников, поклонился им, приподняв картуз. Те ответили на поклон и между прочим спросили:

— Далеко путь держишь, дед?

— В Павловку, — ответил отец, замедлив шаг.

— А далеко она, эта самая Павловка? — продолжали любопытствовать рабочие.

— В Саратовской губернии.

— Далеконько! — засмеялись рабочие.

Они осторожно расспросили отца, где он живет, кто у него есть из родных. И отец не без гордости сказал:

— Федярка, сын мой, писатель.

Услышав фамилию Панферова, рабочие посадили отца на дрезину, довели до Электrozаводской и проводили до дома.

— Спасители вы мои, дай бог вам доброго здоровья, — мать не знала, как и благодарить этих добрых людей.

— Ваня, как же это так, без меня решил податься в Павловку-то?

— Главное, мне вырваться, а тебя непременно привезут, — тихо ответил отец.

Нет, никак не мог он привыкнуть к городской жизни.

Федор, услышав историю «похода» отца в Павловку, встревожился, приехал к старикам, долго говорил с ними.

— Ты, Иван Иванович, сколько переработал на своем веку! Завоевал право жить в полное удовольствие, ездил по гостям, на снос шуми, если принимают плохо, — пошутил он.

Но отец уже не мог ездить по гостям, чаще дети приезжали к нему.

Навещали отца и сотрудники журнала «Октябрь»: Петр Казимов, Григорий Санников, Александр Дроздов.

Старость уgomонила отца, начали подкашиваться ноги, правая рука мелко дрожала, ложку он держал левой. Зная это, Федор перед поездкой на Волгу зашел навестить отца.

— Федярка, — обрадовался отец, — мать говорила, ты в наши места собираешься.

— Да, — ответил Федор, садясь на диван рядом с отцом, — постараюсь заглянуть в Павловку.

Глаза отца засияли голубизной.

— На Шихан-гору не забудь подняться. Побывай в Долгой горе. Попей водицы из Шумкиного родника. — Отец говорил медленно, тихо, торжественно произнося каждое слово. — Да еще глянь у дома, видно, завалинка осыпалась. Инструмент мой приведи к порядку. Не ровен час соберусь, а мастеровой без инструмента ровно лошадь без хомута.

— Все сделаю, — успокоил Федор отца. — Ведь мы с тобой родились в Павловке, а родина дороже всего на свете.

С тяжелым чувством Федор в тот раз покидал отца, видя, как старость пригибала Ивана Ивановича.

А когда Федор возвратился, отец уже лежал парализованный, никого не узнавал, но сердце, по заверению врачей, работало у него хорошо, четко слышался пульс.

Умер отец в конце 1948 года, на семьдесят четвертом году жизни. Похоронили его на Преображенском кладбище. На обелиске выбито: «Ивану Ивановичу Панферову — труженику, плотнику. От детей».

После похорон отца мать изменилась: стала печальней, перестала посещать православную церковь, перешла к старообрядческой вере.

Я как-то ее спросил:

— Маменька, как же так? Когда ты выходила замуж, тебя ведь крестили, и ты перешла в православную веру. А теперь изменяешь ей?

Мать рассудила по-своему:

— Вера... Вера в человека была... В Ивана Ивановича... За ним я шла. А теперь сго не стало. Значит, к прежнему следует возвратиться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Перед тем как приступить к работе над новым романом «В стране поверженных», Федор Панферов в качестве корреспондента «Правды» едет в Германскую Демократическую Республику.

Панферов был в Дрездене, в Берлине, в бывших лагерях военнопленных, в тюрьме, где содержались нацистские преступники. Эта поездка дала ему большой материал, который он использовал в новом своем романе «В стране поверженных». В произведении показана деятельность Татьяны Половцевой и Николая Кораблева в тылу врага.

Впервые роман «В стране поверженных» был опубликован в одиннадцатом и двенадцатом номерах журнала «Октябрь» за 1948 год.

В 1949 году роман был удостоен Государственной премии.

По ходу действия, как известно, Николай Кораблев гибнет в фашистском концлагере. На этом Федор Панферов думал завершить судьбу своего героя. Однако читатель остался недоволен, посыпались письма автору и в издательство с требованием сохранить жизнь Николаю Кораблеву, «воскресить его».

Вот тогда и решил Панферов написать еще один роман — о том, «как рабочий класс залечивает раны после такой жестокой войны, и вместе с тем раскрыть советский стиль, высокое мастерство руководства промышленностью, — как определил он сам свой замысел. — Вопрос этот в истории новый, небывалый и очень сложный. Здесь нужны... люди большого таланта, тесно свя-

занные с народом, каким и является Николай Кораблев».

Так появился новый роман трилогии — «Большое искусство».

Размышляя о том, каким должен быть директор завода после войны, чем он отличается от директора в период войны, какими он должен обладать качествами, Панферов использовал черты многих командиров нашей промышленности. Особенно заинтересовал его Лихачев, директор Московского автомобильного завода. Писатель нашел в нем многое, что хотел показать в новом романе.

Роман «Большое искусство» создавался на протяжении почти пяти лет и вышел отдельной книгой в 1954 году.

И вот новый роман — «Волга-матушка река». Тему его вынашивал Федор почти двадцать лет. В основу легло то, что собиралось для романа «Большая Волга».

«Литературная газета», Союз писателей начали обсуждать роман.

Первым выступил писатель К. Горбунов. В двух больших подвалах «Литературной газеты» Горбунов подробно разобрал роман.

С обширными статьями выступили также М. Шагинян, Г. Николаева, В. Соколов. У всех у них разные вкусы, разные манеры подхода к роману.

Два дня в клубе писателей шла дискуссия по роману.

С большим вниманием я слушал выступления. Было очень интересно. В обсуждении романа приняли участие Г. Медынский, И. Кремлев, Е. Шевелева, А. Петросян, А. Калинин, В. Тендряков, М. Храпченко, В. Лебедев, С. Иванов, М. Шкерин, Н. Аксенов, Л. Скорино, Г. Трифонов, В. Уткин, С. Злобин...

В конце дискуссии выступил Федор. Он рассказал о возникновении замысла романа, главная тема которого — борьба со стихийными силами природы в Поволжье. Автор поблагодарил участников дискуссии.

К участникам обсуждения романа «Волга-матушка река» присоединилась и «Литературная газета», которая выступила на своих страницах с огромной статьей.

«Новый роман Ф. Панферова «Волга-матушка река» привлек внимание читателей, вызвал оживленные споры, которые нашли свое выражение и в многочислен-

ных читательских письмах, и в двухдневной дискуссии на заседании секции прозаиков Союза советских писателей, и в статьях, опубликованных на страницах «Литературной газеты».

Интерес к этому роману закономерен.

Споры вокруг романа длились долго. А Федор с учетом замечаний и пожеланий читателей, критиков, писателей «перелопатил» роман и подготовил его к отдельному изданию.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Федор Иванович Панферов, хотя и имел в Москве квартиру, фактически жил в Подмоскowie, близ села Успенского, на Николиной Горе.

Когда Федор замыслил разбить на своей даче сад, старожилы Николиной Горы уверяли его, что из этой затеи ничего не получится: тут сплошь песок, и о саде нечего и мечтать. Но Федор отмахивался от всех этих доводов. Что же это за дача, если нет яблонь, вишен?

И закипела работа. Сперва на участке вырыли нечто вроде котлована, затем заполнили его черноземом, навозом и только тогда, вместе с грунтом, посадили взрослые яблони. На зиму яблони утеплили, а весной каждое утро Федор выходил на участок, радовался тому, как сад набирал силу.

На фронтоне дачи надпись: «Антоша».

И цветы. Они вдоль дорожки, на клумбах. Это — страсть Антонины Дмитриевны.

Федор как-то сразу полюбил дачу «Антоша». Здесь хорошо работалось, хорошо отдыхалось. Сюда, на дачу, приезжали писатели, друзья, актеры, ученые, члены редакколлегии «Октября».

Места хватало всем.

Федора просили написать подробную автобиографию. Начал он ее так: «Помню лес, густой, будто грива откормленного коня, и глубокий овраг, поросший сочными травами, а на берегу оврага — избушка, подслеповатая, старенькая, как и моя бабушка Груня...» Но вместо автобиографии за одну зиму им была написана повесть «Недавнее прошлое».

Когда я приезжал на дачу, первым делом Федор давал мне написанные главы, говоря:

— Где найдешь неточности, чиркай карандашом.

Конечно, многое мне было знакомо. В часы чтения я словно находился в родной Павловке, на нашей улице, видел лица соседей, слышал их говор, своеобразный, павловский.

Эту повесть Федор давал читать многим. Попала она и к Каирову, министру просвещения РСФСР в те годы. Дача его находилась почти по соседству.

— Мы ведь с тобой почти одногодки, — сказал Федор. — Почитай...

Каиров прочитал повесть, сделал свои замечания.

Повесть «Недавнее прошлое» была опубликована в журнале «Новый мир» за 1956 год. Но когда была подготовлена к отдельному изданию, то стала называться «Родное прошлое».

В нашей семье было неписаное правило: каждый год 2 мая все родственники Панферовых без телефонного звонка, без предупреждения приезжали на Николину Гору.

Шумно и весело бывало в такие дни, разговорам, шуткам не было конца. Особенно мне запомнилась одна из наших майских встреч в начале шестидесятых годов.

...По дорожкам сада прогуливается Федор, брат Алексей и сестра Мария. Им есть о чем поговорить, что вспомнить: как они росли в Павловке, как уезжали вместе с родителями, когда те спасались в «Баке» от голодухи. Да и потом их дороги шли рядом.

Выше я уже упоминал о том, что после учительской семинарии Алексей попал в армию. Когда свершилась Октябрьская революция, он встал на сторону большевиков. После окончания гражданской войны учился в Саратовском университете, там же стал преподавать советское право. Однако его всегда привлекала литература. Он написал много литературоведческих работ, защитил диссертацию, был удостоен ученой степени — кандидата наук. Когда на Родину напали фашисты, ушел в ополчение.

А Маруся!.. В первой пятилетке, как известно, наша страна остро нуждалась в специалистах. Партия направляла на учебу, на рабфаки и в институты, рабочую и

крестьянскую молодежь. В числе других парттысячников Маруся закончила МВТУ имени Н. Э. Баумана. Работала в министерстве, потом директором завода.

И вот они все встретились, что бывает не так-то часто — работа заедает, и разговаривают, разговаривают без конца...

Алексею уже перевалило за шестьдесят. Стало пошаливать сердце. Как бы оправдываясь, он замечает:

— Дьявольски много мы с тобой, Федор, курим. Пора, видимо, сократиться.

Да, здоровье не прибавляется, а жизнь идет на спад. Старшие мои братья и сестра изменились. У всех на лицах морщины. Годы берут свое.

Чинно сидит на скамейке мать. Ее обступили внуки — Сергей, Ким, Века, Слава, Валя, Вадик, правнуки Федя с Аннушкой и Наташей. Лицо матери лучится счастливой улыбкой и в то же время она сетует, обращаясь к детям:

— Маловато у меня внуков. Надо было пример брать с меня. Кажись, тринадцать я родила. Вот так!

Хотя нашей матери и перевалило за восьмой десяток, но она еще в силе, лицо пылает румянцем. Я всегда удивлялся, какая тяжелая у нее была жизнь, но вот все невзгоды выдержала, не сломилась. Характер остался таким же суровым, малоприветливым даже к внучатам.

Но сегодня вдруг она повеселела, сгрудила к себе внучат, каждого поцеловала в маковку:

— Растите, милые, на здоровье.

Взгляд ее перекинулся на детей. Как время-то бежит! Дети дедушками и бабушками стали. Мать глубоко вздохнула, но не печально, а радостно, сказав:

— Может, к столу нам, ребята, пора?

Через минуту мы все в доме.

Хозяйка дома — Антонина Дмитриевна — приглашает занять места за большим столом. Садятся — каждый на свое место.

В таких случаях стол накрывался по-особому, празднично. После обеда пели песни. Песни старинные, протяжные, волжские. В такие минуты мы всегда вспоминали нашу запевалу, сестру Лизу.

В грибной сезон у нас нарушался весь распорядок. Грибы властвовали над всем. Когда собирались по грибы, накануне вечером женщины варили картошку в мундире, непременно брали с собой огурцы — свежие и ма-

лосольные, колбасу, яйца, соль, хлеб. Из чулана выносили огромный термос.

Когда подготовка заканчивалась, дача погружалась в сон. Но ненадолго. Ровно в три утра — подъем. Машина на ходу, ворота открыты. Садясь в машину, Федя обычно говорил:

— Грибы ищут — по лесу рыщут.

На даче «Антоша» всегда было многолюдно. Здесь принимали всех.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

У причала стоял белоснежный дизель-теплоход «Ленин».

Он выделялся среди всех судов. Особенно маленькими по сравнению с ним казались юркие «Ракеты». Вместе со всеми туристами поднялись на его палубу Федор Панферов и Антонина Коптяева. В легком сером костюме, соломенной шляпе, Федор не выделялся среди туристов и просил друзей «не выдавать» его, не называть по фамилии.

— Хочу несколько дней побыть самим собой, — ска-
Федор друзьям. — Впереди у меня много поездок. Сначала я побываю в Казани, затем направляюсь к своим избирателям, там встречи, беседы. И еще со мной едут герои моего нового романа. Вот уже пожилой, с твердой осанкой, с большим жизненным опытом Кирилл Ждаркин. На страницах нового романа появится крупный инженер-организатор Николай Кораблев. Безусловно, во главе этих героев — Аким Морев. Рядом академик Бахарев. Особая судьба у Татьяны Половцевой. У нее с Кораблевым складываются сложные семейные отношения.

— Федюша, ты устал, — произнесла Антонина Дмитриевна, тем самым отвлекая от разговора о новом романе.

Провожаящие остались на набережной, а дизель-теплоход как-то незаметно, тихо оторвался от причала, взяв курс на большую Волгу.

Положив широкие ладони на теплые перила, Федор смотрел на удаляющийся вокзал, на его убегающий в небо шпиль, на силуэты домов.

— Антоша, смотри, как размахнулась Москва, — ска-
зал Федор. — Красиво!

Действительно, новостройки как бы окружали Химкинское море, и издали казалось, что дома вырастали прямо из воды.

Вскоре подошли к каналу. Дизель-теплоход, как по ступеням воображаемого дворца, начал подниматься от одного шлюза к другому. Но ему было тесно в бетонном коридоре, и со стороны казалось, что вот-вот он раздвинет стены, освободится и поплывет по просторам земли.

Не первый раз Федор совершал такие переходы по шлюзам. Особенно его очаровывал Волго-Донской канал. Но и сейчас заглядение!

Когда прошли шлюзы, Федор пошел познакомиться с капитаном дизель-теплохода. Капитан оказался потомственным речником. Начал он плавать с малых лет, тогда его брал с собой отец, а когда вырос — тоже, как и отец, стал речником.

— Живешь хорошо?

— Отлично...

— Работа нравится?

— Работа по душе.

— Это хорошо. — Федор закурил, еще раз взглянул в чистое выбритое лицо капитана и задумался.

Федору не пришлось остаться «самим собой». Видимо, свежий речной воздух, сама обстановка вселяли в него бодрящую энергию.

— Ты знаешь, Антоша, — сказал Федор, когда дизель-теплоход поравнялся с городом Кимры, — тут родился Саша Фадеев. Тут из дома в дом — сапожники, шили отменные сапоги... Но мы шутили, бывало, над Сашей, хаяли кимрских сапожников. Ты бы посмотрела, каким злым становился Фадеев, готов был с кулаками двнуться на нас, чтобы не дать в обиду своих земляков.

— Молодец Фадеев, — вставила Коптяева. — Вам только зубы поскалить.

— Мы все делали: и дрались за нашу советскую пролетарскую литературу, и зубы скалили.

Да разве можно усидеть! Высокая гора, огромные березы, заволжские дали — все тут связано с великим И. И. Левитаном. Шагая по этим священным местам, вспоминал картины художника. Это тут, в этих живописных местах Левитан написал «Вечер на Волге», «Золотой плес», «После дождя», «Свежий ветер».

— Действительно, тут свежий ветер,— произнес Федор, забравшись на самую вершину горы.

Несколько минут Федор и Коптяева стояли, наслаждаясь красотой этих левитановских мест.

— А вот и Василево,— как-то по-особому радостно произнес Федор.— Вот там, на том откосе,— показал он,— мы с Валерием Чкаловым купались, потом бросали камешки, у кого дольше камешек держался на воде.

И Федору стало как-то грустно, видно, от далеких и близких ему воспоминаний.

В одно солнечное утро на высоком берегу завиднелась Казань. Здесь Федор бывал много раз, но все равно всегда его охватывало волнение, и он испытывал преклонение перед этим городом.

— Федор Иванович! — слышалось с берега, как только причалили.

Это редактор местной газеты Михаил Андреевич Колодин. Небольшого роста, худощавый, волосы выющиеся, голос добрый.

— А, пресса,— пошутил Федор, шагая по трапу.— Как жизнь?

— Лучше всех...

Всегда и всюду Федор дружил с местными журналистами. К таким относился и Колодин, человек эрудированный, начитанный, с острым глазом газетчика.

Федор побывал в обкоме партии и, наблюдая работу секретарей, ставил на их место Акима Морева, думая, прикидывая, а как бы поступил в той или иной обстановке герой его романа.

На второй день Федор поехал в Чистопольский избирательный округ, чтобы встретиться со своими избирателями.

Читаем в его путевом блокноте: «Вот уже третий день в Лениногорске. Здесь на нефтепромысле работают до пятнадцати национальностей. Все строится, создается заново в голой степи, и жизнь тут проявляется ярче».

По пути Панферов и Коптяева посетили на Каме чудесный уголок — «Золотой ключ», дом отдыха для рыбаков-любителей. Небольшая печь предназначена варить уху. На полке стояли чашки, ложки, соль. Все чисто. Таков тут закон: после себя убери, помой посуду, песком почисть котелки и кастрюли.

— Антоша! — воскликнул Федор, входя в дом. — Да тут земной рай! — И удивленно остановился, увидев большую библиотеку. Надпись: «Однажды принесший сюда книгу дарит ее на вечность этому дому». — Интересно, — сказал Федор, и руки невольно потянулись к корешкам книг. — Да тут, смотри, твой «Иван Иванович» и моя «Волга-матушка река».

Каждое утро Федор и Коптяева купались в студеной Каме. Вода в ней бурая, течение сильное, сбивает с ног. Отдыхали и, конечно, работали. Федор еще раз редактировал драму «На глубинке». Тема ее — добыча нефти, взаимоотношения людей в этой работе.

После поездок по Поволжью Федор лег в больницу, как ему сказали, на профилактику. В это время из Иванова Брестской области приехал секретарь райкома партии М. Ильинковский. Он добился свидания с Федором, сказал:

— Ждут вас, Федор Иванович, читатели ждут. Ваш роман «Раздумье» читали многие.

— А что значит многие?

— Очень многие. Двадцать тысяч человек, проведено двадцать читательских конференций.

Глаза у Федора загорелись, как будто сразу исчез недуг. Немного подумав, он спросил:

— И вы говорите правду?

— Стоило ли с неправдой ехать в Москву?

— Поеду, непременно поеду... Вот врачи немного подремонтируют... и к вам.

Федор загорелся. После ухода Ильинковского позвал Сергея Васильева:

— Сережа, надо ехать. Ты понимаешь! — Федор пересказал разговор с Ильинковским. — Надо...

Никто не мог удержать Федора. Даже врач Ольга Николаевна, всегда такая, казалось, строгая и требовательная, и та не выдержала:

— Такое, видимо, у писателя бывает редко... Непременно поедете. Но... — и поставила десяток условий.

Федор был готов выполнить сотни врачебных условий, только бы встретиться с читателями.

Сначала поездом, потом на машине Федор с друзьями направился в Ивановский район. За рулем — сам секретарь райкома.

— А права водителя вы имеете, товарищ секретарь? — неожиданно спросил Федор.

— Имею.

— Тогда ладно... А то раз, это было на Черных землях, один начальник сел за руль, проехали мы два километра, машина встала. И так он с ней и этак, а она не двигается. Начальник руль держать умел, а вот сердце машины не знал. Пришлось мне вмешаться.

— Исправили? — спросил Сергей Васильев.

— А как же...

На второй день начались встречи с людьми. Ездили по колхозам района, беседовали.

На читательскую конференцию пришло более тысячи человек. А как рядовые читатели выступали! И Федор впитывал в себя каждое слово оратора и радовался духовному росту советского человека, его культуре.

В заключение Федор сказал:

— Работы у вас много, работа тяжелая, но благодарная. Вся ваша жизнь представляет для писателей хороший материал. Несколько выступавших товарищей просили меня снова приехать в Ивановский район. Спасибо за великую честь. Я не могу не приехать к вам и, как только позволит здоровье, снова приеду...

— Нет, это небывалое, это потрясающе! — после поездки, уже в Москве, говорил Федор. — В прошлом малограмотные крестьяне, а сегодня у них своя библиотека с фондом двадцать пять тысяч книг. Это радовало меня, радовало моих друзей, с которыми я ездил, — Сергея Васильева и Ярослава Смелякова.

Федор не сумел снова поехать к читателям Ивановского района, но когда начал работать над романом «Во имя молодого», то на первом листе написал: «Посвящаю двадцатитысячному коллективу читателей Ивановского района Брестской области и его организатору М. К. Ильинковскому».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В начале 1960 года из печати вышел последний том собрания сочинений Федора Панферова, и тогда Федор решил поделиться своими сбережениями со всеми близкими родственниками, открыв сберегательные книжки на детей и на нас с сестрой Марией.

Я не видел брата недели две и даже не мог звонить — был в командировке по издательским делам, сопровождая группу писателей и поэтов по колхозам области.

В первый же вечер, когда я возвратился из поездки, мне позвонила Мария и недовольно сказала:

— Приезжай ко мне.

— Зачем? — спросил я.

— Тут для тебя есть сберегательная книжка.

— Какая?

— Федя дарит тебе.

— Разве только мне?

— Всем, всем, — голос ее дрогнул.

На мои же вопросы сестра отвечала кратко, видимо не желая пускаться в подробные объяснения, и это начало меня беспокоить. Сердце мое неожиданно заныло, щемящая боль перешла в левую руку. Сотни вопросов, догадок одолевали меня весь вечер. Меня пугала сберегательная книжка. Федор помогал нам всем систематически. Обычно это было весной. Зная, что я страдал болезнью желудка, он спрашивал:

— Куда едешь летом?

— В Ессентуки...

Не произнося больше ни слова, он вынимал свою сберегательную книжку, выписывал чек на предъявителя, добавлял:

— Лечись...

В трудное время он всегда материально нам всем помогал. Все это вроде было в норме, но вот сберкнижка и на ней порядочная сумма. Тут что-то не то...

К сестре я сразу не поехал. А через несколько дней позвонил Федор:

— Шура, хочу тебя видеть. Жду в журнале.

Беру такси, еду, а сам волнуюсь, очень волнуюсь, как никогда не волновался.

Я торопливо вышел из такси, затем перешел на другую сторону улицы, на секунду задерживаюсь возле узорчатых железных ворот, открыл калитку и торопливо направляюсь к подъезду дома. В этот раз большая резная дубовая дверь редакции «Октябрь» мне показалась особенно тяжелой.

Когда я вошел в кабинет Федора, он сказал собравшимся у него писателям:

— Вы, друзья, меня извините, дайте один на один брательнику шею намылить. — И, когда мы остались одни, обратился ко мне: — Ты что же это, мой дар получать не хочешь? Знаю, знаю твой характер, сам просить не будешь, так вот держи, — и подал мне сберегательную книжку. — Наступает лето, отдохните всей семьей, денег не жалейте, берегите свое здоровье. Берегите, потерять его легко, а вот иметь — трудно. Беречь его мы подчас не умеем...

Он уперся правым локтем в стол, держа мундштук между пальцами, хотел улыбнуться, но это получилось неестественно, наигранно, видимо, он хотел мне показать, что он еще здоров.

В эти минуты я не мог произнести ни слова, слезы навернулись на мои глаза. Заметив это, брат сердито нахмурил густые брови, порывисто закурил, грубовато сказал:

— Ладно тебе... Ишь, раскис... Девчонка, что ли?

— Да я ничего.

— Крепись... В воскресенье приезжай на дачу.

Он вышел из-за стола, подошел ко мне и, крепко пожав мне руку, тихо добавил:

— Ну, шагай... Видишь, ждут. Сейчас у меня заседание редколлегии.

Я тихонько вышел из кабинета. В приемной толпились писатели. Кто-то пошутил:

— Невеселый... Видно, крепко досталось.

Мне было не до веселья. Брат был тяжело болен. Его землистое лицо, тоскливые глаза не давали мне покоя и наводили на грустные мысли.

В тот же вечер его опять надолго положили в больницу...

С того дня прошло много лет, но я часто вспоминаю раннюю весну 1960 года. В это время в Москве уже давно сошел снег, как будто и совсем не было зимы. Но тут, в Подмосковье, в лесочке, кое-где в кюветах или густых кустах, как островки, лежал снег, правда почерневший, незимний. Сюда я приехал утром, предварительно позвонив Федору. Слабым голосом он сказал:

— Приезжай, Шура, буду рад. Пропуск закажу...

И вот я на пути в больницу. Получив пропуск, захожу в ее двор. Как-то неуверенно шагаю по серой бетонной дорожке, слыша стук каблучков.

Больничный корпус нашел сразу. Двухэтажное, невеликое с виду здание, словно прижавшееся к земле, действовало на меня удручающе. Пожилая любезная женщина выдала мне белоснежный халат и проводила по коридору в палату.

— А, Шура, — обрадовался брат. — Смотри, вот мое жилье. Все удобства. Не больничная палата, а загородная уютная квартира. Имею ванную, выход прямо на волю. Очень удобно для такого неугомонника, как я. Тут все спят долго. На то они и больные. А я раненько поднимаюсь. Спешу на свежий воздух, на солнце утреннее полюбоваться. Послушать птичек.

Я внимательно оглядел все: и больничную койку, и ванную, и беленький столик, заваленный рукописями, книгами, и грустно подумал: «Ему и тут недостает времени».

— Решил перечитать Хемингуэя, — показал Федор на раскрытый томик. — Талант. Умеет рисовать характеры. Силен. Можно позавидовать. Учусь. Без работы невозможно.

Вдруг почему-то Федор, вспомнив Павловку, отца, негромко начал рассказывать, как они всей семьей ездили в Баку. В его голосе проскальзывали нотки сожаления о том, почему все это невозможно повторить сначала.

— А это гранки твоего романа? — спросил я.

— Хочешь почитать? — спросил он.

— Непременно!

— Тогда бери, — и дал мне гранки. — А теперь пошли гулять. Ты иди старым путем, а у меня отдельный ход... все удобства, квартира с ванной, — и засмеялся.

Я вышел на воздух и стал ждать Федора. Он неожиданно появился из-за угла лечебного корпуса. Я заметил, как угасает Федор — он словно стал меньше ростом, по-стариковски опирался на трость. «Вот и все», — с горечью подумал я.

Мы с ним прошлись по аллеям, разговаривая на разные отвлеченные темы.

— Ты почитай роман, — сказал он на прощание, — и непременно скажи свое мнение.

Вечером я начал читать роман «Во имя молодого».

В новую книгу Федор вложил всю страсть своей души. В ней перекликались судьбы героев всех его романов — Кирилла Ждаркина из «Брусков», Николая Ко-

раблева и Татьяны Половцовой из «Борьбы за мир» «В стране поверженных», «Большого искусства», Аким Морева из «Волги-матушки реки», «Раздумья»... Оглядываюсь на жизнь этих героев, на их поступки. Таких людей, как герои произведения Панферова, можно видеть в повседневной жизни. Одни из них — государственные деятели, другие — простые труженики. Они все работают в меру своего таланта, природного дарования, строят новое коммунистическое общество.

В новом романе писатель ставит вопрос: для чего они жили, его герои, жили и боролись, и дает ответ — во имя настоящего и светлого будущего, во имя всех людей. В романе, как мне кажется, есть и спорные положения.

Гранки романа «Во имя молодого» я храню как самое дорогое, полученное из рук брата.

Однажды, это было в начале апреля 1960 года, Федор потерял сознание. Положение казалось безнадежным. Из загородной больницы его срочно перевезли в городскую.

Врачи в один голос требовали немедленной операции.

— Другого выхода нет. Опухоль прогрессирует, — сказали нам.

Мы боялись произнести вслух это страшное слово — «рак», всегда успокаивали себя, что Федор встанет, поправится, улыбнется. Федор умирал...

В 1958 году он чуть не умер в Англии.

Федор вспоминал об этом так:

«Я помню только одно, что меня во что-то закутали, куда-то повезли. Мне было холодно, ноги застыли. Я хочу сказать, что холодно, но не могу. Я впал в бессознательное состояние, это длилось три дня.

В это время прибыл из СССР профессор Пшеничников. Ему сказали, что я чуть не погиб от кровавой рвоты. Давление упало до нуля. Уже наступило расстройство сердечной деятельности, и дышал я, потеряв сознание, всхлипывал, как умирающий.

Врачи сумели восстановить давление, затем влили в меня три литра крови и потом физиологический раствор, давали медикаменты.

На четвертый день я пришел в себя.

Первым, кого я увидел, был профессор Пшеничников. Это меня очень тронуло. Лежишь в больнице в чужой стране. Не знаешь языка. Очень приятно было увидеть родное лицо из своей страны. Я видел, что у меня руки распухли, все в ранах, кровоподтеках, синяки, желтые пятна на руках.

Подошел Пшеничников, посмотрел и говорит: «Ой-ой-ой, что сделали! Надо компрессы».

А мне трудно было говорить.

Рядом стоит английский врач Безарт. Он произнес по-русски: «Ерунда».

Оказывается, когда я находился в бессознательном состоянии, я временами зло произносил: «Ерунда». Он это слово уловил и теперь тоже сказал: «Ерунда».

Это высокий человек, лет под пятьдесят, с седой. Нос чуточку кверху, губы тонкие. С виду не зазнайка, а знающий себе цену англичанин... Отец его был лекарем короля...

Я заметил, что он на меня смотрел, как ветеринар на щенка: вылечил — забирайте.

Я начал ловить его взгляд — не дает. Наконец я поймал. Он мне взглядом говорил: «Мне от тебя ничего не надо». Я смотрю на него и тоже говорю глазами: «И мне ничего». У него в глазах мелькнула человеческая искорка, и у меня — тоже. И в этот момент как будто бы прошла электрическая искра. Он улыбнулся, и я улыбнулся. Я тогда говорю ему: «Ничего».

Он вышел и, очевидно, где-то узнал, что значит это слово «ничего». А я ему еще сказал: «У меня буквально нет слов, чтобы поблагодарить вас: вы продолжили, именно продолжили мою жизнь». Он на другой день входит, я кричу ему: «Ничего!» Он отвечает, чуть улыбаясь: «Ерунда! Ничего!» Тогда я говорю ему: «Верю гуд», то есть «очень хорошо».

Он зачастил ко мне... И я вижу, что он приходит не для того только, чтобы посмотреть меня как больного, он берет руку, вроде щупает пульс, и мы начинаем с ним разговаривать. Мы смеемся, указываем предметы, объясняем друг другу. В это время приходит переводчик. И постепенно у нас сложились хорошие, человеческие отношения.

...Моя кровать стояла перед окном, и мне виден был весь корпус, где жил медицинский персонал. Я вставал рано, в семь утра. И я видел, как из всех окон мне ма-

шут руками. А узнав, что я люблю чай, мужчины показывали чайники...»

При помощи доктора Безарта Федор поднялся, а когда выписался из клиники, подарил английскому врачу фотоаппарат.

Из Англии на родину Федор возвращался с остановкой в Чехословакии. Был он бодр и весел, только похудел, и нам, близким, показалось, что лицо у него вроде бы уменьшилось, а шея вытянулась, да и костюм на нем сидел мешковато. Но главное, болезнь не так уж сильно беспокоила его.

...А теперь — умирает.

И вдруг, на радость всем, Федор и теперь выкарабкался, отогнал от себя старуху смерть.

— На том свете плохо, — пошутил он, открыв глаза. — Лучше жить на своей грешной земле.

Собрались врачи. Кто-то как бы между прочим сказал:

— Федор Иванович, как вы смотрите на операцию?

Федор улыбнулся, бледное, землистое его лицо просияло. Полушутя, он ответил:

— Не люблю я острых вещей. Видимо, хватит с меня.

Легко говорить врачам — операция.

И все-таки у него была большая сила воли. Казалось, положение безвыходное, но физически крепкий организм покорил очередной приступ. Хотя еще и не поднимаясь с постели, обложенный множеством подушек, Федор сидел, надев очки, читал газеты. Читал медленно и с большими перерывами. Не мог он жить в отрыве от жизни страны, народа. Свежая информация ему была необходима, как пища.

Наша Советская страна готовилась отметить 90-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На предприятиях, заводах, в колхозах прошли ленинские субботники. Газеты печатали рапорты. Это Федору понравилось. Будучи секретарем Вольского укома партии, Федор много проводил таких субботников.

В другой газете внимание Федора привлекло постановление правительства о Ленинской премии. Этот важный документ Федор всегда расценивал как огромное достижение страны. Среди людей, создающих материальные и духовные ценности, Федор нашел много знакомых ему людей. Вот доктора наук совершили чудеса,

они провели операцию на сердце и крупных кровеносных сосудах. И среди этих ученых — Борис Васильевич Петровский. Они часто встречались с этим ученым. Не один раз Петровский бывал у Панферова на даче, и еще больше — Петровский дважды оперировал Панферова.

Федор читает постановление. Радует, как ребенок. Да как же не радоваться? Среди награжденных писатели Михаил Шолохов, Максим Рыльский, Мирза Турсун-заде...

Федор просит, чтобы ему подали его большой любимый блокнот и ручку. Он старательно, четким почерком пишет телеграммы:

«М. А. Шолохову. Первого дня знакомства преклонялся перед даром и по сей день неизменно люблю тебя. Федор Панферов».

«Максиму Рыльскому. Друг мой, обнимаю тебя. Федор Панферов».

«Мирза Турсун-заде. Дорогой мой брат. Неизменно люблю тебя и дружески рад заработной награде. Федор Панферов».

Далее писал поздравительные телеграммы к празднику Первого мая:

«...Ташкент. Секретарю ЦК Рашидову. Родной мой брат, горжусь твоими успехами республики, но еще больше горжусь тем, что ты не выронил из рук творческого пера. Федор Панферов».

И в этот раз, рассылая телеграммы, Федор во всеуслышание заявил: он жив, он работает.

Больничная палата походила на кабинет делового человека. Федор одет в белую сорочку, в синий трикотажный костюм. На спинке стула теплый халат в полоску.

В короткие минуты отдыха, после ухода друзей, Федор остается наедине со своими думами, тогда включает магнитофон, слушает сонаты Бетховена, произведения Чайковского.

Музыка стала новой страстью Федора.

Тихая, нежная мелодия помогала Федору думать. А думал он о многом. Он понимал, что ему жить осталось мало. Словно вчера он приехал в Москву. С Павелецкого вокзала пешком прошел на улицу Воздвиженку

в «Крестьянскую газету». Тогда улица была тихой, спокойной, а теперь это проспект Калинина, и по нему идет поток людей и машин...

Опять музыка, опять мысли. Снова и снова Федор вспоминает молодые годы, время, проведенное в поездках с Иваном Ле по колхозам Украины. Как это было давно! Но дружба у них осталась навсегда. В киевской квартире у Ивана Ле Федор был желанным гостем. Таким же дорогим гостем был и Иван Ле в Москве у Панферовых.

Перебирая прошлое, Федор написал фототелеграмму: «Дрогие друзья Иван, Ирина, Хохол! Сильно болел, побывал на «том свете», выздоровел и тут же вспомнил те далекие дни, проведенные с вами, и сына-малыша. Хорошо жить. В этот весенний праздник желаю вам всем жить, жить и творить! Обнимаю. Федор Панферов. 29.IV.60 г.».

В мае 1960 года состоялся пленум правления Союза писателей РСФСР. С докладом «Писатель и время» выступил Леонид Соболев. Федор из-за болезни не смог присутствовать на этом пленуме, написал свою речь и попросил поэта Сергея Васильева ее зачитать. В своей речи-письме Панферов делился своими раздумьями о нашей советской литературе:

«...В теплом, дружеском слове мы нуждаемся все, мои дорогие друзья, в том числе и мы — старшее поколение. Этому человеческому правилу мы обязаны следовать не только выступая на трибунах, но и проводить в жизнь, особенно ныне, когда пленум писателей Российской Федерации довольно энергично поворачивается в сторону современности.

...Помогайте всем писательским слоям работать вместе с партией, с народом, то есть строить коммунистическое общество, не превращайте писателей в полк солдат в одинаковых шинелях, а зовите на творчество во имя нынешнего и грядущей жизни, и пусть каждый говорит своим голосом, лишь бы это было на пользу советскому народу и всем честным людям земного шара, — в этом истинно доподлинный консолидизм. Желаю вам творческих успехов, дорогие мои товарищи!»

Это последняя речь-письмо Федора Панферова была полностью напечатана в «Литературной газете».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В ту весну сад на даче «Антоша» цвел необычайно красиво. Казалось, белое с розовыми крапинками покрывало окутало все. В этом прекрасном узорчатом наряде неугомонно гудели пчелы, занимаясь своим кропотливым трудом, стараясь в поисках не пропустить ни один цветочек. Сад буйствовал.

Узнав об этом, Федор не смог усидеть в больничной палате. Ему захотелось домой.

Федор загрустил.

Таким его и застала врач Ольга Николаевна.

— Видите, весна, а я как птица в клетке, — сказал Федор, вглядываясь в лицо врача, надеясь услышать от нее что-то утешительное.

Ольга Николаевна хорошо знала Федора, привыкла к его крутому характеру, делала все, чтобы больному было не тягостно находиться здесь.

Как бы не замечая печального состояния Федора, Ольга Николаевна взяла руку больного, стала прослушивать пульс, затем сказала:

— Я вас, Федор Иванович, понимаю...

Федор оживился.

— Я очень послушный больной. Все ваши предписания буду выполнять. Курево уменьшил, чай уменьшу. Жить буду на даче. Работать стану меньше.

— Все меньше и меньше, — ласково произнесла Ольга Николаевна, держа крупную ладонь Федора в своих маленьких ладошках. — Знаю я вас! Ой как добро знаю...

Уже несколько раз Ольга Николаевна помогала Федору. После первой и второй операции почти не отходила от кровати больного. Помогала Федору преодолеть недуги и радовалась, когда Федор покидал больницу.

В таких случаях Федор любил шутить:

— Спасибо за капитальный ремонт.

Но сегодня Ольга Николаевна дала согласие на выписку:

— Если решили домой, то поезжайте...

Этим словам Федор обрадовался. Появившейся в дверях жене торопливо сказал:

— Антоша, собирай все и — домой.

С таким же приподнятым настроением Федор подъехал к даче. Быстро вышел из машины и сразу напра-

вился в сад, на секунду задержался возле крайней яблони, обеими руками ухватил осыпанные белым цветом ветви и стал их целовать, наслаждаясь мятным запахом весны.

— Антоша, смотри, какая тут прелесть! — и пошел в глубь сада.

По-хозяйски Федор постоял возле каждого дерева, погладил их стволы, потом осмотрел кругом дачу — решил, что ее пора красить, заглянул в баню с мыслью истопить ее и попариться, но это врачи запретили.

Скучная для него настала жизнь...

В первое же воскресенье понаехали гости. Здесь были писатели, ученые и мы, ближайшие родственники. Федор старался уделить внимание каждому. А мать почти не отпускал от себя. Видимо, ему хотелось сказать ей что-то самое сокровенное, что можно сказать только матери. Но он не решался и, обняв ее, спросил:

— А помнишь, как мы в Баку ездили?

Мать прижалась к сыну:

— Как не помнить, сынок? Все свежо, как на ладони вижу. Почитай, шестнадцать раз на шхуне, туда и обратно, путь держали. Отец-покойник из рук топора не выпускал.

— А что нажили?

— Ничего.

— Вот и оно-то, что ничего. Нужда не покидала семью, всегда-то нам чего-то не хватало — то пищи, то одежды.

— Знала я это, да что можно было поделывать? Ртов-то было много, а работник — один отец...

Уловив нотку обиды в голосе матери, Федор поспешил пояснить:

— Не к тому я, Дарья Ивановна, не к тому. Я это вспомнил совсем в другой связи. В детстве часто нечего было есть, голодными спать ложились, а теперь, гляди, еды полно, а желудок мой не принимает.

Действительно, на столе — изобилие еды, а Федору подали манную кашу. Пряча глаза, он молча съел несколько ложек, отодвинул тарелку, закурил, начал вспоминать разные небылицы, которые с ними бывали в поездах. Рассказывать Федор умел. В такие минуты он становился артистом. Жаль, что в те годы еще не было массовой техники звукозаписи, чтобы можно было

записать его рассказы. Передать их так, как это делал Федор, невозможно.

Среди многих гостей был и Григорий Иванович Коновалов. Вглядываясь в него, я вспоминал, каким он появился у Федора сразу после войны: в морском кителе, с бородой, с трубкой во рту — настоящий морской волк. Тогда «Октябрь» печатал его роман «Университет».

Минуло несколько лет, Коновалов написал новый роман — «Степной Маяк», а затем «Истоки», которые также печатались в «Октябре»...

К вечеру гости разъехались, остались только мы — родственники — да Григорий Иванович. Федор молча сидел, прикрыв глаза ладонью: болезнь мучила его. При народе он держался, шутил, смеялся, а сейчас вдруг сник.

Начали и мы собираться в Москву, и тут Федор вдруг встал, поднялся наверх, принес ружье и подал его Григорию Коновалову со словами:

— Тебе, Гриша, недалеко до Астрахани, съезди на охоту...

Григорий Иванович растерялся. Принимая подарок, ответил:

— Обещаю, Федор Иванович.

Федор обнял Коновалова, тихо произнес:

— Ты молодец. В тебя я верю.

— Спасибо, Федор Иванович, за теплые слова.

На всю жизнь запечатлелась в моей памяти картина. Посреди двора, на фоне цветущего сада, стоят два человека — учитель и ученик. На их лицах и радость, и печаль, и растерянность.

Недавно мне вспомнились строки из писем Коновалова:

«Дорогой Федор Иванович. Я обязан Вам в главном — появлению в печати моих романов. Не только в журнале. Мне известно Ваше живое участие в издании «Степного Маяка» в издательстве «Молодая гвардия». Об этом рассказывал мне Г. Марков.

Да только ли этим обязан я Вам! Очевидно, я бы написал Вам горячее письмо, выразив свое чувство глубокого уважения к Вам, если бы не знал Вашу нелюбовь к такого рода исповедям».

И еще: «Спасибо Вам за то, что так много и так терпеливо работали со мной, нашли удачный заголовок

роману «Истоки». Это хорошо! Щедрый Вы человек. Да поэтому Вы не иссякаете в творчестве, ибо высыхают жадные, а щедрые цветут и живут».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В 1960 году журнал «Октябрь» напечатал немало интересных романов, повестей, поэм. Можно вспомнить: вторая книга «Поднятой целины» М. Шолохова, «Грачи прилетели» А. Андреева, «Каштановый дом» Г. Гулиа, «Бросок на юг» Константина Паустовского, «Не отдавай королеву» С. Сартакова; о Гоголе написал статью Сергеев-Ценский. С новыми поэмами и стихами выступили: Антал Гидаш, Василий Федоров, Алексей Марков, Евг. Евтушенко.

Как всегда, «Октябрь» приковывал внимание читателя ко многим проблемам современности. Б. В. Петровский напечатал статьи «Хирург лечит сердце».

Особый интерес вызвала дискуссионная статья Ф. Панферова «Что такое коммунизм». В редакцию и к автору буквально хлынул поток отзывов, как это было и на первую статью — «О моральном облике советского человека».

Федор восклицал:

— Значит, задел за живое, в этом суть нашей писательской работы!

Дискуссия — это страсть Федора, такая же, как музыка, как охота, как рыбалка. Просматривая газеты, журналы давних лет, которыми руководил Федор, обязательно найдешь там какую-либо «трибуну» — то писателя, то читателя.

Любил Федор и устные дискуссии, и письменные, и во многих сам принимал активное участие, сам первый лез в драку. Конечно, ему и попадало, как говорят, нос был в крови, как, например, в дискуссии о языке. Но это его не пугало, не отучило начинать дискуссии по другим актуальным вопросам.

И вот шла новая дискуссия: «Что такое коммунизм». По этой теме со статьями выступили критики, академики и писатели. Выступили секретари обкомов партии, рабочие, председатели колхозов и просто читатели.

Каждому малейшему удачному выступлению журнала Федор радовался, и тут же у него возникали новые замыслы.

— Давайте создадим книгу о Сибири! — призвал он товарищей. — Выделим несколько бригад. Так мы делали еще в тридцатых годах, в первую пятилетку. Я уже начал действовать. Имею договоренность с Министерством геологии. Оно нас примет. Специалисты расскажут о богатствах Сибири.

Новая задумка приободрила Федора, его радовало и то, что она понравилась товарищам, сразу обнаружились охотники на поездку в Сибирь.

— Я тоже махну с вами, — в конце заседания редколлегии сказал главный редактор журнала.

В установленный день и час писатели «Октября» приехали в Министерство геологии. Федор появился раньше всех.

— Геологи, как врачи, внутренности земли знают, у них нам, писателям, есть чему поучиться.

Вот как об этом писал публицист газеты «Известия» Я. Тавров:

«Мне вспоминается, как доживающий последнее лето Федор Панферов, в коротком просвете между двумя приступами мучительного недуга, приехал в Министерство геологии СССР, куда перед отъездом на Восток собрались писатели, журналисты выслушать рассказ о новых минеральных базах Сибири. Ему очень мешала боль. Она застыла в его глазах, она как бы «прислушивалась» к происходящему там, где на полдороге у самого сердца остановилось неминуемое.

Беседа началась.

Плотный мужчина в легкомысленной тенниске, один из крупнейших организаторов разведки недр страны, стоял у огромной карты и коротким движением перебрасывал указку через реки и хребты, развертывая увлекательную повесть о делах и открытиях сибирских геологов.

По мере того, как он это делал, исчезала страшная сосредоточенность Панферова на самом себе, и вдруг вмиг, когда указка добралась до Саянского хребта, ее вовсе не стало. Не было больше болезни. Вместе с геологами, буровиками он едет по Саянам, ненасытный жизнелюб. Он очень торопится, потому что он хочет узнать сегодня то, чего он не сможет узнать завтра.

— Я еще увижу Саяны, — сказал в этот день Панферов...»

Действительно, Федор был ненасытным жизнелюбом.

О том, что видел, о чем думал, он всегда рассказывал людям, делился с ними, убеждал, подчас негодовал, тем самым делал человека хорошей закалки, делал человека — человеком.

После этой встречи в Министерстве геологии СССР Федор приехал на дачу в приподнятом настроении. Мы с ним гуляли по саду, он тихо, но убежденно говорил о Сибири, вспоминал свои первые поездки на Кузнецкстрой, как тогда называли Кузбасс. Войдя в дом, Федор обратился к Антонине Дмитриевне:

— Вместе мы, Антоша, катанем туда... Ближе к твоим родным сибирским берегам...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В середине августа 1960 года у Федора появился зуд охотника. Как-то он позвонил своему давнишнему другу по охоте и рыбалке Владимиру Ивановичу:

— Ты что думаешь? — спросил Федор. — Я жду твоей команды, а ты словно в рот воды набрал.

В телефонной трубке слышалось что-то неразборчивое, невнятное, стеснительное.

— Я всегда готов, — добавил Федор.

Началась очередная подготовка к охоте. Чистилось ружье, набивались патроны, доставались резиновые утки-подсадки, подбирались соответствующая одежда: кожаная меховая куртка, такие же сапоги, все примерялось, затем укладывалось в машину.

Хлопот было много у всех...

Каким-то особым теплым взглядом Федор окинул сад, дачу, двор и молча скрылся в машине, крепко закрыв за собой дверцу.

Никто, видимо, кроме Федора, не знал, что он навсегда покидает дачу «Антоша».

В этот раз дорога лежала в Ярославль, на Волгу.

В Ярославле охотники пересели на моторную лодку и подались в Заволжские затоны, к утиным гнездовьям.

Потом мне рассказали: Федор не стрелял. Держа ружье под мышкой правой руки, он стоял на пригорке и любовался озером. В это время года вода в озере бывает светлее на середине, а ближе к берегу — густо-зеленая. Камыш давно сбросил свой цвет и теперь походил на сухие прутьи. И над всем этим синело небо. Там,

в вышине, кружились стаи перепуганных уток. Глядя на них, Федор сказал:

— Скоро и они покинут нас. Улетят на зиму. А зачем? — спросил и сам же себе ответил: — Чтобы опять прилететь сюда, к родным местам во имя будущего поколения. Ученые говорят, это инстинкт. Чепуха! Я уверен, у всех животных есть сознание.

Товарищи уже отстрелялись, а Федор все бродил и бродил по берегу озера. Владимир Иванович сварил из дичи суп, пахнувший дымком, и готов был начать угощать, но Федор вдруг ощутил страшные боли в полости живота. Он присел на березовый пенек, еле произнес:

— Братцы, мне плохо. Айдайте домой...

Торопливо уложили охотничье хозяйство в лодку, и, не успев отведать ароматного супа, друзья направились обратно в Ярославль. Лодка вышла на середину Волги, вдали показался город, но, как на грех, вдруг начал барахлить мотор. Сначала зачихал, а потом совсем умолк...

Нависла беда.

Бывает же так. На Волге ни одной рыбацкой лодки. Даже кричать бесполезно. Надеемся только на свои силы.

Друзья растерялись. Федор, согнувшись, стонал. Кое-как доплыли до берега. Нашли близлежащую больницу, добились машины скорой помощи, которая доставила Федора Ивановича в кремлевскую больницу. Как только Федор открыл глаза, его постоянный врач Ольга Николаевна сказала:

— Начнем готовиться к операции...

Операция прошла вроде удачно. Весть о том, что Федор хорошо перенес операцию, радовала нас, родных, радовала и писателей и читателей. Федор стал вставать, садиться в кресло, даже прошелся по палате и начал звонить по телефону.

Девятого сентября, поздно вечером, он звонил Льву Шейнину и Александру Дроздову:

— Они, врачи, не понимают больных... хотят меня отгородить от мира людей. Но дудки им. Настоял. Телефон опять поставили. Только ко мне нельзя звонить. Хитрят... Но и это дело.

В полночь звонил к себе на дачу, всем пожелал спокойной ночи. Казалось, все шло нормально.

Утром 10 сентября 1960 года Федора не стало. Он умер, не просыпаясь.

Не хотелось верить, что настал роковой час.

В кремлевской больнице мне сказали:

— Увезли в морг...

Опустившись в кресло, я громко зарыдал, так, как никогда в жизни не рыдал. Спазмы сдавливали мне горло, сердце сильно колотилось.

Кто-то поил меня водой, успокаивал.

Пересилив себя, я вышел на улицу. По улице, как и прежде, торопливо шли люди, у них сосредоточенные лица. Некоторые разговаривали, улыбались. Я понимал, что им нет никакого дела до моего горя, а мне так хотелось поделиться с каждым прохожим, сказать им, что именно на этой улице началась жизнь в Москве моего старшего брата, Федора Панферова... Это — было начало. Но вот в больнице, которая находится на этой же улице, Федор сегодня умер. Какие странные совпадения. Но это еще не все. Вон в том светлом здании библиотеки хранятся все его книги. А их немало. Это уже бессмертие!

На другой день тело Федора привезли домой. Гроб поставили на стол, за которым он часто принимал гостей, и, оживленно с ними беседуя, как радушный хозяин, угощал их.

Возле гроба — родные и близкие. Вот наша мать, на ней черная шаль. Она смотрит на лицо сына, шепчет:

— Федярка, как же это так... Мне бы надо, а не тебе... Как же так?

С опущенной головой стоит сын Ким, плачет дочь Века. Еще не понимают всей тяжести горя внучата Федя, Наташа, Аня, здесь же племянники — Слава, Сережа, Валя. Задумчив брат Алексей, плачет сестра Мария...

В «Правде» да и во всех газетах было напечатано правительственное сообщение:

«От Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 10 сентября после тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Верховного Совета СССР, секретарь правления Союза

писателей СССР, выдающийся советский писатель Федор Иванович Панферов».

В те дни «Литературная газета» писала:

«13 сентября Москва проводила в последний путь выдающегося русского советского писателя, депутата Верховного Совета СССР, секретаря правления Союза писателей СССР, многолетнего редактора одного из старейших литературно-художественных журналов Федора Ивановича Панферова.

Гроб с телом Ф. И. Панферова был установлен в Центральном Доме литераторов на улице Воровского. Сюда с утра пришли проститься с покойным его друзья-писатели, представители общественных организаций столицы, многочисленные читатели — рабочие и служащие предприятий, ученые, художники, артисты, школьники, воины Советской Армии.

Гроб утопает в цветах. Венки обрамляют траурный постамент. Венки стоят у стен зала, затянутого траурным крепом и красным атласом. Вот венками уже загромождали лестницу, ведущую на балюстраду зала. А поток людей, несущих последние знаки благодарности любимому писателю, все не прекращается. Здесь венки от Президиума Верховного Совета СССР, от МГК КПСС и исполкома Моссовета, от Министерства культуры, от Советского комитета защиты мира, от писателей, центральных издательств, журналов и газет, от родных и друзей покойного.

Торжественно-печальны траурные мелодии Бетховена, Чайковского, Шопена. Через каждые пять минут у гроба меняется почетный караул. Скорбны лица стоящих в почетном карауле Н. Тихонова, В. Казина, М. Шагинян, С. Михалкова, Н. Грибачева, А. Салынского...

В 11 часов 30 минут в почетный караул становятся товарищи Ф. Р. Козлов, М. А. Суслов и П. Н. Поспелов.

Отдать последний долг писателю-коммунисту пришли секретари МГК КПСС П. Н. Демичев и В. И. Степаков.

В 2 часа начинается гражданская панихида. От правления Союза писателей СССР выступает Г. Марков. Взволнованную речь от писателей Российской Федерации произнес А. Софронов. От писателей Москвы выступил В. Сытин. От коллектива редакции журнала «Ок-

тябрь» говорит Л. Шейнин. От избирателей Чистопольского избирательного округа выступает секретарь горкома КПСС И. Гимаев. От рабочих Москвы с проникновенной и сердечной речью выступил вальцовщик завода «Серп и молот» С. Перов.

Все выступавшие говорили о ярком, большом и самобытном таланте ушедшего от нас художника, одного из зачинателей советской литературы. Они говорили о том, что своими произведениями писатель-коммунист откликался на самые актуальные, животрепещущие проблемы современной жизни. Они говорили о том, что светлая память о Федоре Ивановиче Панферове долго будет жить в людских сердцах.

Выносят гроб. Похоронная процессия движется к Новодевичьему кладбищу.

И вот наступают последние минуты прощания. На кладбище вокруг гроба собрались самые близкие друзья писателя, его товарищи по работе, его читатели. Николай Грибачев открывает траурный митинг.

Нелегко в такую минуту найти слова. Трудно сказать обо всем, что связано для каждого с именем этого человека. Трудно коротко рассказать об этой большой, напряженной и яркой жизни.

Прощальные речи произносят писатель А. Васильев, председатель колхоза имени Владимира Ильича Московской области дважды Герой Социалистического Труда И. Буянов, руководитель делегации трудящихся Ивановского района Брестской области Н. Гулевич, писатель С. Васильев.

Скорбно склоняются головы, когда гроб с телом Ф. И. Панферова опускается в могилу. Звучит Гимн Советского Союза.

С новой силой ощутил в этот момент каждый из присутствовавших на траурном митинге, как велика потеря нашей литературы, какой неутомимый труженик, пламенный коммунист, замечательный человек и писатель ушел от нас. Его заботы и внимания, его теплое человеческого участия будет недоставать многим. Но остались его дела, остались книги. В сердцах людей навсегда сохранится память о нем».

Народ постепенно расходился, а мы долго стояли возле свежей могилы. Рядом со мной Павел Артамонович Козловский. Поддерживая меня за локоть, он тихо сказал:

— Какой человек ушел, душевный человек, а жил он не для себя, а для человечества.

Теперь опустела без Федора дача «Антоша», не слышно стрекота пишущей машинки, не гуляет Федор по дорожкам сада.

А осень была щедрая на урожай. От обилия плодов гнулись к самой земле ветви яблонь. Одна, самая любимая Федора, не выдержала тяжести урожая, рухнула, словно проявила свою скорбь по хозяину, свою преданность...

Уходя из жизни, Федор думал о нас, близких. Им оставлен пакет, на котором четко написано: «Вскрыть после моей смерти». Чтобы написать такие слова, надо иметь твердую волю. Значит, он ее имел, если так написал.

На вскрытие пакета собрались Антонина Дмитриевна, Валентина Ивановна, Века, Ким, Маруся, я и моя жена Ольга.

Это была последняя воля Федора.

И снова я вижу четкий почерк Федора. На листе бумаги написано завешание.

Читает Лев Шейнин.

До меня донеслось: «Я в полном здравии и сознании пишу эти строки...»

Мои мысли все путаются. Мне кажется, что это читает не Шейнин, а сам Федор, немного глуховато, далеко-далеко:

«...Мои сбережения завещаю: моему сыну Киму, дочери Веке, моей матери Дарье Ивановне, моей сестре Марии, моим братьям Алексею и Александру, а также Валентине Ивановне Катушевой, Софье Ивановне Сысуевой, Ульяне Васильевне Лебедь, Антонине Дмитриевне Коптяевой и половину — в партийную кассу. Так следует и в дальнейшем при переиздании моих книг...»

Мы долго молчали.

В этом завещании я уловил главное: половина сбережений передается в партийную кассу. Теперь и навсегда в Управлении делами ЦК КПСС есть текущий счет, на который поступает гонорар от изданий произведений Федора Панферова.

Уже после того как Федора похоронили, немного прийдя в себя, я стал просматривать газеты.

«К тому, что его — Федора Ивановича Панферова — нет среди живых, привыкать трудно, — писал Николай»

Грибачев. — Не потому только, что с нами осталось его творчество — необычайное, своеобразное, крепко связанное с нашей историей, — а и потому еще, что был он неустрашимый жизнелюб, врос в самую гущу бурного бытия нашего. Яркий, настоящий человек, настоящий, в помыслах и делах, коммунист. Даже внешне сразу замечалась в нем эдакая убедительная устойчивость: среди самых жарких споров сидит спокойно, невозмутимо, говорит кратко, но с глубинным смыслом».

Константин Паустовский: «По всей сути своей Федор Иванович Панферов был человеком народным. Может быть, поэтому всегда хотелось встретиться с ним и поговорить по душам не в городе, а в глубине страны — среди полей, перелесков, в колхозных чайных, на волжских просторах».

Всеволод Кочетов: «У Федора Ивановича можно учиться величайшему трудолюбию. Я видел, как после предыдущей, тоже тяжелой операции Федор Иванович работал в санатории под Москвой. Обернув колени пледом, он целые дни просиживал за письменным столом. Он читал уйму книг — новых и старых, книг по истории, по искусству, мемуарных, читал горы рукописей».

Расул Гамзатов: «Умер не только большой писатель, но и заботливый друг молодежи».

Александр Корнейчук: «Панферов был не только крупный писатель, но и большой общественный деятель. Его заслуга в том, что он много работал с молодыми писателями, был чутким товарищем и выдвинул немало талантливых прозаиков и поэтов».

Сергей Васильев и Сергей Смирнов: «Федор Иванович не раз повторял: «Говорят, что я вышел из народа, а я не выходил, не отрывался от него». Как это сильно и верно сказано!»

Сергей Михалков: «Лично я потерял в лице Федора Ивановича настоящего друга, чье доброе, а порой и резкое, справедливое слово не раз ободряло меня и помогало в моей творческой работе».

Александр Прокофьев: «От нас ушел человек огромного личного обаяния, один из зачинателей советской литературы, искренний друг писательской молодежи, открыватель многих литературных имен».

Михаил Алексеев: «При его жизни о нем много спорили — и критики и читатели. Спорили горячо, яро, шумно — на страницах газет и журналов, на бесчисленных

собраниях. Спорили много, но, кажется, до конца и не доспорили. А он продолжал трудиться и трудился героически до последнего дня своей удивительной по неукротимости и целенаправленной жизни».

Антонина Коптяева: «Душа стынет от боли: ушел не просто любящий муж, хотя и это было бы великим горем, ушел друг и товарищ по работе, человек светлого государственного ума, у которого было чему поучиться, с которым можно было обо всем советоваться».

Беда не приходит одна. Через год умерла наша мать Дарья Ивановна — ей было восемьдесят шесть лет, еще через год скончался брат Алексей Иванович. Ему было шестьдесят семь лет. В 1979 году умерла и сестра Маруся.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я думаю о Федоре, вспоминаю наше детство, юность, вспоминаю последние годы его жизни. Несмотря на тяжелую болезнь — а она длилась несколько лет, — Федор не сгибался, не падал духом, много писал, не давая себе поблажек. «Писатель должен работать, подобно станку, — говорил он, — не давая ржаветь мыслям». И он работал «подобно станку». Только за последние два года своей жизни Федор побывал в Тульской, Вологодской, Ярославской, Рязанской, Владимирской областях, был на Ставропольщине и на Черных землях — там, где жили и трудились его герои, его друзья. Подолгу жил он в Чистопольском избирательном округе, от которого избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Выполняя свои депутатские обязанности, часто встречался с избирателями, помогал им. Федор выступал со статьями на разные темы. В частности, я помню статьи: «Все для народа», «Трудовые государственные дела (заметки депутата)».

Его, как депутата и как писателя, тревожила мысль, каким должен быть моральный облик советского человека. Материал на эту тему накапливался постепенно, он его находил в беседах с избирателями, в их письмах, обращался к молодежи. Панферов был не только писателем, но и государственным деятелем.

Таков склад его ума.

От Федора можно было часто слышать:

— Мою судьбу определили три человека: Дмитрий Фурманов подсказал тему, Анатолий Васильевич Луначарский сказал обо мне читателям, Алексей Максимович Горький учил мастерству писателя.

Собирая материалы о жизни брата Федора, я побывал в Широким Буераке, встретился там с сыном Огнева Василием Степановичем, кладовщиком колхоза «Россия». С ним мы побывали на земле «Брусков». Он вспомнил, как мальчиком бегал сюда, чтобы посмотреть стального коня. Тогда был один, а сейчас в колхозе «Россия» несколько десятков мощных тракторов, более двадцати самоходных комбайнов, много грузовых машин.

Действительно, земля, лежащая вдоль берегов Волги, походила на бруски. Это тут разгорались крестьянские споры, шла борьба не на жизнь, а на смерть бедноты с кулаками.

С Волги потянуло ветерком, нежные волны поплыли по полям.

Закрыв глаза, я представляю героев романа — Степана Огнева, Кирилла Ждаркина, Стешку, задористую, стройную. Именно тут, в селе Широкий Буерак, жили герои панферовского романа. Даже есть Стешкин овраг, на откосе которого возникла любовь Стешки и Кирилла. Здесь у них были тайные свидания. Говорят, и теперь приходят сюда девушки и парни и, может быть, в первый раз в жизни произносят слова любви...

Трудно мне было расставаться с широкоовцами.

Зайдя на кладбище, я молча постоял возле могилы Степана Огнева, первого, кто показал путь крестьянам к новой жизни.

Друзья Федора — охотники — один из заливов на Верхней Волге называли именем Панферова.

Интересная встреча у меня была с сыном Панова — одного из героев «Брусков» — Иваном Михайловичем Пановым. Он жил в Москве, окончил два института: агроном и инженер по электрификации сельского хозяйства.

— Ну как же, Федора Ивановича я знал хорошо, можно сказать, дружили всю жизнь, — говорил он. — Часто к нам приезжал Федор Иванович, любил с мужи-

ками поговорить... Еще больше интерес его взял, когда организовали товарищество по совместной обработке земли, назвав его «Сеятель». Председателем избрали Степана Огнева. Федор Иванович не отходил от артельщиков. Конечно, мы не знали, зачем он к нам ездит. Помню, трактор пригнали, «фордзон», маленький такой, дыму от него много... Все село сбежалось навстречу этой диковине. Старухи начали креститься — сатана появился. Народ-то был темный. Каждый по-разному отнесся к трактору... Артельщики рады, лошадей у них было мало, на коровах пахали, а теперь машина. Не успел трактор дойти до земли «Бруски» — так мы звали участок, что возле Волги протянулся, — как появился Федор Иванович, сияющий такой, пропитанный пылью.

Степан Огнев немного отошел в сторону, сказал: «Ну-ка, миленький, покажи, покажи...»

Трактор фыркнул, подался вперед, потянул плуг. Ровными рядами отваливалась черная, будто блестящая земля.

«Не то, не то, — проронил дед Чижик. — На лошади спорей. — Не то!»

«Догоняй!» — подзадорил Чижика мой отец и прибавил скорости.

Вместе с нами шагал по полю и молодой Федор Панферов. О зачинателях, артельщиках, первом тракторе в Широком Федор Иванович писал в газете «Правда», а потом в этой книжечке, — и Иван Михайлович подал мне рассказ Федора «Огневцы»...

Все это я хорошо знал, но не перебивал Ивана Михайловича. Вместе с рассказом «Огневцы» хозяин дома снял с полки первое издание «Брусков», в зеленоватой обложке: 1928 год, издательство «Московский рабочий», серия «Новинки пролетарской литературы». Я нежно глажу корешки книг, читаю надписи на «Брусках», сделанные рукой Федора Панферова:

«Панову и панычам — автор»; «Панову — замечательному другу в память того, когда и пасмурная осень кончается радостно. Федор»; «Панову. Воюй, брат, пока душа есть... Федор»; «И. М. Панову. За Волгу и за то, что мы оттуда вышли. Ф. Панферов»; «Т. Панову. За электрификацию сельского хозяйства».

Иван Михайлович очень подробно рассказывал, когда и при каких обстоятельствах Федор дарил ему свои кни-

ги с этими автографами. После смерти Ивана Михайловича его дочь передала все эти книги мне.

Заехал я и в Вольск. Был в помещении бывшей учительской семинарии, уюте партии, доме на Пугачевской улице... Постоял под дубом Пугачева. Замечательная встреча состоялась со студентами педагогического училища имени Федора Панферова. Здесь создан музей Федора Панферова, фотографии рассказывают о жизненном пути писателя. Первые книги, личные вещи писателя. При входе на второй этаж — большой портрет Федора Панферова.

Особенно рад я был встрече с Зоей Филипповной Столяровой, сестрой Леонида Столярова, той самой девочкой, с которой был знаком Федор. Она подарила мне фотографию, на которой запечатлены Федор и Леонид — brave ребята в красноармейских шинелях. Может быть, снимок сделан сразу же после боев с белыми бандами.

Из Вольска я поехал на родину, в Павловку.

В 1963 году в Павловке построена детская библиотека имени Федора Панферова. Она сооружена на том месте, где стояла лавочка купца, в которой служил на побегушках юнец Федярка Панферов.

Шкафы из карельской березы, дубовые полки, заставленные книгами, — все эти книги из личной библиотеки Панферова. Их много — и все с дарственными теплыми надписями друзей-писателей.

У окна стоит стол писателя, на нем рукопись, блокнот, пепельница, сигареты «Друг», термос и стакан. Кресло чуть отодвинуто от стола. На спинке его — цветастый халат. Кажется, что вот-вот откроется дверь и сюда войдет Федор и займет свое рабочее место.

В шкафу хранятся пальто, шляпа, бурка и трость.

Каждый вошедший невольно задерживается возле маленького столика. В стеклянном футляре — гипсовая маска Федора Ивановича.

Находясь в комнате-музее, я слушаю, с каким жаром души, со знанием дела рассказывает обо всем директор библиотеки Галина Дмитриевна Киселева. Группа за группой идут сюда рабочие, колхозники, студенты, учащиеся не только Павловского района, но и приезжающие из других городов — Вольска, Ульяновска, Хвалынского, Саратова...

Побывал я и в Саратове. В областном краеведческом

музее есть раздел «Наши земляки-писатели». Большое место здесь отведено жизни и творчеству Федора Панферова. Вот стоит письменный стол, рядом кресло, на столе рукописи, пишущая машинка. Все это воссоздает рабочую обстановку писателя. Здесь же фотография — делегаты I съезда комсомола Саратовской губернии.

Два раза я ездил в Ленинград, чтобы повидаться с Борисом Петровичем Токиным. Он профессор Ленинградского университета имени А. А. Жданова, руководит кафедрой эмбриологии, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города Вольска.

Имя Василия Дубровина, погибшего на фронте, написано золотом на мраморной доске в Центральном Доме литераторов Москвы.

Приходилось мне путешествовать на теплоходе, носящем имя Федора Панферова. Трехпалубный красавец приписан к Пермскому речному пароходству, зимует он в Нижне-Курьевском затоне. Рядом с ним проводят зимний отдых теплоходы «Александр Фадеев» и «Федор Гладков». И тут Фадеев и Панферов вместе. Это их вторая жизнь. С первыми лучами весеннего солнца теплоходы уходят в плавание, бороздят голубые просторы Камы и Волги.

Помню: теплоход «Федор Панферов» подошел к пристани Ижевский Источник. Капитан теплохода Петр Иванович Норов спросил меня:

— Вы видите надписи на камнях?

— Нет, — ответил я.

— Тогда пойдемте, я покажу их вам.

Мы сошли на берег. Перед нами крутая гора, похожая на бурого медведя. Возле горы как будто кто-то разбросал валуны, на которых выделялись белые надписи: «Федор Панферов», «Федор Гладков», «Александр Фадеев», «Дмитрий Фурманов», «Сергей Есенин» и многие другие имена теплоходов, побывавших в этих местах.

— Таков тут неписанный закон, — пояснил мне капитан. — Однажды причаливший сюда оставляет свой автограф.

Я долго стоял у горы, а уходя, положил в карман на память кусочек бурого камня.

На одной из зеленых остановок Волги к пристани одновременно пришвартовались «Федор Панферов» и «Александр Фадеев». С веселым шумом, задором сошли на берег туристы, и, конечно, началось соревнова-

ние. Уже слышались удары мяча на волейбольной площадке, спешили перегнать друг друга пловцы. Все было интересно и забавно. Но больше всех скопилось народа около каната, где измерялась сила фадеевцев и панферовцев.

Далеко слышно по реке:

— Фадеевцы, нажмем!

— Панферовцы, нажмем!

И тут они, неугомонники, в «борьбе»!

Теплоход «Федор Панферов» ежегодно приплывает в Москву. Каждый раз команда теплохода посещает Новодевичье кладбище и возлагает венок на могилу Федора Панферова.

О трудолюбии писателя говорит и такой факт. В начале своего творческого пути только в вольский период Федор напечатал более семисот рассказов, поэм, стихов, статей. Печатался иногда под псевдонимами Марк Солнцев, Юрий Солнцев, М. Сфинкс, Марк, Иван Земляк, Марк Лемех, Н. Надеждин, Иван Долин, Марк Мятезный.

Конечно, настоящим, большим памятником его труду является роман «Бруски». Этот роман популярен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. «Бруски» переведены на все основные языки мира. Хочется привести некоторые отклики зарубежных читателей.

Тодор Иванов (Болгария): «Дорогой Панферов, я по происхождению крестьянин, и события, которые вы описываете, мне близки, дороги и знакомы».

Выдающийся французский писатель Ромен Роллан в 1934 году писал:

«Товарищ Панферов, я прочел с огромным интересом по-французски Ваши замечательные «Бруски», ярко отобразившие сложный исторический момент в жизни человечества. Дружески жму руку, преданный Вам Ромен Роллан».

Член одного из кооперативов писал: «Я читал «Бруски» залпом. Не мог удержаться, чтобы не поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. На собрании правления производственного кооператива в Годзянове Стерневицком я рассказал целые отрывки из «Брусков», и все мы почувствовали, что говорим о наших днях».

С приходом фашизма к власти в Германии гитлеровские молодчики жгли прогрессивную литературу на площадях города. Среди произведений известных писателей были и «Бруски».

В личном архиве Ф. И. Панферова имеется письмо немецкого писателя Людвиг Ренна, вырвавшегося из фашистской тюрьмы: «В тюрьме, в одиночестве, я много раз думал, что среди русских писателей, которых я читал (правда, немногих), понимаю и люблю только тебя. То, что ты пишешь, — верно и здорово, ты называешь вещи своими именами и не делаешь из них писательских сочинительств».

Не утратили своей боевитости «Бруски» и после Великой Отечественной войны. Французская газета «Гаврош» 2 мая 1946 года сообщила, что «Бруски» разошлись тиражом свыше шестисот тысяч экземпляров.

Только за 1945—1955 годы «Бруски» выдержали более двадцати изданий в социалистических странах.

Роман «Бруски» вошел в золотой фонд советской многонациональной литературы. Выступая на III Всесоюзном съезде колхозников, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал:

«Творческая интеллигенция своими произведениями помогала партии и народу в великом деле социалистического переустройства деревни. Вспомните «Поднятую целину» Михаила Александровича Шолохова, «Бруски» Федора Ивановича Панферова, «Разбег» Владимира Петровича Ставского и многие другие произведения».

Четыре книги романа «Бруски», над которыми Федор работал в общей сложности более десяти лет, выдержали испытание временем, переиздаются и в наши дни.

В нашей стране роман «Бруски» выходил семьдесят семь раз, тиражом в три миллиона сто шестьдесят семь тысяч экземпляров, на шестнадцати языках.

В память читательской конференции по роману «Раздумье» Ивановской районной библиотеке Брестской области присвоено имя Федора Панферова. В дар этой библиотеке из личных книг Панферова передали более трех тысяч томов.

Есть улицы имени Панферова в Павловке, Вольске, Ульяновске, Волгограде и в Москве.

Федора Ивановича давно нет в живых. Но род Панферовых продолжает жить. Есть у него дети, ставшие не только отцами и матерями, но и бабушками и дедуш-

ками. Внуки Федора Наташа, Аннушка и Федор получили высшее образование. Хорошие дети и у Алексея. Сын Сережа — преподаватель, как и отец, а дочь Галя закончила Литературный институт имени М. Горького. Причастны к творчеству и Ким Федорович, и Века Федоровна.

Газета «Правда» 11 сентября 1969 года писала: «Творчество Федора Ивановича Панферова всегда служило великому делу нашей Родины, он все свои годы был тесно связан с жизнью, откликался в своих произведениях на самые актуальные вопросы современности».

Секретарь правления Союза писателей СССР, дважды лауреат Государственной премии, писатель-орденоносец Федор Иванович Панферов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Произведения Федора Панферова издавались в нашей стране сто девяносто три раза тиражом десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч экземпляров, на тридцати трех языках народов СССР, не считая «Роман-газеты» и журналов.

Народ чтит память Федора Ивановича Панферова. Неослабный интерес к его произведениям, свежесть цветов у его памятника на Новодевичьем кладбище в любое время года — все это знак признательности благодарных читателей, нашего народа.

1969—1979

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПАНФЕРОВ

Мой старший брат

Повесть

Редактор
Л. Н. САБУРОВА

Художник
В. Ф. НАЙДЕНКО

Художественный редактор
В. К. БУТЕНКО

Технический редактор
Л. В. АНДРОНОВА

Корректоры
Т. И. КРАСНОВА, Н. Н. ПОПОВА,
Е. В. ФЕКЛИСТОВА

ИБ 1189

Сдано в набор 13.09.85. Подписано в печать 26.02.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Усл. печ. л. 13,86+0,84 л. вклейки. Усл.кр.-отт. 15,33. Уч.-изд. л. 14,576+0,635 л. вклейки. Тираж 10 000. Цена 75 коп. Заказ 2/184.

Приволжское книжное издательство. Саратов, пл. Революции, 15.
Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли Саратовского облисполкома. Саратов, пр. Кирова, 27.

75 к.

Саратов
ПРИВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

АЛЕКСАНДР ПАНФЕРОВ • **Мой старший брат**